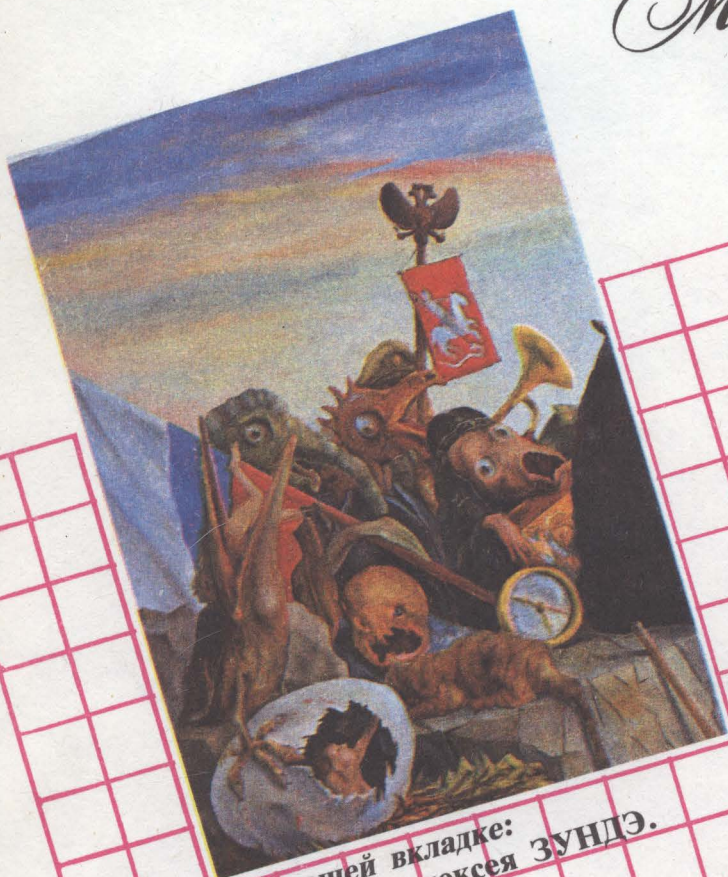


ЮНОСТЬ

Март '92



На нашей вкладке:
Живопись Алексея ЗУНДЭ.
г. Тюмень.

Роман
Михаила ВОЛКОНСКОГО
«МАЛЫТТИЙСКАЯ ЦЕПЬ».
князя Павла Бунина.
Иллюстрации



Елена ШАПОВА:
«Мне этого не простят...».





вам поможет
МЕТОДИКА «ВРОЖДЕННОЙ ГРАМОТНОСТИ»
Это новый оригинальный курс интенсивного обучения.
Пройти его необходимо как старшеклассникам, так
и абитуриентам. 12 неустойчивых занятий — и ваш уровень грамотности
повысится в 7—10 раз! Этот результат подтверждает
тестирование (до и после обучения).
ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАЩИХСЯ МЫ ПРОВОДИМ
ЗАНЯТИЯ ВО ВРЕМЯ ЗИМНИХ И ЛЕТНИХ КАНИКУЛ.

КООРДИНАТЫ НАШЕГО ФИЛИАЛА:
ст. метро «Коломенская»

(095) 117-43-00

пр-т Андропова, 1

115-34-07

шк. № 839

Филиал работает с 16 до 20 часов, кроме воскресенья.
Центральная справочная: (095) 413-04-83.

penetulo
Экспериментальное
объединение

ЮНОСТЬ



(442)

3 '92

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ

ВЫХОДИТ
СИЮНЯ
1955 ГОДА

Главный редактор,
председатель редакционного совета —
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий БЕЛИКОВ —
соброр по Уралу и Сибири
Татьяна БОБРЫНИНА —
редактор отдела прозы
Александр ГРИБКОВ —
заместитель главного редактора
по экономике
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ —
редактор отдела культуры
Натан ЗЛОТНИКОВ —
консультант главной редакции
Олег КОКИН — главный художник
Михаил КУРКОВ —
коммерческий директор
Виктор ЛИПАТОВ —
заместитель главного редактора
Константин МИХАЙЛОВ —
редактор отдела публицистики
Эмилия ПРОСКУРНИНА —
редактор отдела рукописей
Анна ПУГАЧ — редактор
отдела международной жизни
Юрий САДОВНИКОВ —
ответственный секретарь
Александр ТКАЧЕНКО —
редактор отдела поэзии
Александр ХОРТ —
редактор отдела сатиры и юмора
Ирина ХУРГИНА —
редактор отдела писем

Редакционный совет:
Василий АКСЕНОВ
Анатолий АЛЕКСИН
Аркадий АРКАНОВ
Юрий БОЛДЫРЕВ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Сергей ДЫШЕВ
Георгий ИГИТЯН
Игорь ИРТЕНЬЕВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Алексей КОВЫЛОВ
Александр ЛАВРИН
Вячеслав ЛЕОНТЬЕВ
Алексей ЛИПКО
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Юрис ПОДНИЕКС
Юрий ПОЛЯКОВ
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Виктор РОЗОВ
Елена САЗАНОВИЧ
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Виктор СЛАВКИН
Олжас СУЛЕЙМЕНОВ
Лев ТИМОФЕЕВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ
Юрий ЩЕРБАК
Григорий ЯВЛИНСКИЙ
Николай ЯКИМЧУК
Глеб ЯКУНИН

Издательство «Пресса» Москва

В НОМЕРЕ:

Проза

Инна ШУЛЬЖЕНКО. Сердцебиение плода.
Рассказ (8)
Михаил ВОЛКОНСКИЙ. Мальтийская цепь.
Исторический роман (14)

Поэзия

Елена ЩАПОВА (6),
Людмила ЛИНЬКОВА (12),
Римма КАЗАКОВА (13)
Стихи Кенигсбергских поэтов.
Предисловие Н. Новикова (58)

Публицистика

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Прогулки с пришельцем (62)
Прислушайтесь к тому, что говорит Хакамада (64)
Михаил ТАЛАЛАЙ. Мы не уходили из Европы (65)
Владимир МИКУШЕВИЧ. Мистика
предпринимательства (72)
Дмитрий МАЧИНСКИЙ. Дерево России (66)
Владимир БИБИХИН. Толкование сновидений (74)
Остров Крым лейтенанта Шмидта.
Публикация О. Ильницкой (75)
«20-я комната». Журнал в журнале (89)

Культура и искусство

Александр ТКАЧЕНКО. Легенда реальности (80)

Критика

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ. Россия на полпути
к Западу (2)
Виталий КОРОТИЧ. Все ли у нас
дома... Предисловие Анны Пугач (76)

Почта «Юности»

«Исповедь поколений: о жизни и о себе» (5,82)

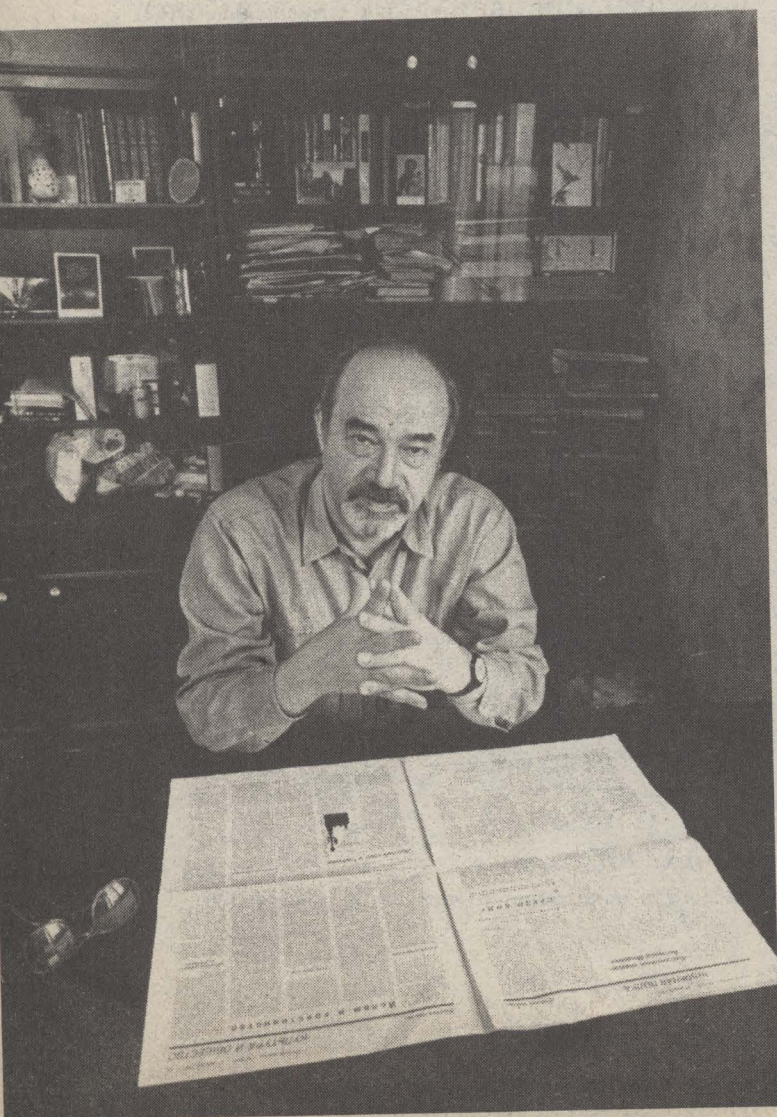
Зеленый портфель

Михаил ЗАДОРНОВ. Рассказы (85)
Бахыт КЕНЖЕЕВ. Послания и оды (88)

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ

РОССИЯ НА ПОЛУПУТИ К ЗАПАДУ

Фото Леонида Шимановича



В 1811 году русский историк Н. М. Карамзин подал императору Александру I записку, которая называлась «О древней и новой России». В записке был дан анализ развития России от древнейших времен до конца XVIII века. XIX век Карамзин встречал напутствием, смысл которого сводился к следующему: России нужно «тихое возмужание», а не петровские революции, основывающиеся на «порыве и насилии».

До Петра, писал Карамзин, заимствования из Европы производились «как бы нехотя», при Петре началось «совершенное присвоение обычаев европейских».

«Совершенное присвоение», на языке Карамзина, — это присвоение полное, бесповоротное и безоговорочное. Оно не может быть произведено добровольно. Никакой народ не откажется от своих обычаев в один день. Его можно только силой заставить менять вековые привычки. Я уж не говорю о более глубоких понятиях — о духе нации, об ее идеале.

Петр, творя свои преобразования, пролил большую кровь. Он в известном смысле породил Ленина, только с той разницей, что Петр брал за образец европейскую жизнь, то есть успехи промышленности, торговли, воинского искусства и сам быт, а Ленин вознамерился перекроить русскую жизнь по рекомендациям взятой у Европы теории.

Кто-то из исследователей заметил, что в России всегда боялись французского влияния, так называемого «вольтерьянства», а опасность пришла из Германии, хотя утопический социализм — дело не одного германского ума. Примечательно, что сама Европа не пошла по пути, начертанному Марксом, а оставила его для России, чей режим и политическая культура «верха» и «низа» позволили осуществить этот эксперимент.

Русские цари в XIX веке вняли советам Карамзина. Они не гнали историю вскачь. Александр I хотел дать Польше, а затем и России, конституцию, но потом понял, что делать это еще рано. Николай I создал комиссию по освобождению крестьянства, но время для крестьянской реформы в его царствование не пришло — только в 1861 году его сын, император Александр II, провел эти намерения в жизнь.

XIX век в России был самым спокойным веком потому, что он был консервативным. Консервативное начало взяло верх, а противодействующее ему революционное было сдержано благодаря авторитету сильной власти.

Меж тем политическая жизнь у нас разбегалась по краям. Над требованиями здравого смысла и разума брало верх чувство, какая-то увлеченность — отсюда явления крайнего консерватизма и крайней революционности.

Центр в России всегда был политически вял, неавторитетен, даже, если хотите, ненароден, ибо у него не было ни традиции, ни укорененности в русской истории.

Если исходить из того, что национальную мысль представляют прежде всего гении, а не таланты, то гении русской литературы и философии все, как один, были против насилия, против насильственного присоединения европейского опыта. Пушкин, Гоголь, Достоевский, Лесков, Толстой, Чехов, а вслед за ними Владимир Соловьев, Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Флоренский — вот кем представлена эта сторона.

С. Франк по этому поводу писал: «Из западных влияний в России наибольший успех имели всегда более плоские, притом именно отрицательные и разрушительные течения. Позитивизм, материализм, социализм — вот главные плоды нашего общения с Западной Европой, по крайней мере начиная с 40-х годов; а анархизм в значительной мере является прямым созданием русского духа, тогда как такие явления, как христианский социализм, проповедь Карлейля или Рёскина, национальные и религиозные движения на Западе, не находили никакого общественного отклика у нас».

Прививка западных идей к русскому стволу с помощью большевистского ножа привела вместо желаемого сближения с Европой к отталкиванию от Европы — отталкиванию в сторону тоталитарного Востока.

Сейчас потрясенная страна стоит перед выбором: куда идти? Перенять ли без промедления западные формы государственного устройства, социальных отношений и принципы западной экономики или, как говорил Карамзин, смешать их со старым, со своим?

Как известно, в декабре 31-го года в Москве был взорван храм Христа Спасителя. Его построили в прошлом веке на народные деньги в честь победы над Наполеоном. Коммунисты хотели соорудить на его месте Дворец Советов с огромной фигурой Ленина наверху. Голова Ленина должна была уходить в облака. Но храм разрушили, а дворец не построили. На месте взорванного храма плавательный бассейн, или, попросту говоря, общественная лужа.

Сегодня народ собирает деньги на строительство храма на том же месте. Вот вам метафора современной России: разрушенная святыня, образовавшаяся на ее месте лужа и, наконец, жажда возвращения утраченного.

Сможет ли народ восстановить храм в том виде, в каком он был? Сможет ли Россия вернуться к своему докоммунистическому состоянию? И насколько глубоко посеял коммунизм свои ядовитые семена в душу русского народа?

Сошлюсь на чужой опыт. Три месяца назад я путешествовал по Германии. Я был и в бывшей западной, и в бывшей восточной ее частях. И воочию убедился, что коммунизм и свободная Европа — две вещи несовместные. Берлинской стены нет, границы открыты, но в одной стране живут два народа, хотя говорят они на одном языке, у них одна культура и одна история. Поразительно, за четыре десятилетия у людей в бывшей ГДР, кажется, деформировался сам национальный характер. Исчезли знаменитое немецкое трудолюбие, любовь к чистоте и порядку, привычка строить все прочно и надолго.

Молодой глава фирмы из Западного Берлина, принимавший меня и возивший во вчерашнюю столицу ГДР, восклицал, показывая на построенные там дома, фабрики и вокзалы: «Аллес капут!» Он несколько раз произносил эти слова, сопровождая резким жестом руки, подчеркивающим, что его мнение окончательное.

«Аллес капут!» — это значит, что все надо сносить, так как это недоброкачественно, временно и построено на лжи. Новые дома уже от рождения ветхи, неэкономичны, фабрики оборудованы станками чуть ли не гитлеровских времен, дороги разбиты. На улицах грязь и запустение. «Аллес капут!» — этот приговор относился не только к домам и дорогам, он относился и к людям. Мой новый знакомый рассказывал, что он взял на работу в фирму несколько восточных немцев. И что же? Через несколько недель он вынужден был их уволить. Они не умели и не хотели работать, занимались приписками и, в-третьих, сочиняли друг на друга доносы. Немец из Западного Берлина произвел подсчет возрастных слоев населения на Востоке, которые способны влиться в общеевропейскую жизнь. Итоги были неутешительными. «Может быть, те, кому сейчас двадцать, могут стать полноценными западными людьми», — сказал он. — Но я бы делал ставку на еще более молодых».

Получается, что несколько поколений восточных немцев должны просто физически вымереть, чтоб произошло истинное воссоединение Германии.

Подсчет, конечно, пессимистический, но он тем более верен для нашей страны. Немцы жили под коммунистами 46 лет, мы — почти вдвое дольше.

Когда въезжаешь на электричке из Западного Берлина в Восточный, то контрасты бросаются в глаза. Последняя станция в Западном Берлине «Цоогартен». Первая станция в Восточном Берлине «Карл Маркс — Фридрих Энгельс аллее». На «Цоогартен» — чистота и блеск, все сияет и все новенькое, на «Карл Маркс — Фридрих Энгельс аллее» — крыша вокзала разбита, стекол нет, на платформе валяются окурки, ларек с напитками и сигаретами закрыт. Немытые лампочки под крышей вокзала излучают тусклый свет.

И еще одна подробность. В Лейпциге я был в музее Баха. Он находится вблизи церкви Святого Матфея, где Бах служил кантором и где он похоронен. На стене музея, под стеклом, висит список музыкантов, служивших канторами чуть ли не с XIII века. В этом списке есть фамилия Баха. Она подчеркнута жирной чертой. А замыкает список человек, имя которого стараются сейчас не произносить вслух в Лейпциге. Он, как и Бах, тоже кантор, но одновременно и разоблаченный агент восточно-германской службы безопасности. Такова эволюция европейской цивилизации в сторону коммунизма — от Баха до платного освещенителя штатки.

То, что я увидел в Германии, — прообраз вхождения России в современную Европу. Наше положение отличается еще тем, что в Германии живут немцы, а на территории России множество народов. И все же в пределах новой России христианское вероисповедание может занять свое вдохновляющее место. Это важно не только для самой России, но и для ее вхождения в христианскую Европу.

Сегодня русская церковь еще не в состоянии, как церковь в Польше, возглавить народ. Она коррумпирована и не имеет авторитета. Растет авторитет христианской веры, но нет доверия иерархам, штат которых десятки лет укомплектовывался на Лубянке и на Старой площади. Когда-то, в эпоху татаро-монгольского нашествия, церковь помогла выстоять Руси, ее уважали даже Батый и Чингисхан. Нынче она —

аргумент в пользу «плюрализма мнений», институт по соблюдению христианских обрядов и праздников. То есть сила скорее декоративная, чем самодовлеющая.

Наша церковь еще не может отделиться от власти. Будучи столько лет ее служанкой, она медленно распрямляется, нехотая встать с колен.

И здесь грядет обновление, и сюда должны прийти новые люди.

Коммунисты, отменив Бога, поставили на его место свое верховное существо — теорию. Даже Маркс и Ленин были при ней всего лишь мелкими чиновниками, обслуживавшими ее интересы: Богом стало не живое лицо, а сумма чисел, силлогизмов, создание чистой логики, в которой не было места тому, что является сердцем христианства — любви.

Не став верованием народа, коммунистическая идея развратила народ. Она отучила его работать, она подавила его энергию и волю к творчеству, она состарила, истрепала его, она, как колхозные тракторы, содравшие самое ценное в российском черноземе — его верхний слой, гумус, на восстановление которого понадобится пятьсот лет, — разрушила саму его душу. Загадочная русская душа, о которой до сих пор столько говорят на Западе, если и существует, то как редкий вид должна быть занесена в Красную книгу.

Особенность России состоит в том, что гуманитарная мысль преобладала в ней над мыслью технической, инженерной, практической. Русский человек мог подковать блоху и удивить этим англичанина (такой случай описан в рассказе Лескова «Левша»), но он делал это не для пользы, а из-за куража, из-за удачи, из любви к искусству. Даже врачи, эти прагматики из прагматиков, были у нас идеалистами (вспомните Чехова). Им мало было лечить людей, они хотели понять тайну бессмертия.

На этом идеализме и была воспитана русская интеллигенция, ринувшаяся в революцию, чтобы искупить свою вину перед народом.

В 1909 году в сборнике «Вехи» и в 1918 году в сборнике «Из глубины» она жестоко критиковала себя за это: за «самообожание», за «высокомерие героизма», за «народопоклонничество и высокомерие по отношению к народу». «Историческое чудо», как выражались авторы «Вех», она предпочла «историческому тяглу». И на этом ее заблуждении впоследствии сыграли коммунисты. Коммунистический режим, будучи сугубо материалистическим, использовал эту идеальность русской интеллигенции и отыгрался на ней.

Так что сейчас рухнул не только коммунизм, но и эта вера интеллигенции в свою избранность, свое божественное предназначение. Это пересмотр всех основ русского мирочувствования, пересмотр в сторону уравнивания идеального с практическим и, может быть, даже перевеса практического во всем, включая вопросы веры, ибо, скажем, католическая церковь гораздо ближе стоит к мирской жизни, чем церковь православная. Это движение в сторону сближения церквей, в сторону секуляризации сакрального.

Такой слом болезнен, на такую революцию духа понадобится годы и годы. Легче поменять власть, труднее поменять строй, но еще труднее — а иногда и вообще невозможно — поменять человека.

Уничтожение крестьянства началось в коммунистической России в 1929 году. В то же время перестал существовать и деловой человек — двигатель торговли и экономики. Отмена нэпа и коллективизация предопределили эти два события.

«Россия во мгле» — писал когда-то Герберт Уэллс. Россия в руинах — так выглядит она сейчас. Она в руинах коммунистической государственности, идеологии, коммунистических обычаев и привычек. Жизнь при коммунистах стала привычной, а привычка, как говорят, вторая натура. Учиненный коммунистами разврат стал второй натурой народа. Зависть, которая мучит восточных немцев, — детская забава по сравнению с тем, что учиняет она с русским человеком. Он не может отделаться от чувства, что он пария, а не господин, что западный человек — это белый человек, а он, русский, — Бог знает кто.

С детства он смотрит на Запад не как на духовный пример, а как на магазин. Он привыкает к тому, что «там» лучше, а «здесь» хуже. Что «там» люди живут, а «здесь» существуют, что «там» есть выход в мир, а «здесь» — только в могилу.

Это страшное состояние униженности порождает агрессивность. Русский человек никогда не был агрессивен. Он если и воевал, то за отечество, или, скажем прямо, за европейские интересы, как было в 1799-м, 1805-м, 1807—1813 годах. В Лейпциге стоит церковь-памятник в честь победы войск

союзников в «битве народов» в 1813 году. Снаружи на ее стене прикреплена доска, где указаны цифры потерь союзных войск. Больше всех легло под Лейпцигом русских — 22 тысячи человек. Как писал автор книги «Россия и Европа» Н. Я. Данилевский, изгнав Наполеона, мы два года боролись за Германию и Европу.

То же повторилось и в 1945 году. Правда, в отличие от 1815 года мы не ушли из Европы, а захватили освобожденные от Гитлера страны. Но тут у власти в России были уже коммунисты.

Сейчас в народе скопилась масса неостребованной энергии мщения, которая есть не что иное, как энергия насилия. В настоящий момент она обращена на главных обидчиков народа — коммунистов. Но она может распространиться и на кого угодно. Национальные пожары вспыхивают чаще всего именно по этой причине. Тут не столько вражда на почве крови, сколько опять-таки бедность, безрадостное житье, беспросветность открывающегося будущего. Нет ничего в настоящем, нет ничего и в будущем, а прошлое лишь раздражает воображение, ибо оно невосвратимо.

Ничего подобного не было в «тюрьме народов», как называли старую Россию большевики. Никогда не лилось столько крови на национальной почве, никогда не было такой ненависти азербайджанцев к армянам, грузин к осетинам, киргизов к узбекам и т. д. Никогда, наконец, малые народы так не ненавидели коренное население, хотя коммунизм, заведший их в тупик братоубийства, не является изобретением русских.

Но ненависть к коммунистам переносится прежде всего на них, как будто в Ленине не было калмычкой, шведской и еще какой-то крови.

Если б отдельные нации бывшего СССР жили в сытости и довольстве, если б будущее их было обеспечено, не было бы этой облекшейся в национальные одежды жажды мести, которая гуляет сейчас по стране от южного до северного морей, от западных границ до Тихого океана. Поистине океаном насилия может стать Россия, если жизнь и дальше будет склоняться к отчаянию.

Интеллигенция в этих условиях тоже теряет руль управления. Во-первых, она расколота на разные партии, во-вторых, ослаблена борьбой этих партий друг с другом. Левая интеллигенция обессилена в борьбе с режимом, вся ее энергия ушла на то, чтобы проломить брешь в коммунистической стене. Кроме того, она по природе своей близка тем, кого сокрушила, ибо коммунизм и антикоммунизм одинаково разрушительны, их культура — это культура борьбы, которая противоположна и даже враждебна культуре труда и строительства.

Чтоб сокрушить коммунизм, нужна была одна культура, сейчас необходима другая. Нужна смена поколений, идеологий, культур. Коммунизм как идея беспачпортен, внационален, так же внациональна и абстрактна по своим устремлениям отрицающая его сторона.

Сейчас в связи с победой 21 августа начинается отсчет новой жизни русской идеи, которой всегда так страшилась либеральная интеллигенция. Россия, наконец, отказывается от претензий на мировое господство (это была претензия коммунизма, а не России), она освобождается и обособляется, и теперь русская идея не сможет нанести никому никакого вреда. Становясь государственной идеей, она сбрасывает пути шовинизма.

На этом фоне русская идея способна возродиться как идея положительная, как основа в лучшем смысле этого понятия изоляционистской политики России, устремляющей свои силы на процветание собственного народа. Таким образом, с русской идеи снимается налет агрессивности, к которой так или иначе толкало ее сопротивление коммунизму или борьба с ним.

Интеллигенция подымается с колен и несет на себе печать рабского унижения. Эта печать видна на современных «западниках» и «славянофилах», «левых» и «правых». По-прежнему особенно кровава край, а партия здравого смысла, то есть центра, безмолвствует. Или ее голос теряется в хоре отчаянно кричащих глоток.

Атеизм по-прежнему господствует и тут и там, он поощряет край и чужероден прощению и состраданию.

К несчастью, и «левые», и «правые» и на сегодняшний день нигилисты, их отношение к прошлому и настоящему строится на отрицании — и это увеличивает агрессивность.

Наш парламент — зеркальное отражение этого раздора. На последней сессии Верховного Совета выступил представитель Узбекистана и сказал, указывая на депутатов от Мо-

сквы: «Сами заварили эту кашу, сами и расхлебывайте!» «Его слова относились к перевороту 19 августа.

И это не дикость или лукавство Востока, это дикость невежества. Невежество культивировалось в коммунистической России. Невежественный человек был для коммунистов «нашим» человеком, независимо от того, к какой национальности принадлежал. А умный — будь то русский, казах или еврей — был «не наш», был чужой.

Так что и сейчас идет война не народов с народами: подстрекают людей, держа их в голоде и холоде, вчерашние хозяева Советского Союза, а при этом тоже не важно, к какой национальности они относятся. Ибо номенклатура и элита советской власти — это одна нация, нация без территории и родины, но зато с большим ртом и ненасытным желудком.

Подоплека национальной борьбы — социальные страсти. Не было бы их, не было бы и этой поножовщины.

Недавно мир обеспокоило заявление президента Казахстана о том, что он не намерен отдавать России ядерное оружие. Что-то подобное заявил и президент Украины. Оба они ссылались на то, что передислоцирование ядерного оружия на территорию России будет дорого стоить. Это верно. Но, мне кажется, не только в этом дело. Бывшие республики в подкрепление своего статуса хотят иметь нечто веское. Но тогда в случае национальных конфликтов может возникнуть ситуация, когда начнут стрелять не простыми снарядами, а ядерными боеголовками. Заметьте: коммунизм в бывшей советской империи сейчас отключивается к Востоку. Коммунизм хочет опереться на Восток, как на своего спасителя. Именно в среднеазиатских республиках и Азербайджане коммунисты оседлали нового коня — национализм, а национализм, в свою очередь, не хочет расставаться с коммунизмом. Стоило президенту Таджикистана объявить о роспуске компартии, как он немедленно перестал быть президентом. Партия показала, что на окраинах СССР она еще сильна. Что там, где народ еще не просвещен, где он пребывает в условиях полупфеодалного существования, там она еще способна бороться. А то и, обернувшись национальным флагом, остаться у власти.

У России тоже есть свои окраины и свои азиатские очаги на ее территории. Эти очаги и окраины, куда не сразу донесутся ветры из Москвы, способны стать известным подпольем компартии, откуда она сможет предпринять наступление на демократов. Не надо при этом забывать, что почти все нынешние лидеры демократов, включая Ельцина, — бывшие коммунисты и пережитая ими трансформация не могла до конца изменить их природу, которая толкает на ускорение исторического процесса, заставляет прибегать к силовым методам, ибо подлинная культура демократии им недоступна. Поэтому современная демократия в России — это, с одной стороны, полное господство демоса, переходящее в охлократию, с другой стороны, некоммунистический, но ведущий свое происхождение от коммунизма нажим на историю.

Эта взрывчатая смесь и есть то, что заменяет сегодня коммунистическую власть. Демократам предстоит прежде всего накормить, обути, одеть народ, дать ему тепло, лекарства, какие-то гарантии на неголодное завтра. Предстоит им от также победить себя, победить в себе то, что досталось им от тоталитарного прошлого. Гибель карательной, финансовой и иной материальной силы компартии открывает возможность для такой попытки. Народ сейчас верит демократам или по крайней мере Ельцину, но он не хочет ждать. Вековое ожидание лучшей жизни измотало его вконец. Год-два, быть может, он еще проживет в нищете. Но потом взорвется.

И тут выступает вопрос о более долгосрочных гарантиях. В России еще в XIX веке были популярны два вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?». Первым публично задал вопрос «Кто виноват?» Герцен, назвавший так один из своих романов. Вопрос «Что делать?» был поставлен в заглавии романа Чернышевского. И уже позже его повторил в названии своей программной работы Ленин. Но существует и третий вопрос, который в свое время поставил Лев Толстой, — «В чем моя вера?» — сразу поменяв местами последовательность русской логики.

До сих пор, отвечая на два первых вопроса, мы только и делали, что выясняли, кто виноват. Нам представлялось, что, если мы найдем виновных нашего бедственного положения, мы узнаем, как нам жить, и в ответе на вопрос «Что делать?» всегда преобладало одно: надо расправиться с виновными.

Революционная тенденция русской мысли опиралась на эту идею. В России ходит такой анекдот. Идет революция. Ста-

рая барыня, прислушиваясь к шуму на улице, спрашивает кухарку: «Скажи, Маша, что там происходит?» Кухарка отвечает: «Революция». «А чего они хотят?» — «Они хотят, чтобы не было богатых». Барыня разочарованно качает головой: «А мой дед-декабрист, когда выходил на Сенатскую площадь, хотел, чтобы не было бедных».

Старая барыня, похоже, угадала, чего желало образованное общество. Я подчеркиваю, образованное, так как нигилизм, революционность зарождаются на почве неполного образования, одностороннего или ущербного образования, полубразования. Ленин знал языки, конспектировал Гегеля, но был тем не менее, как писал Бунин, «нравственным идиотом». «Ум идет вперед, — говорил Гоголь, — только тогда, когда идут вперед все нравственные силы в человеке». Эта истина была высказана им в 1847 году, кстати, не без учета опыта европейских революций, начало которых он застал в Неаполе.

Противостояние западников и славянофилов — двух основополагающих течений русской общественной мысли XIX века — шло по линии противоборства двух ответов на вопрос «Что делать?». Одни искали виноватых на стороне, другие находили вину прежде всего в себе и считали, что только путем личного преображения можно прийти к возвышению общества.

Н. Я. Данилевский называл особо истовую приверженность Западу «западничаньем» (по аналогии с «обезьянничаньем»). Нынешние наши «патриоты», считающие себя единственными наследниками славянофилов XIX века, тоже упрекают демократов в западничанье. Но кто они сами? Вчера они блокировались с компартией, с генералитетом, а сегодня слагают оды Ельцину. Славянофилы прошлого века были последовательны. Считая себя приверженцами монархии, они тем не менее находились в оппозиции к внутренней политике царствующего монарха. Они не смогли бы восхвалять ту власть, которая истребила лучших сынов собственного народа.

Накануне переворота 19 августа орган «патриотов» газета «День» вышла с огромной шапкой на двух страницах: «Наше дело правое, победа будет за нами!» Эти слова были взяты из речи Молотова, произнесенной в день нападения Германии на Советский Союз. В одном из выступлений, помещенных на этой странице, приведена полная цитата из Молотова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» Кого газета имела в виду под словом «враг»? Ответ однозначен: демократов.

Минул путч, победили демократы, и газета вышла с подзаголовком: «Орган духовной оппозиции». Когда я спросил одного из редакторов «Дня», в оппозиции к чему вы теперь находитесь, он простодушно признался: «В оппозиции ко всем, кто выступает против демократов». Святая простота! Но это та простота, про которую в России говорят, что она хуже воровства.

Сегодня люди, написавшие «Слово к народу», которое стало как бы анонсом переворота, отрицают свою причастность к последнему. Вчера еще готовившиеся в победители, сегодня они выставляют себя жертвами.

В 1925 году Михаил Булгаков в романе «Белая гвардия», описывающем гибель старой семьи, старой культуры, а стало быть, и старой России, писал: «Все мы в крови повинны». Все мы в крови повинны — этого не может признать сегодня «патриотическое» движение. Оно оторвано от русской духовной традиции, бывшей всегда традицией христианской.

И сегодня, когда коммунистов у власти в России уже нет, атеизм и нигилизм мучают не только бывших членов партии Ленина, но и победивших их демократов. Вроде бы цель достигнута, коммунизм повержен, а они все еще не могут предложить народу идеала, который, соединив русское развитие с европейским опытом, окончательно ввел бы Россию в границы обретенной Европы.

Я убежден, что этот идеал неотделим от христианской веры. «Христианская игра в Европе нисколько не закончена, — писал католический историк Ж. Фолье, — хотя бы иные и делали вид, что не хотят в нее играть».

Сентябрь 1991 г.

«ИСПОВЕДЬ ПОКОЛЕНИЙ: О ЖИЗНИ И О СЕБЕ»



Итак, конкурс писем подходит к концу.

Мы благодарны всем, кто уже ответил на заданные вопросы, и сегодня предлагаем обсудить последнюю тему: *о нашем отношении к прошлому, о судьбе государства, о связи времен и поколений.*

По-прежнему ждем ваших размышлений, рассказов о личном опыте и наблюдениях. И напоминаем, что в проведении конкурса нам помогает независимая Служба изучения общественного мнения ВР (руководитель — проф. Б. А. Грушин). Поэтому, чтобы облегчить социологам анализ писем, просим Вас указывать номер того вопроса, на который Вы отвечаете.

1. В последние годы на нас буквально обрушился поток новой информации о нашем прошлом. Мы узнали факты, которые были большинству ранее не известны, различные версии, объясняющие пройденный страной исторический путь.

Интересно, что из узнанного Вас больше всего поразило — вызвало недоумение, возмущение, боль или, напротив, радость?

2. История складывается из судеб многих поколений, и легче всего проследить смену поколений на жизни своей семьи. Что Вы лично знаете о своих близких и далеких предках? Кем из них особенно гордитесь? Какие их лучшие человеческие качества удалось, на Ваш взгляд, сохранить в нынешнем поколении?

3. Среди прожитых и уже перевернутых страниц истории сегодня осталась и страница с надписью «СССР». Прежнего Союза уже нет, определенности в будущем тоже пока нет.

В истории нашей страны были различные кризисные, критические моменты. В этой связи на какой именно опыт прошлого, по-Вашему, можно было бы сейчас опереться?

И главное: что можем и должны сделать мы все, а также вновь образовавшиеся государства, чтобы вернуть людям нормальную мирную жизнь, восстановить доверие друг к другу?

В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе.

4. Сколько Вам лет?

5. Ваше образование?

6. Если учитесь, то где? Если работаете, то кем?

7. Где Вы живете (город, село, поселок)?

8. С кем проживаете? Имеете ли собственную семью? Благодарим Вас за письма, за участие в конкурсе «Юности»!

Результаты конкурса будут подведены к концу года, когда редакция сможет получить и прочитать все читательские «Исповеди поколений: о жизни и о себе».



Елена
ШАПОВА

«Мне этого не простят...»

Ленка Шапова, Козлик, графиня де Карли — все она, удлиненное, тонкое лицо, как на старинных японских гравюрах. Но вообще-то Москва семидесятых — тогда еще столица дряхлой могучей империи — изваяла и нарисовала ее такую. Тверская была еще улицей Горького, но звалась только «Бродвеем», там в кафе «Артистическом», в старом «Национале», в еще не сгоревшем молодом ВТО (я говорю о ресторане) собиралась московская ярчайшая богема. Шумели, пили, толковали о местных знаменитостях. Все, конечно, были гении — и по молодости лет, и по устремленности в будущее, потому и ставили себе и своим друзьям щедрые оценки. В обществе, как всегда, шел процесс. Круги расширялись, соприкасались, пересекались. И в одном из них я увидел в круглом зеркале за стеклянным столом с бокалами — нога на ногу, сигарета в зубах — все в лучших традициях — эту девочку-подростка, жену моего приятеля художника Виктора Шапова. Он тогда уже процветал и мог позволить ко всеобщей зависти и белый «мерседес». Я и Елена сразу подружились, потому что она была личностью и писала довольно оригинально с самого начала. Быть личностью в московской богеме — уже кое-что.

И еще: в доме ее всегда было начало века, модерни, то есть масса причесок и прочих декоративных цветов на высоких стеблях в стеклянных туманных вазах стиля «алле». И сама она была — портрет кисти, может быть, Серова или Альтмана.

Такой увидел ее самолюбивый, весь заостренный Эдик, недавно приехавший из Харькова утренним поездом «покорять столицу». С тех пор они всюду были вместе — Лимон и Елена.

А потом подхватил их ветер эмиграции, закружил по европейским городам и весям. Все отмечая, всех замечая своими длинными светлыми глазами, Елена спокойно входила в кабаки и в светские гостиные и однажды на площади Рима на виду у всех вошла в воду фонтана и искупалась там. Просто было жарко.

В Нью-Йорке они расстались. Было очень больно, потому что по-живому и среди чужих. Он написал роман «Это я — Эдичка». Она написала роман-ответ «Это я — Леночка», иной образ, другая версия.

Была потом фотомоделью, манекенщицей известных фирм. Надо было жить дальше и быть при этом самой собой. Самой собой и никем другим. А уж антураж, декорация, пейзаж, какой тебе надо, образуется.

Сейчас Елена Шапова — графиня де Карли — живет в Риме. Она — русская писательница, выпустила три книги стихов, написала два романа, пишет третий. Ее прозу отличает несомненная автобиографичность, эстетизм с привкусом, я бы сказала, горечи. И, конечно, игра, ирония, «хулиганство», присущее поколению.

Недавно Елена была в Москве. Я рад, что она несколько не изменилась. Личность сквозь все перипетии пронесет свое, особенное, чтобы украсить своим непохожим завитком эту вечно новую и куда-то убегающую жизнь.

Генрих САПГИР

☆☆☆

Что ж умираешь в самом деле
в своей квартире полутемной
а за окном мой Рим наемный
и неизвестный день недели
Вся ослабевшая от боли
я думаю лишь о безделках
так на серебряных тарелках
мне подается сила воли
Воспоминание о прошлом
и приключения блудницы
все это долгие страницы
кривых зеркал воображений
И отражение всех милых
так называемых хозяев
халдеев-магов томно длинных
и свора светских негодяев
Теперь же я больна и лето
меня зовет в чужие страны
где принц кровей залижет раны
у неизвестного поэта.

Из цикла «Сублимация»

И
В покои раздвинутых ног
Заходит уверенный бог
И голая скачет вода
и шепчется русское да
Развратница вроде бы вниз

Но то добровольный каприз
Не верит что это игра
Она полутемный раба
И рыба и птица
Бангкок
Норвегии белой улыбка
Французское эс — улитка
Где вниз виноградная ветка
Седые врачи и кокетка
И космос пронзает АОХ...
Не может здесь быть ошибка
В покаях раздвинутых ног
Лежит неуверенный бог
И вечная полуулыбка.

II

Когда заходим мы в бордель Бангкока
Где полутемный бар
И выпивка двояка
Где слышен голос пьяного поляка
Там мы садимся под китайским фонарем
И ряд невест окидываем взглядом
Они встречают нас шумящим стадом
И даром дарят тонкие улыбки
Иль красным шариком вдруг дуют губки
И глядя на меня чуть выше поднимают юбки
Смушаюсь

— Я первый раз присутствую в борделе
Шепчу я другу своему
Что первый раз?..

Сегодня первый день недели
Ты не забудь послать открытки...

Ну скажем

Ты выбери себе креветку

И с ней займись массажем...

Мигает лунная гора

А с ней тайландка

И мы уходим в маленькую клеть

Чтобы на тело друг у друга посмотреть

Она меня купает в ванне словно куклу

И чуть ли не несет на берег простыней

Уверенные руки делают пассажи

История о немке

Пиве муже

И просьба пригласить

В мой дорогой отель

Мне нравится бордель

А пальцы у нее

Обсасывают косточки моей спины...

Буквы

Она говорила Л. Л.

Он отвечал Н. Н.

Она говорила Ты Ты

Он отвечал Я Я

Она доказывала что она Д

А он что ему П

Заплакав

Спросила что скажет М

Он ничего Н

Потом он встал и сказал Д

Он уходит к Г.

А она сидела на Л

Пока не подошел В

Он спросил почему она П

Она рассказала что ждет Р

А он ее Б

И она хочет или Уили Пили З

Он сказал что нужно Ж

И все будет Х

Что он ее Л

И готов усыновить Р

Они нежно П. И ушли с Л.

Неизвестное время года

(Ему нужно все подсчитывать)

Дождь шел четыре раза

Стрекоза умерла сорок шесть

Цветок запах восемь

Корова промывчала одиннадцать

Не Бог весть что

Но она не плакала ни одного
Гром один раз
Молния два
Он звал на помощь — три
(ни один не отозвался)
Листья меняли оттенок шесть раз
Кровать скрипнула — сто двадцать
Трава зеленела — девять
Звезд упало семь
Сильный ветер — два раза
Всего семьсот семьдесят девять раз
Да еще смех
Сколько же раз они смеялись?

Фантастическая цифра
Солнечная система
Мне этого не простит
Не буду записывать
Не буду
Не буду
Не буду

☆☆☆

В пруду ловили скользких дам
Охотники на жен прохладных
Над лесом слышен белый гам
Из тел прозрачно виноградных
Гремят уставшие мужи
Но не берутся за ножи
В пруду хватаются за грудь
И не боятся утонуть
Отловленные дамы
Отличием полны
Одни играют драмы
Другие комеди
Блондинки и брюнетки
Дикие но все же кокетки
Все русые грустны и тихи
А рыжие так очень лихи
Всю ночь охотники не спят
И обездужают дам
Кто ценит розовых ребят
Кто белоснежных мам
А легкий нежный ветерок
Как будто в злую шутку
Приносит резкий запашок
В отшельничью будку.

☆☆☆

Константину Кузминскому

лето летательного аппарата
тихо прошло в пыли
забытый судьбой на даче
вдруг поднимался один и летал
лето мечтательной русской

и вовсе лишь грусть была

в жаркие дни спала
а к вечеру выходила в пространство
и нюхала то ли душистый белый табак-цветы
то ли жизнь
ее упрекали в притяжении к земле
она плакала говорила что больше не будет
и все же ходила
ходила она в пыль
и долго разговаривала с летательным аппаратом
они подружились от зажиточной ненужности

в этой жизни

впрочем верили в переселение душ
и даже шутили
а что если после
летательный аппарат станет мечтательной русской
а русская летательным аппаратом
от такого буддийского будущего долго смеялись
но про себя с ужасом думали вдруг...
ни один из них не упрекал другого в прошлом
хотя знали друг о друге все
иногда летательный аппарат жаловался на холод
что она приносит с собой
и тогда она сковыривала с него
и без того облупившуюся красоту
он ворчал с просьбой не бить красоту

она же руку подносила к лицу
и царапая ногтями висок
показывала один и другой волосок — седые
видишь как дело пошло
но он уж не слушал и говорил о другом
решительное время заставило принять слова
ясность
вывод
и еще очень длинное
кульминационный момент
в этот вечер она пришла в белых кружевных чулках
а он тщательно проверил мотор
никто теперь упрекнуть не может,
что я лишь только ходила
летательный аппарат молчал
он чувствовал себя мужем
галантно предложив сесть в середину своего тела
и навсегда оторваться от этой земли
полетел
она хохотала и целовала его везде
с истеричной нежностью пухлых губ
воздух был чист и ветер попутен
они не погибли
не утонули в море
не разбились о скалы
ничего такого ужасного с ними не произошло
они просто жили вместе летали
и не умерли никогда

☆☆☆

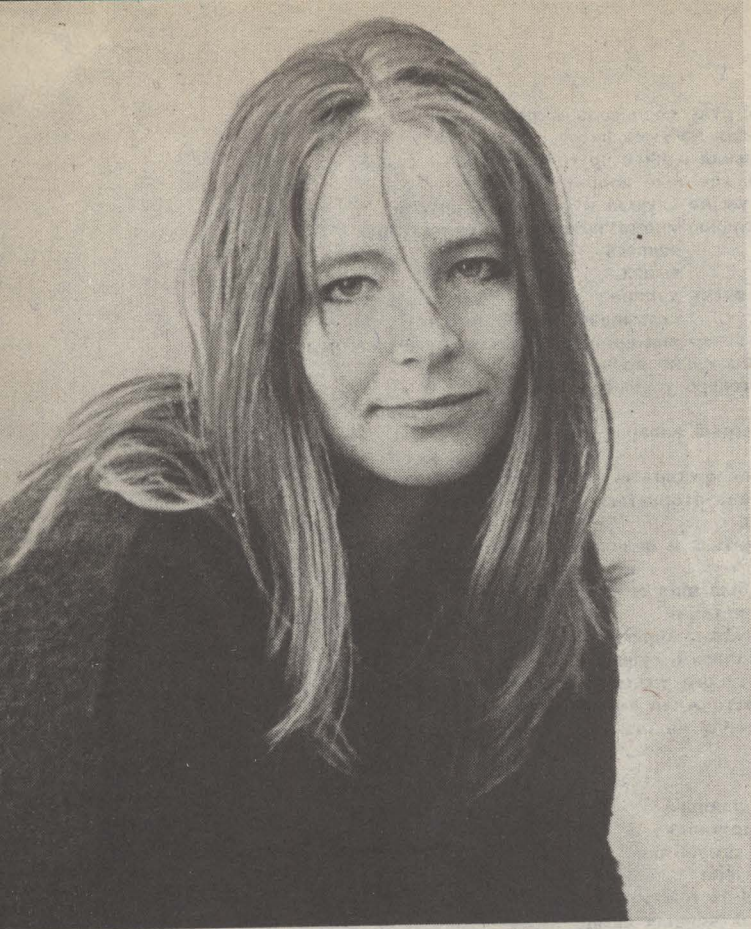
ах мой Эдинька
сон в гармошку
все это самообман
рыбье озеро
дверь на застежку
и лес как черный нагар
на этом выгоне
стоят двое
блаженные лица у них
сейчас они чистенько прошлое смоят
и убегут не спросив
лошадку из дерева
и конягу из плюша
уведут за собой в ночное
и леший им скажет
что ему страшно
ведь на планете их трое
тот невидимка к кому обращаешься
безмолвно с тобой согласен
высосав сок
зверь улыбается
нежное дерево ясеня
никто не знает
о чем подумала
женщина глядя в дюны
чайка лишь раз ее мысли клюнула
и улетела с испугом.

☆☆☆

Э. Л.

я не хочу говорить о том что было однажды
но я не могу не сказать я глупо и долго люблю
жизнь моя кажется стенкой для граждан
жизнь моя как кенгуру
я время меняю на страны и речи
пиво ли пью или коньяк
живу я лишь вами от встречи до встречи
возлюбленный детка и враг
все вру! я вас ненавижу постой-ка
за стойкою в баре
я вспоминаю все
вы не шестерка вы просто тройка
вы просто выдумка из ничего
верните все письма верните портреты
верните мне детство мое
черные бабочек эпюлеты
и синее с солью вино
я вас ненавижу я вас презираю
плебей не сумевший понять
вы рыба я рак
и я не играю вы — вечный дурак.





Инна ШУЛЬЖЕНКО СЕРДЦЕБИЕНИЕ ПЛОДА

Рассказ

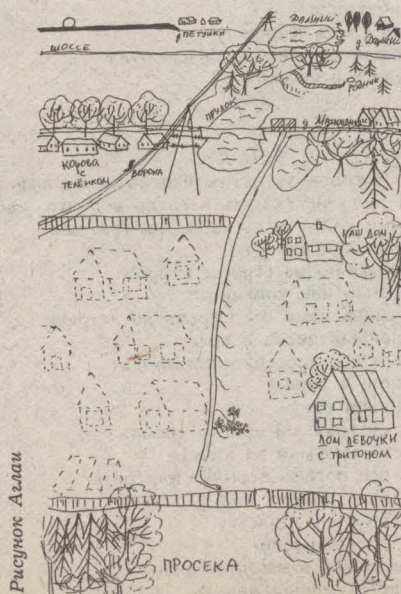


Фото Дмитрия Преображенского

На дачах к концу мая — началу июня уже всегда видно, кто как приехал: кто на пару дней, кто пожить с недельку, кто — жить до октября, до злых негрибных дождей и снятого урожая, смешного — дачного.

А дети приезжают на дачи — расти.

На пару дней, на семь или, может, на все лето — не важно. За два дня можно вырасти на пару листиков хором с той цветочной рассадой, которую тебе поручено поливать вечером. А за неделю, понятно, можно преуспеть в деле роста гораздо сильнее: рассада, к мохнатой лиловости листьев которой ты уже привык, вдруг выстрелит тонким прутиком с неясными мягкими бомбошками на зеленых крючках. А назавтра вместо надоевших, требовательных кустиков возникнут гордые белые цветы, изогнут радугой тонкий стебель, кивая, не подпустят к себе шмеля, и даже веселая собака, еще в Москве ошалевшая от счастья — на дачу! — и то не посмеет скакать на своих коротких ловких лапах и возить своим голым рыжим пузом по невозможно белым цветкам.

Да, за неделю, и если еще в отличной компании, вырасти на даче можно прямо на глазах.

Рост же детей, зарытых в теплую почву загорода на все лето, предполагает одиночество.

Нет, конечно, не все время, не весь день. Ближе к вечеру дневные, ночные и утренние одиночки сбиваются в яркую стаю. Они очень любят ритуалы, например, вызывать друг друга из-за калиток и оконеч резкими, неустойчивыми, как бы на пробу, голосами. Или горстью велосипедных горошин-звонков. И лаем двух собак, одной — своей, чьей-то, а другой — местной, матюшинской — из соседней деревушки, и здесь — чужой.

Велики вздрагивают одновременно, не успевают вместе со всеми только одна девочка — велосипед у нее самый большой, взрослый, но и самый неловкий, ехать надо не в седле, а стоя и переваливаясь. Зато его мощные колеса почти не чувствуют рытвин и ямок. Сначала толику погломив, дети совершают молчаливую прогулку, ежевечернюю, знакомую — может быть, именно в этом ее главная, самая главная прелесть, — душистую и влажную. Велосипеды катят по сухой белой дороге, вдоль поля, краем его, катят, как сквозь цветочную пыльцу, и сами всадники, как пчелы — так старательно хоботки носов втягивают в себя все эти запахи и ветры. Справа остается темный прудок, расшитый трехпалой, как птичий след, ряской, прудок, трепещущий от головастика — на воду отчаянно лают собаки: своя — по глупости, здешняя — из дружбы; потом кто-то притормозит у спуска к потаенному роднику, хранящемуся во влажной, со мхом, шкатулке неглубокого овражка. «Мы догонииии!» — рассыплется за спинами.

В этот час свет странен — сумерки? Цветные. Ведь уже почти темь, мга, однако стоит попасть, въехать в прорыв под-меж тучами — и становится почти светло, а лица, и руки, и коленки делаются такими загорелыми, какими-то даже слегка оранжевыми, а все-все далеко вперед и далеко назад видно так близко, резко, так раздельно друг от друга — даже листья на одном дубе...

Дальний пруд — цель пути, велошествия. Купание обязательно, а для большинства строжайше запрещено. Дальний пруд замечателен и опасен. К нему надо переходить шоссе, пешком, ведя велосипеды за рули, потому что с двух сторон от него спуски, текущие, как лопасти, метра по три или даже больше. Въехать на колесах невозможно даже на спор.

Илькает многократно, лукаво свистит, как прутик или насмешка, шуршит под землей, тенькает и щелкает вокруг, и где-то долго кашляет неблизкий гром, и из деревни Петушки, возжеленной, еще дальше дальнего пруда, вполне звуком пахнет махровый мно-

гоярусный шиповник, долго не вянувший, когда его с прогулки туда приносят с собой взрослые; и лягушки разрывают песнями рты, и где-то за леском растет треск мотоцикла, и самый звук его привносит в запахи вкусную горькость; а иногда дребезгливые ноты подбрасывают скачущие по травам их велосипеды. Тихие заводи дальнего пруда оживляются при появлении детей: радостные, гомоня, снимаются с воды комары, всхрапывает разбуженная жаба; кто-то, уплыв из-под коряги, оставляет на воде завиток-расписку. Крайний домик здешней деревни Дарино в воде получается красивее, чем в воздухе. Коса тополей по росту темным недлинным строем врезается прямо в розовый прорыв под-меж тучами... Ровные линейки высоковольтки не дрожат ни в небе, ни в воде, а гудят и там, и там.

Один мальчик решает плыть, его ленно отговаривает сестра, ее огромный велосипед лежит на боку рядом. Довод «я же волосы не замочу» вполне устраивает сестру, она ведь так устала.

Мальчик оскальзывается на глиняном берегу, обрывистом, коварном, и нарядная белизна его голых ягодиц — в темноте так похожа на шорты! — перечеркивается. Он плывет в темь, в серединку пруда. «Ну, как водичка?» — с берега. «Молоко...» — по-взрослому, как слышал, отвечает он и плывет дальше, от голосов, от вопросов сестры, тихо-тихо раздвигая воду ладонями, осторожно, будто уклоняясь от объятий обидчивого: одни руки отвел от груди — уже обнимают другие... Вода пахнет зверьем и рыбой, и птичьим пухом, и лягушачьей икрой, если подуть, то на одной ножке, как на острей конька, откатится прочь плавунок. Много их здесь катается... А вчера вечером они видели двух водяных крыс, они плавают, как катера, с треугольным следом сзади по воде.

— Вофф! Воффка! — Это сестра зовет. Но именно в этот самый момент, когда зов достигает его, Вовка, неподвижно повиснув в воде, чувствует, замерев и не дыша, как долгий скользкий бок огромной рыбы нежно и протяжно проскальзывает по его ноге... Наверное, это Сом...

Когда он выбирается на берег, цепляясь за траву, чуть в стороне от всех, лицо у него еще обалделое, и дыхание после долгой паузы тяжелое, как у рыбы... и, заглушив все остальные запахи, едко, как бы вскрикнув соком, взрывается ночной запах береговой мяты, надломленной у самого корня...

Его рука и правый резиновый рожок руля еще долго будут пахнуть ею.

Кавалькада выстраивается гирляндой, и гигантские бусы из блестящих велосипедных колес тянутся по мокрой траве, оставляя тонкий ровный змейный след.

Выравнивается кардиограмма пруда, треугольно и волнисто изломанные отражения проводов в воде выпрямляются, бегут медленнее, медленнее и замирают совсем. Уехали.

...В дачках мамы. Или бабушки. Клеверное молоко в толстых чашках. Молоко, принесенное им самим или ею самою, из деревни, где есть корова, похожая на черно-белый лежащий в сарайчике дирижабль. Дышит она громко, а у ее теленка — розовые, нарядные ножки под тонким хвостом. А он дышит неслышно.

— Скоро пойдет клубника, и малина, и яблоки. Спи, кроха.

Утро здесь начинается много раньше, чем кажется маме, вовсе не в девять часов. Утро здесь начинается с кукушки, с кукушки прямо в растворенном окне, а потом уже на улице. С живой, не из часов на кухне.

Это только остальные эти птицы, дневные и вечерние, кукуют равнодушно. «Гадают». Утренняя кукует вопросительно, нежно, подзывая. И бесконечно.

Может, так, конечно, кажется. Тогда то, что кажется, опять лучше, чем то, что есть... А кажется так, наверное, потому, что каждый ее двоянный годок, это детски простое, ясное ку-ку, многожды отражается в мокром, гулком, звенящем лесу, в листве, в травах, отскакивает от тропинок и стволов, повторяется всеми лужами, колодцами, прудами, и рекой, и даже бочкой под водостоком, и даже рукомойником... плоский камень по коже воды: ...ку-ку-ку-ку!

Ведь даже их некрашенный забор утром похож на растянутые мехи аккордеона!

Утром все звенит, а все равно кажется, что страшно тихо и вздрагивает. На листьях смородины, крыжовника и яблонь в дымку высыхает роса. Цветы флоксы — как мама: вечером от них глубоко и темно и душно пахнет духами, а утром запах так тонок и ломок, сбивчив как-то, так летуч, и надо уткнуться в самую гущу, как маме за ухо, чтобы услышать, чтобы еще застать его... Теперь с каждым часом цветы в саду будут пахнуть все меньше, все слабее и будто бы побледнеют слегка — как после бессонной ночи.

На сарайчике с утра ликуют две птички. Это трясогузки. Где-то здесь у них, наверное, гнездо с птенцами. Когда раздается прощальное утреннее ку-ку, оно отражается и в их сморгнувших круглых глазках. Целыми днями за парой следит ворона, неподвижная, как чуело, зоркая, как сокол. Но птички вдвоем никуда от гнезда не улетают, поэтому ворона к вечеру делает пару кругов над полем, чтобы размяться. И опять возвращается — следить. Длинные, линейные хвосты трясогузок быстро-быстро строчат вверх-вниз, будто иголка в швейной машинке. Когда черно-белая яркая трясогузка замирает на черной садовой дорожке, кажется, что она сфотографирована.

А ворона сидит.

По утру немного нагретому перильцу крыльца ползет бровь с густыми ресницами. Такую гусеницу он уже знает — из них потом вылетают бабочки с оранжевыми крыльями, полосатыми с изнанки.

После завтрака (не лишая мать радости будить его — ребенок, почему-то понимая, как ей именно это важно, — по будильнику у ее изголовья возвращается в свою кровать) он свободен и может пойти на просеку, за дачки.

— В лес нельзя! Посмотри на меня, слышишь? — Мама смотрит прямо в зрачки, так смотреть нельзя, больно глазам, но он тоже смотрит ей в глаза: конечно, в лес он не пойдет, но лес — это когда из него не видно просвета, просеки. А так далеко он и сам никогда не заходит.

— Да, ма.

Такой зной, что если лечь животом в траву, то все двоятся, и троется, и дрожит. Как мираж или переводная картинка, когда уже набухла, но еще не сведена пленочка сверху глянцевого изображения. Никаких звуков, кроме, может, гуда леса рядом. Травы не пахнет, и цветы, и даже вонючая яма с лужей на дне — вот какая жара.

Спасение одно — лес.

Штапельный подол великоватого платья намокнет сразу: в полдень вступить в старый лес — все равно что войти в воду. Изумрудная рыбка в Мраморном море плыву над ярким светящимся илом с многоточиями ландыша покусываю пальцами высокие водоросли папоротника ныряю сквозь на желтый свет купавки но от возгорженного вдоха ее звонкого запаха цветок осыпается вмиг и мохнатая сердцевина его молчаливой пчелой замирает на шпажке прямого стебля я не

хотела нет вот фиалка она альбинос желтая сиреневая пыльца смыта как акварель водой сыростью леса все деревья в ярких гольфах это мхи... я не боюсь лягушек не боюсь боюсь только больших или еще жаб они так дышат через силу через раздутое горло выскакивает сердце жалко жаб ой надо выплыть на берег я заплываю слишком далеко...

Просека — поле куриной слепоты. От глянцево-желтизны становится весело и действительно слепо. Собранный в Мраморном лесу букет, шершавый, колкий, кисленько пахнет из сжатой ладони не цветами. Может быть, щавелем? Еще нет земляники, только цветы от нее, один — тоже в горлышке ладони, и мышиный горошек, и львиный зев, и клевер, и гвоздика, тонкие штрихи ее цветов розовы, как мои губы. Трава красива не меньше, чем соцветие, поэтому...

— Это тебе.

— Ты была в лесу, — говорит мама, всем лицом уткнувшись в пушистую улику. — Да?

— Немного.

Идем меж дачек, прелесть дальних прогулок проявляется лишь когда чуть приживешься здесь, не ранее. Мимо нас на разновеликих велосипедах рябью по воде прокатывается вечерняя кавалькада: легкий монетный дребезг колес, псовое дыхание; за ними следуют, как бы вдгонку, запахи домов, киселей, оладьев с джемом — запахи полдников любимых семей.

А у предкрайней от просеки дачки, в неглубокой, и так уже цветами занятой придорожной канавке, животами по склону, таятся двое мальчишек. Наверное, у них нет вѣлика.

— Н-ну?! — кричит, окликая невидимого, один, деревяшка за автомат уже прижата к груди с колотящимся сердцем. — Ннужж! — Ему так охота, плююся и захлебываясь, открыл стрельбу, что тонкая нитка слюны уже ползет к шее.

Второй шпрот приподнимается на локтях:

— Кс-кс-кс! — Неясный зов ловит и меня.

И сновидением из-за ягодных кустов, чем-то когда-то уже виденным, неким личностным воспоминанием, выступает длинная девочка с ржавой консервной банкой в руке с белыми квадратными ногтями. Глубокое, такое взрослое каре с острыми углами на чуть впалых щеках, легкая челка слилась с ресницами, гибкие ноги из-под великоватого простого платья.

— У них четыре танка, — скучным голосом говорит она.

— Д-дура! — брызжет первый солдатик. — Пароль!!

Девочка молчит, она забыла их пароль.

— Ты кто? Кто ты? — подсказывает второй шепотом и падает лицом в траву.

— Я — тритон! — дрожа, радостно выдыхает девочка, и завороченно, влюбленно, без отрыва смотрит в свою консервную банку, глаза ее плывут за ним. — Я тритон...

— Измена! — плюется в восторге первый. — Пароль не тот! Уходим!

Он соскальзывает на донце канавы и пузом, попластунски катится по зелени, задрал руку с ружьем высоко над голостриженной к лету головой. Наверное, переплывает реку.

Второй с сожалением собирается за ним, его нелепые движения ценны и неохотны, глаза полны тоски и готовности к скуке, ему так не хочется отсюда.

— Ксения! «Это я, Анка!» — обреченно, как можно тише шепотом подсказывает он ей нужный пароль. — Ксения, «это я, Анка»!

Он смотрит на девочку так же, как и я, и так же, как она — на своего тритона.

— Я тритон, — улыбается ему девочка. — А не

Анка, а ты — Алёшик Одинцов, а не Петька.

Он уползает от нее, зацепив подбородок за плечо. Интересно, какой он ее видит?

Однажды я видела, как она в розовой панаме с опавшими полями, пританцовывая, шла на станцию. На плече висела сумка, гольфы тельного цвета сливались с ногами, и только коричневая кайма обвивала подколени, будто тесьмой подвязали саженцы. Она мелко пришагивала по деревенской щебенке, будто шлепала босичком по раскаленной гальке у самого края соленой воды.

Мы с тобой идем дальше.

Так долго и так вплотную к земле, белой земле дороги, летит черная, узкая, как перо, ласточка, что кажется — ее тянут за нитку, разогнавшись на гоночном велосипеде невидимо далеко впереди, вроде как малышовую игрушку на колесиках.

Свою пронзенность девочкой я понимаю так: родно-ликая. ...А может, просто я тоже — тритон?..

Или нет, ты — ты тритон! Пока еще крохотный невидимый головастик, уже властный и ласковый, ты, маленький хрупкий стручок, без единого слова заставивший меня, свою ржавую консервную банку, оставить город и жить здесь, и жить так, среди семян и завязей плодов, среди птенцов и гнезд, среди зацветающей воды, безлудья в полдень, среди телочек-первогодок и рыжих кормящих сук. Посреди того мира, где так хорошо появиться на Свет.

1989 г.

ПРИГЛАШЕНИЕ К «ПРИЗРАКУ»

Известный в нашей стране и за рубежом фотограф Гунар Бинде из Риги, имеющий звание ЕФИАП (Международный мастер фотоискусства) наконец решил заняться и выставочной деятельностью. Являясь давнишним читателем и почитателем «Юности», он захотел обратиться ко всем, кто долгие годы является подписчиком журнала и может не заниматься фотографией, но иметь в своем архиве те снимки, которые должны заинтересовать его как организатора фотовыставки «Правда о коммунизме».

— У «Юности» давняя традиция, она всегда шла немножко впереди других журналов, имея очень критический взгляд на жизнь, — сказал в беседе с нашим корреспондентом Гунар Бинде. — В ней печатались те писатели, которые потом активно способствовали перестройке нашей жизни. И читатели «Юности», думаю тоже в этом участвовали. Поэтому и к ним, и к молодым фотографам я обращаюсь с просьбой присылать в редакцию такие снимки, которые были сделаны в разные годы нашей жизни, но не могли быть опубликованы до сего времени. Я хочу воспроизвести средствами фотографии картину борьбы за «светлое будущее» и подвести итоговую черту «Призраку коммунизма», от Октябрьского переворота до краха ГКЧП.

Формат и количество фотографий не ограничиваются, это могут быть снимки из домашнего альбома и сделанные для прессы. Принятые фотографии будут защищены договором с автором. Первый тур отбора — до конца апреля.

Я очень надеюсь на участие в создании этой выставки читателей «Юности». Адрес: Редакция, или РИГА, 226011, аб.я. 82.

Выбор, КОТОРЫЙ ОКРЫЛЯЕТ



Российское инвестиционное акционерное общество
РИНАКО
предлагает

заинтересованным организациям и предприятиям, владеющим свободным производственным и интеллектуальным потенциалом:

- совместную реализацию крупномасштабных инвестиционных проектов

- услуги по приватизации государственных и муниципальных предприятий посредством создания акционерных обществ открытого типа

РИНАКО рассматривает предложения по созданию региональных представительств на территории России и за ее пределами.

Тел.: (095) 936-07-66, 936-75-46, 936-75-47, 936-75-49

Факс: (095) 936-75-45



РИНАКО



Людмила
ЛИНЬКОВА

Во времена завоеваний

Во времена завоеваний
Я ожидала мир в наследство,
Попутчиков бросала слабых.
Вернешься цел и невредим.
А по ночам молила: Боже,
Сберечь бы душу и ребенка,
Который все еще возможен,
Он будет Император.
В день,
Когда я встретила с тобою,
Я ощутила близость смерти.
Мир завоеван безраздельно
И куклой брошенной лежит,
Непоправимое случилось,
Нет времени завоеваний.
Вот перстень твой, моя покорность,
Военная моя любовь.

☆☆☆

Цирк на твоё лицо,
Льва огневое кольцо,
Лошадь огненная: цок...
Это — кентавр
Огня с медью,
Его час полдень,
Зенит дня,
Это разрез глаз.
Грива — огонь, гарь.
Полдень, июль, царь.
Марево высоты...
Я говорю: ты!

☆☆☆

Ты будешь жить, о смерти вспоминая,
Потом умрешь и жизнь вообразишь,
Сокрытую за облаком Синяя,
Но не войдешь туда, где ты стоишь,

И каравану злых сиротских песен
Тебе не быть слепым поводырем,
Тем более ты женщина, прелестен
Тебе мираж, ты выберешь по трем
Идти из трех возможных направлений,
Твой сон, где смерти жизнь и жизни смерть,
Единственен, не подымись с коленей,
Не пой, не научи и не ответь.

Фото

Твой беглый ум мне надоел давно,
Я ничего тебе не танцевала,
Где мы снялись — на фоне перевала
Лежат снега
И выглядят смешно.

Мы есть, но в переводе на фарси,
И здесь с таких, как есть, снимают кожу,
О, Боже, ведь и я была моложе,
Меня никто об этом не просил.

☆☆☆

Путнику долог день
Ночь его тягостна
Солнце вошло в зенит
Я тебе говорю:
Пыль на твоих плечах
Дороже моих одежд
Сон твой вмещает смысл
Тяжких моих трудов

Все во мне от земли
Мало во мне любви
За откровение
Я заплачу войной.

Солнце катилось ниц
Тенью у ног моих
Ты заземляешься
Переступи иди
Тех кому долог день
Освобождает ночь
А не сумели жить
Смерти не выпросишь.

☆☆☆

Любой вчерашний день
Напоминает сон,
Свободный от меня
И от воспоминаний.
Один вчерашний сон
Напоминает Вас,
Высокий синий дом,
И музыку над нами.
Там музыка, под ней
И Вы, и с Вами я,
Ваш дом меня хранит,
Храни его Всевышний,
Там, высоко во сне
Я покидаю Вас,
Ваш дом, потом себя.
И слушаю, и слышу.

☆☆☆

Я была там недолго,
но я там была,
надо мной колесила
триада числа,
на невзгодных солдатах
латались миры,
на холодных этапах
случались пиры,
я дошла с ними до
середины пути,
мне осталось ее
ровно столько пройти,
ни оглядки, ни окрика,
ни островка,
ни дворца путевого,
ни вслед ветерка,
налегке,
ни ума, ни сумы,
ни к чему,
я с собою себя не зову,
не возьму,
а свернется пространство
изнанкой в ковер,
и в подарок Антонию
мертвый костер,
не согревший,
не спасший, угасший,
зола,
ни от нас, ни от них
ни имен, ни числа.
Ровно столько...
четырежды дольше,
сто крат
безнадежней,
надолго и задолго,
к стенам —
за которыми —
путь?..
покаянный, нетленный?!.
проторенный, единственный,
пройденный
в сад?

☆☆☆

О, эпоха, одичавшая эпоха!
Мы считали: лучший цвет на свете — красный,
свято верили, что свастика — сверхлохо,
а звезда пятиконечная — прекрасно!
Машки — лапушки, и так себе — Мадонны,
взмыть — «Рябинушка», а в роке — падать низко...
Я стою под наглой вывеской «Макдоналдс» —
патриотка, обормочка, коммунистка...
и не знаю: Герцен, Ельцин, с маком, с перцем,
и без курева, и с жизнью по талонам...
Что мне делать, если что-то делать — с сердцем?
Что нам делать, озверевшим миллионам?!
Может, взять равнение строгое на Бога,
но боюсь, что Бога тоже опоганим.
Ах, эпоха, безнадежная эпоха!
Если выживем — по-новой все сварганим!

☆☆☆

Здесь, где живем — как попало,
и все ж — как семья,
сердце подстроило ритм под бурлящую воду,
и пропадает желание — глядеть на себя,
и возникает желание — глядеть на природу.
Где я затеряна? В Юте, в местечке Санданс.
Смотрит на нас мирозданья высокое око.
Если Всевышний мне дал это,
что там ни даст —
после, —
довольно и этой красоты и урока.
Мир, где была я,
сейчас неразборчив и пуст.
Я не жалею,
а, может быть, радуюсь даже.
Вижу себя —
как травинку,
как дерево,
куст...
Мне хорошо,
мне прекрасно —
быть частью пейзажа!

☆☆☆

Отчего-то по жизни мечемся,
отчего-то друг другу врем,
от чего-то все время лечимся,
от чего-то ведь и помрем...
Что за птица такая странная —
это самое «отчего»?
Запущу в нее слово бранное,
поражу ее существо!
И уже не мечусь, не дергаюсь,
не рыдаю не без причин,
и ни в храм не хожу, ни к доктору,
и живу на земле удобно я:
без бутылок и без мужчин.
Ветер гладит рукой прохладною
безмятежнейшее чело...
Стопроцентное и бесплатное
мое счастье... Да будь неладно оно!
Отчего?

Отчего?

Отчего?!

☆☆☆

Лучше не знать безысходного горя,
молча терпя,
лучше зависеть от леса, от поля,
чем от тебя.
Лучше — от кисти, пера или плуга,
от топора,
чем от невинно лукавого друга,
чья суть — игра.
Лучше — от вымывших без страха и лени
дерзких затей,
чем от пустой, утомительной сплетни
в мире потерь.
Лучше — от тех, кто тебя на пороге

встретит, любя,
лучше — от пахнущей дымом дороги,
чем от тебя.
Я все на свете планки завышу,
сборы трубя!
Только зачем он мне, мир, где завишу
не от тебя?..

☆☆☆

Прикасаюсь к новой тайне я,
не отпугаться уже мне.
Снова больше ожидания,
чем решений и свершений.
Было, сыпало злое, ложное,
оттерзало, отломало.
Новая лыжня проложена.
Разве много? Разве мало?..
Это все опять не сбудется,
все забудется однажды,
лишь в который раз пробудится
злой неутолимой жажды.
Но пока еще, пока еще
неотступно манят бездны,
опьяняюще, покалывающе
в сердце бьется пульс небесный.
И живет во мне весна еще,
льдов ломающийся скрежет...
И — сквозь куртку — пальцы знающие
на плече моем воскресшем.

☆☆☆

Мальчик, детка, несмышлениш,
даже и не сын, а внук, —
в чем ты тонешь,
что ты стонешь
жаждой глаз, горячкой рук?
Подрастающий детеныш, —
первый выбор прост и прям,
и тебя пленяет то лишь,
в чем неправды — ни на грамм!
Что отзывчиво и живо
в темном лоне бытия...
Значит, тоже не фальшива
плоть моя и суть моя.
Что вселенская разлука!
Чертит поцелуй ночной
облик счастья, образ духа
над тобой и надо мной.
И в тепле, обретшем имя,
равнозначное судьбе,
есть чему сказать: «Во имя!» —
мне, надежде и тебе.

Тоска по Женьке

В который раз тоскою я томима.
Опять придет, опять уйдет весна.
Она всю жизнь проскальзывает мимо —
меняются лишь только имена.

Опять, когда б подумать хорошенько,
не стоит нарываться на скандал...
Он молод, и к тому же этот Женька
мне никакого повода не дал!

Не знаю я, прекрасно или скверно,
достойно похвалы или смешно, —
и пустякам хранить умею верность.
Я только раз ходила с ним в кино!

Видали вы: какое достижение!
В кинотеатр, а даже не в кабак...
Но всех других задвинул этот Женька
с рассеянной улыбкой на губах.

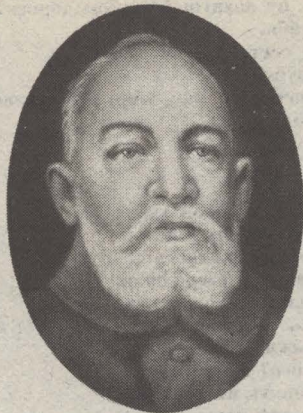
А чем и заценил меня он? Ребус.
Ни холодно мне с ним, ни горячо.
Лишь вот когда влезали мы в троллейбус,
ожег рукой, как лазером, плечо.

Быть может, у сюжета нет движения,
и жизнь от новой дури упадет.
Но я пишу стихи: «Тоска по Женьке»,
и что-то там под ложечкой сосет.

Римма
КАЗАКОВА



Михаил
ВОЛКОНСКИЙ



МАЛЬТИЙСКАЯ ЦЕПЬ

Исторический роман
в трех частях

Рисунки Павла Бунина

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Первый приступ

Солнце с утра поднялось зловеще-багровым, словно докрасна накалившееся ядро, шаром, предвещающая непогоду. Попутный ветер, задувший было сначала, засветил и с каждым порывом становился все упорнее, настойчивее и словно нетерпеливее... Огромные, как горы, валы высоко поднимали свой белый гребень, вырастая и рушась, как прозрачные, бурливые, клокочущие живые стены. Они распадались и падали с шумящим, стонущим гулом. Снасти скрипели, дерево трещало. Резкий свист ветра не давал отдыха уху. Погода разыгрывалась.

— Отдать бизань-гитовы! — громким, молодым, радостным голосом кричал в рупор Литта, чувствуя уже в себе тот восторг, который охватывает его, когда начиналось или могло еще начаться настоящее дело, настоящая борьба с любимой, грозной и давно привычною ему стихией. — Тя-яни бизань-шкот...

— Эчеленца* хочет привести к ветру? — спросил его старый штурман, приближаясь.

Литта, опустив рупор и придерживаясь и упираясь ногами в скользкую, облитую водою палубу, следил за бросившимися исполнять его приказание матросами.

— Эчеленца... — начал было опять штурман.

На этот раз Литта оглянулся на него и удивленно посмотрел, как бы не понимая, зачем был сделан этот лишний вопрос: для штурмана должно было быть ясно и без того, что значит, когда ставят бизань.

II. Буря

Старик штурман, осмотрев помпы и узнав, что вода в трюме прибывает, бросился к борту и с нахмуренным, сосредоточенным лицом, держась правою рукою за вант, послал матроса за «освященными хлебами».

Матрос, уцелевший под натиском волны, явился с тремя маленькими хлебцами, бережно прижимая их к груди, чтобы не растерять. Штурман схватил один из них и, усиленно шевеля губами и шепча какие-то слова, перекинул его за борт, потом схватил другой, третий и тоже выкинул их.

— Что там делает Энцио? Скажите ему, что рано еще — дело вовсе не дошло до этого! — закричал Литта, увидев, что штурман, по старинному поверью и обычаю, бросает в минуту опасности за борт хлебы, нарочно освященные и приготовленные для этого случая.

* Ваше сиятельство.

Сам Литта в увлечении борьбы, требовавший одновременно и телесной силы, и крайнего умственного напряжения, весь был охвачен этою борьбою и сосредоточенно следил за тем, что нужно было делать, что приказать и где и кто ждал его приказания или ободрения.

— Не бойся, держись! — беспрестанно раздавался его звучный голос, и при звуках его матросы работали дружно, смело и споро.

Волны, не унимаясь, громоздясь друг на друга, продолжали швырять несчастный «Пелегрино». Однако их бешеные остервенелые размахи и усилия казались напрасными — Литта твердо и уверенно вел свой корвет и каждый раз вовремя предупреждал опасность, и «Пелегрино» снова выплывал и качался как бы назло ожесточенному морю.

И вдруг, точно и на этот раз признав свое бессилие и выражая свой гнев безвредною, но страшною бранью, буря сверкнула молнией. За ней раздался трескучий громовой удар, раскатившийся по бурному пространству.

Литта поднял голову и улыбнулся, точно поняв, что непогода была теперь отбой.

III. Новая победа

Уже поздним вечером, когда море, совсем утихнув, ласково плескало, как будто не оно целый день бурлило сегодня, и Литта убедился, что всякая опасность исчезла, он разбудил старика Энцио и, сменив людей, ушел в свою каюту. Он вымылся, переоделся, натер целительною мазью свои исцарапанные, распухшие руки и лег на койку, завернувшись легким одеялом.

Всего лет восемь тому назад он в 1780 году, пятнадцатилетним подростком по годам, но по развитию окрепшим уже юношей, поступил в число рыцарей Мальтийского ордена, принес с собою значительное имение в Северной Италии. С тех пор началась его служба ордену, и мало-помалу, несмотря на свою молодость, он достиг звания командира корвета.

Мальтийский орден, окончив свою долголетнюю давнишнюю войну с Оттоманскою Портою, не слагал оружия и посылал свои суда на крейсерство по Средиземному морю для поимки турецких пиратов, беспощадно грабивших христианские суда. Одним из таких крейсеров был корвет «Пелегрино», которым командовал граф Литта.

...Энцио долго стоял, скрестив руки на груди, и торжествующе улыбался, чувствуя, как скользит ходкий «Пелегрино». Он вспоминал подробности вчерашнего бурного дня и видел себя главным действующим лицом его, твердо уверенный, что буря миновала благополучно благодаря выброшенным им за борт хлебам.



С бака в это время неожиданно раздался крик и тотчас замолк. Энцио, вздрогнув, поднял голову. Несколько матросов, стоявших на палубе, замерли, смотря все в одну сторону. Прямо, сквозь быстро редевший туман, виднелся крутой, почти отвесный каменный берег.

Литта вбежал на палубу как раз в эту минуту. «Пелегрино» неся беззаботно, вольно, как ночная бабочка на огонь, — на верную гибель, красиво распустив паруса и быстро сокращая расстояние, оставшееся до каменного берега, о который суждено ему было разбиться с налета.

— Долой паруса!

Люди дрогнули. Как молния, промелькнуло у Литты впервые в жизни опасение, что они, оробев, не услышат его приказаний; но привычка взяла свое: почуяв командира, матросы дрогнули и бросились к мачтам.

— Лево руля! — скомандовал Литта, и «Пелегрино», сразу лишенный парусов, но разогнанный прежним своим быстрым ходом и сохраняя его еще, послушно повернулся от берега.

Корвет был спасен, и Литта стал лавировать, отдавая приказания и забыв об Энцио, который сейчас же исчез в своей каюте.

IV. В Неаполе

Литта благополучно довел свой корвет до голубого тихого Неаполитанского залива, и «Пелегрино» вошел в гавань, распустив свою красную мальтийскую хоругвь с большим белым восьмиконечным крестом.

Исполнив береговые формальности, Литта спустился на шлюпку в город. Более месяца провел он в море, ни разу не сходя на берег; впрочем, последний и теперь не особенно тянул его к себе, но нужны были кое-какие закупки для корвета: необходимо было освежить запасы, побывать у банкира и узнать, нет ли каких-нибудь писем с Мальты.

Оказалось, однако, что время было слишком позднее — все было заперто, и Литта никуда не попал...

Домой, на корвет, казалось, рано возвращаться — там Энцио опять станет надоедать с чем-нибудь, — и, подумав про Энцио, Литта вспомнил место, где находился теперь.

Пред ним был низенький домик с такою же плоскою, как и остальные, крышею и так же выкрашенный белой краскою. Окна выходили не на улицу, а на противоположную сторону, должно быть, в сад. С улицы были только толстая, обитая железом, дверь с каменной приступочкой и небольшое решетчатое квадратное оконце.

Литта устал; ему хотелось пить.

Штурман как-то случайно, в одну из прежних их остановок в Неаполе, говорил ему, что здесь живет старик француз, Лагардин-Нике, давно приобретший некоторую известность своим таинственным даром сибилических предсказаний людям, совершенно ему незнакомым. Впрочем, и кроме Энцио многие знали Лагардина-Нике и рассказывали про него интересные вещи.

Литта узнал домик француза.

«Во всяком случае, он даст мне кружку воды», — подумал он и, взявшись за привешенный на цепочке к двери молоток, ударил им по вделанному в нее железному кругу.

Сухой, резкий стук заставил дверь слегка дрогнуть. Какая-то птица, испуганно чирикнув, слетела с возвышавшегося за каменным забором темного кипариса, и все опять смолкло.

Литта подождал. Никто не шел отворять. Литта, прислушиваясь, постоял еще некоторое время с поднятым молотком. Ему показалось, что по ту сторону двери тоже стоит кто-то и прислушивается. Литта ударил еще два раза. Большой железный засов с лязгом отодвинулся, потом стукнул замок, и дверь, за скрипев петлями, слегка приотворилась.

V. Лагардин-Нике

Старик ввел Литту по двум ступенькам прохладных, полутемных узких — так что два человека не могли пройти рядом — сеней в небольшую сводчатую комнату, всю заставленную кругом книгами на деревянных полках. Тут были также склянки с разноцветными жидкостями, маленькие, пузатые и большие, длинные, астрологическая сфера, свитки пергамента, глиняные горшки и несколько чучел животных.

Литта, как рыцарь Мальтийского ордена, знакомый с оккультными науками, с первого же взгляда узнал эту нечуждую ему обстановку и большинство книг библиотеки Нике. Большой том Альберта Великого сейчас же бросился ему в глаза. Единственно уцелевшее творение Тота-Трисмегиста лежало на почетном месте. Платон, Пифагор, Аполлоний Тианский и целый ряд новейших оккультистов были здесь налицо. Литта увидел, что он имеет дело с человеком, которому действительно могло быть известно нечто.

Нике молча указал ему на кресло у стола и сам сел против него, терпеливо сложив руки и смотря сквозь свои большие очки прямо в лицо своему гостю.

— Говорят, вы способны давать сибилические ответы? — начал Литта по-французски, выдавая, однако, произношением свое южное происхождение.

— Мало ли что говорят! — ответил старик, пожав слегка плечами и улыбнувшись одними только губами, так что его лицо осталось по-прежнему спокойным.

— Ну, так вот я пришел спросить у вас...

«Я это знаю», — сказал взглядом Нике и, продолжая улыбаться одними губами, наклонился над ящиком в столе, достал оттуда пачку квадратных, из чистого картона, карточек и подал их Литте.

— Напишите ваш вопрос на латинском языке, если можете, — пояснил он, — или на французском, но только по одной букве в каждом квадрате. Если не хватит карточек, я дам еще.

«Что же мне ему написать?» — невольно спросил себя Литта, взяв пачку беленьких квадратиков, и, подумав, решил задать самый общий вопрос — что ему вообще предстоит впереди?

Нике отодвинул свое кресло, встал и, закрыв ящик, отошел к окну.

Литта обмакнул перо в чернильницу и начал ставить на каждый билетик по букве: q, u, i, d, m, a...

Он написал таким образом целую фразу:

«Quid manet Julium Pompeium Litta?»

— Готово? — спросил Нике от окна.

— Да!

Написав буквы на билетиках, Литта стал тасовать их, чтобы изменить порядок букв.

Старик опять сел на свое место и, опираясь пальцами повернутой руки на стол, ждал, наклонив голову и уставившись глазами поверх своих очков на своего гостя.

Литта, стасовав билетики, передал их ему.

— На каком языке вопрос? — спросил Нике.

— На латинском.

Нике кивнул головой и, быстро перетасовав, видимо, привычным движением еще раз билетики, начал раскладывать их в большой круг на столе. Буквы были совсем перемешаны. Два i легли рядом, потом m, потом l и т. д. в совершенно произвольном порядке. Обложив круг, Нике взглянул на него, потом точно мельком вскинул взор снова на Литту и, взглянув еще раз на буквы, стал поспешно, быстро, как бы бессознательно, выбирать их, складывая билетики на ладонь левой руки и прижимая их пальцами. Так он очень скоро собрал почти все карточки. На столе осталось только пять. На них были буквы: q, d, m, p, m. Нике взял пачку отобранных им букв и стал раскладывать опять их на стол, но в ряд, и в том порядке, в котором отобрал их.

Первые два слова вышли: «Multi Limi».

— Multi Limi, — прочел вслух Литта. — Это что же: «много грязи»? — кажется, так? — спросил он.

— Да, много всяких неприятностей, гадостей, — подтвердил Нике, продолжая раскладывать.

«Ну, это — довольно расплывчатый ответ», — подумал Литта, следя за тем, как слагаются остальные буквы.

Из них вышло еще два слова: «nuptiae volutivae».

Литта, прочтя эти слова, вдруг откинулся на спинку кресла и рассмеялся, взявшись рукою за грудь. Это предсказание было неудачно до смешного.

— Nuptiae volutivae — «желанный брак»?! — повторил он сквозь смех, — ну, этого быть не может, этому трудно поверить.

Нике строго взглянул на него и показал на оставшиеся в кругу пять букв.

— Тут еще остаются пять так называемых «немых» букв: q, d, m, p, m, — сказал он, еще раз останавливая взглядом смех Литты, и продолжал: — они значат: «Queretur dux: minister primus Malthae», то есть: «Понадобился бы вождь: первый министр Мальты».

Литта перестал смеяться.

— Позвольте! — спросил он: — Кто же это будет первым министром Мальты?

— Тот, о ком вы задали свой вопрос... я не знаю, — ответил Нике равнодушно. — Когда потребуется вождь, он будет избран в трудную минуту министром Мальты.

— Позвольте! Если вы знаете, что я принадлежу к Мальтийскому ордену, — иначе как же я могу быть министром? — то почему же вы предсказываете мне «желанный брак»? Ведь это — два несовместимых обстоятельства.

— Я ничего не знаю, — медленно, качая головою, и тихо проговорил старик, — я не знаю даже, о ком вы спрашивали и в чем состоял ваш вопрос... Я говорю, что вышло...

— Я спрашивал про себя, — перебил его Литта. — Правда, я состою рыцарем ордена Мальты, следовательно, ваше лестное предсказание о моем повышении возможно; но вместе с тем, как член духовного ордена, я должен был дать обет безбрачия и дал его с глубоким убеждением, которое едва ли изменю... Значит, брак, да еще «желанный», едва ли возможен для меня. Положим, настанет время, что я изменюсь... допустим это. Хорошо. Но обстоятельства ведь не изменишь... из ордена выйти нельзя; а если бы я каким-нибудь путем и вышел даже из него, что невозможно, то как же я буду министром?... Согласитесь, что одно с другим совсем не вяжется.

И Литта, уверенный, что доказал старику французу всю его несостоятельность и нелепость его слов, встал со своего места. Он убедился, что Нике вовсе не был таким человеком, каким показался ему сначала, и что он годен разве только для суеверного простака Энцио, который может верить ему.

Литта вынул несколько золотых и бросил их на стол.

Востроносое лицо Нике приняло совсем птичье выражение. Круглые очки приподнялись несколько раз.

— Я у вас не просил этого! — показал он на золотые. — Уберите их!

Литта несколько растерянно посмотрел на него.

— Да, да, уберите их! — подтвердил Нике кивком головы.

«Комедия! Хочет поразить меня бескорыстием», — решил Литта и, собрав со стола деньги, снова спрятал их в карман.

— Вот видите ли, молодой друг мой, вы еще очень скоры и горячи, но жизнь научит вас быть осмотрительней, — проговорил Нике и опять кивнул головою, как бы прощаясь с Литтой.

Он по-прежнему казался спокоен и величав.

Литта молча поклонился ему и вышел на улицу.

VI. На Вилла-Реале

— Мельцони! Мельцони! Вы знаете, Джулио Литта появился в Неаполе, — сказал молодой дук* ди Мирамаре, догоняя приятеля и останавливая его за локоть.

— Неужели? — обрадовался Мельцони. — Когда вы его видели?

— Сейчас, мельком, по Главной аллее. Ступайте в казино, я приведу его туда! — И придворный дук ди Мирамаре быстро повернулся на каблуках, а затем скорыми шажками, покачиваясь и развевая фалды своего шелкового кафтана, побежал на Главную аллею отыскивать Литту.

Мельцони и гулявшие с ним, такие же, как он и дук, разодетые, блестящие молодые люди, весело направились в казино, довольные приездом мальтийского моряка, которого все они очень любили.

Граф Литта принадлежал к богатой итальянской аристократической фамилии Милана и был не только

* Герцог.

не чужой в том обществе, к которому принадлежали эти молодые люди, но, напротив, многие из них завидовали ему и подражали.

У казино сейчас же собралась целая толпа вокруг Мельцони, занявшего один из столиков.

Литта подошел к ним вместе с ди Мирамаре, который, несмотря на жару и на толпу, отыскал-таки графа и привел его, улыбающийся и усталый, но довольный тем, что его поиски и хлопоты не пропали даром.

На Литте были теперь богатый кафтан, красный, французского покроя, шляпа с белым пером; большой белый мальтийский крест висел у него на груди на широкой черной ленте. Его загорелое лицо и сильное, крепкое, развитое на море стройное телосложение заметно отличались от худеньких, тощих фигур окружавших его изнеженных баричей, и, хотя видимо было, что он чувствовал себя гораздо больше «дома» в своем простом платье моряка, все-таки кафтан его сидел гладко и красиво, и он носил его с тою уверенностью и простотой, которые достаются лишь долгим опытом светского человека.

— Граф, здравствуйте!.. Джулио, откуда вы? — слышалось со всех сторон навстречу Литте, который пожимал руки, кланялся и улыбался при виде этого общего внимания к его появлению.

Дук ди Мирамаре представлял ему тех, с кем он еще не был знаком.

— Ну, рассказывай, — начал Мельцони, — правда, в гавани говорят — вот мне сейчас Беппо сказал, — кивнул он на скромно сидевшего у стола генуэзца, — что твой «Пелегрино» чуть не потерпел крушение... про тебя теперь просто чудеса носятся.

Литта поморщился и, дернув плечами, положил ногу на ногу, слегка отвернувшись в сторону. Он терпеть не мог говорить про себя.

— Кто это? — спросил он, показав на одну из проходивших мимо по дорожке разодетых дам.

На ней было белое платье на фижмах с крупными букетами розанов, и ее напудренные волосы особенно красиво оттеняли нежность южного лица и, как смоль, черные брови.

Дук ди Мирамаре сейчас же объяснил, кто такая была дама и кто был у ней кавалер-сервенте.

— Нет, это что! — проговорил Мельцони и обратился к Литте: — Но вот я тебе скажу, красавица...

— Послушай, что же ты ему о красавицах говоришь?.. Разве это его дело? — перебил один из молодых людей, глазами показывая на крест, висевший на груди Литты.

Ему, собственно, очень хотелось, чтобы граф рассказал что-нибудь из своих приключений на море.

— Да нужно же его поставить в курс всех наших новостей, — продолжал Мельцони и снова обратился к Литте: — В Неаполе появилась северная красавица, такая, каких мы не знали еще до сих пор... как ангел Божий... Данте забыл бы свою Беатриче, если бы увидел...

— Ну, однако... — хотел было возразить один из, видимо, ярых поклонников поэта, мечтательный юноша, но Мельцони не дал договорить ему.

— Что-о? — почти крикнул он на мечтательного юношу. — По-вашему, синьора Скабронска не может поспорить с Беатриче?.. Ну, я не знаю, но лучшего создания не было еще на земле...

— Не «Скабронска», а «Skavronskaja»*, — поправил его с другого конца стола сидевший там гвардеец, — я выучил это имя.

Литта рассеянно слушал, сидя по-прежнему нога на ногу и смотря в даль ослепительно игравшего на солнце залива.

— Господи! — проговорил он. — Удивительно знакомое имя!.. Кто она?

— Жена русского посланника, приехавшего недавно в Неаполь.

— Скавронский! — вспомнил Литта. — Не тот ли, что был в Милане?

— Да, он лет шесть тому назад ездил и чудил по Италии, — пояснил знавший, кажется, все и всех дук ди Мирамаре.

— С оперой? — переспросил Литта.

— Да, страстный любитель музыки. В ней он, правда, ничего не понимает, но у него была страсть писать оперы и ставить их на театре. Что это было — ужас!

— Я помню, в Милане, — сказал Литта.

— Да что в Милане! Везде он огромные деньги тратил на постановку своих опер; актерам, театру и публике платил — всем. Богат он, как все русские, пожалуй, даже богаче многих из них... Но, представьте себе, до чего у него доходило! Он не только на сцене заставлял за деньги распевать свои произведения, но вся прислуга у него не иначе разговаривала с ним, как речитативом или ариеттами... входит, например, подеста* и докладывает...

И дук ди Мирамаре, войдя окончательно в роль, встал со своего места и на песке дорожки картинно изобразил в действии, как входил к Скавронскому подеста и пел ему, что расходов по дому было столько-то и столько-то еще предстоит; потом — как дворецкий докладывал ему веселой ариеттой, что «кушать подано и стол накрыт, накрыт, накры-ы-ыт».

VII. Гороскоп

Литта торопился покончить свои дела в Неаполе, не имея обыкновения долго засиживаться на одном месте.

Он добросовестно «отбыл повинность», то есть побывал три раза на Вилла-Реале, принял у себя на корвете неаполитанских гостей и узнал все новости, заграничные и местные. Из первых главный интерес представляли события во Франции, где как раз в это время происходила знаменитая история с «ожерельем королевы»**. Относительно вторых — вся суть сосредоточивалась на разговорах о новом русском посланнике и на его жене-красавице, которую он заперал.

Все это, впрочем, начинало надоедать Литте, а потому он настойчиво торопил работы на корвете, реже съезжал на берег и раньше возвращался оттуда, когда съезжал.

Был тихий вечер. Солнце, отливая по небу розовато-желтыми и золотыми красками, спускалось в бирюзовую даль моря, подернутую золотистым же отблеском, и бросало свои прощальные лучи на седластую гору Везувия, окрашивая своим телесно-розовым ласковым светом ослепительно белую днем ленту громоудящихся друг над другом домов раскинувшегося вдоль берега Неаполя. Литта долго смотрел на дивную панораму, облокотясь о борт неподвижно стоявшего «Пелегрино», и дышал этим легким, чудным воздухом.

* Управитель дома.

** Знаменитая авантюристка графиня де Ламот сообщила парижским ювелирам, что королева Мария-Антуанетта желает приобрести у них великолепное бриллиантовое ожерелье, изготовленное ими для Любарри, фаворитки Людовика XV. От имени королевы кардинал Роган получил это ожерелье, уплатив всего лишь незначительную часть денег за него. Когда наступил срок платежа за ожерелье, то оказалось, что ни де Ламот, ни Роган не были уполномочены на приобретение ожерелья и что оно попросту было выманено у ювелиров. Возник громкий, скандальный процесс (1785—1786 гг.), разоблачивший дерзкую аферу с ожерельем и запятнавший имя Марии-Антуанетты, так как все же не удалось с точностью установить, насколько была причастна ко всему этому несчастная французская королева.

* Скавронская.

Энцио, придя за приказаниями для следующего дня, помешал ему, и он ушел с ним в каюту. Энцио подробно требовал всему объяснений и пускался в длинные рассуждения... Совсем стемнело, когда наконец Литта отделался от надоедливого штурмана.

Он вынул огниво, высек огонь и зажег маленькую лампочку. Каюта осветилась.

Литта подошел к двери, запер ее, потом достал из кармана ключ и открыл им один из вделанных в стене каюты потайных ящиков, незаметно скрытых между досок. Перебрав несколько лежавших там свитков, он взял один из них, подошел к столу и, отодвинув лежавшие на нем карты и чертежи с выкладками и исчислениями, развернул свиток.

Там был изображен разделенный на двенадцать частей круг со знаками зодиака в каждой из них, знаками семи планет и римскими цифрами.

Этот свой гороскоп Литта составил уже давно и знал подробное его толкование, но он также давно не прикасался к нему и теперь хотел возобновить в своей памяти. Он разложил свой лист на столе и, подперев у висков голову обеими руками, стал вглядываться в таинственные знаки планет, вспоминая их значение.

Луна в Близнецах предвещала ему частые путешествия (это сбылось или сбывалось), хорошие способности умственные, но недостаток осторожности и увлечение, которое может повлечь за собой серьезные неприятности. Марс в девятом доме вместе с Юпитером ясно указывал, что он достигнет быстрого возвышения на поприще священного воина, и предостерегал от скрытых врагов, которыми явятся для него духовные лица. Чудесная XI аркана, помещенная в вершине гороскопа, говорила: «Иди вперед с верою, всякое препятствие — не что иное, как призрак. Для того чтобы мочь, нужно верить, что можешь, для того чтобы стать сильным, нужно утишить слабость сердца, нужно изучить свою обязанность, которая есть начало всякого права, и лелеять справедливость, как единую любовь свою».

Литта помнил, что составлял свой гороскоп, когда был еще недалек в астрологии, и вдруг ему захотелось теперь проверить, все ли было у него вполне точно и нет ли какого-нибудь пропуска. Поэтому он, взяв фатидический круг и сделав снова цифровую выкладку своего имени, принялся внимательно просматривать гороскоп. Он следил дом за домом и тщательно спрашивался, какие планеты должны находиться там. Все знаки, казалось, были на своих местах. Но, дойдя до седьмого дома, Литта остановился, посмотрел на круг, потом на чертеж гороскопа, проверил цифры; не было сомнения — в седьмом доме оказывался пропуск: там должна была находиться Венера... Литта проверил еще раз — первоначальная ошибка его была очевидна.

Он невольно вспомнил особенность, издавна замеченную у всех людей, занимавшихся астрологией, а именно: они, как доктор не может лечить себя самого, не могут никогда вполне точно составить свой собственный гороскоп и всегда должны поручать это другому.

Значение седьмого дома ему было, разумеется, известно: это так называемый «дом брака», и при его помощи раскрываются главным образом сердечные привязанности, семейные связи и порывы.

Литта предугадывал уже и значение Венеры в этом доме, но, не доверяя своей памяти, взял книгу ключей и отыскал подходящий номер; там стояло прямо: «Завидный брак, хотя поздний. Большое приданое. Долговечность. Мирная старость, окруженная заботами». Это было ясным подтверждением предсказания Лагардина-Нике.

Литта задумался.

Он до сих пор не знал женщин и, приучив себя силой воли побеждать и подчинять себе свои страсти и свою человеческую природу, вышел победителем из борьбы с этой природой, одержал победу, которая принесла ему действительные плоды и дала знания, мощь и степень посвящения в ряду мальтийской иерархии. Воспитанный в традициях таинственного ордена, граф с пятнадцатилетнего возраста привык обуздывать себя и презирать все то, что составляет обыкновенную притягательную силу будничной материальной жизни, и за это получил другое наслаждение в области духа, частица сферы которого была открыта теперь для него, и он не только не хотел покинуть ее, но, напротив, желал все более и более углубляться в нее.

Однако предсказания гороскопа и старика француза смущали его. Что они значили и могли ли они что-нибудь значить? Лагардину-Нике с его сибиллическим ответом Литта не доверял как-то, да и себе самому и составленному им гороскопу тоже не доверял теперь.

«Когда я ошибся — тогда ли или теперь, может быть, что-нибудь не так?» — беспокоился он и снова принялся за проверку цифр.

Совсем уже рассвело, а Литта и не думал еще ложиться спать. Впрочем, ему не в редкость было просиживать целую ночь напролет за чтением или за каким-нибудь занятием. Он мог проводить до двух суток без сна.

С восходом солнца Литта обошел каюту, спрятал книги и, взяв в карман лист с чертежом гороскопа, вышел снова на палубу и велел подать себе шлюпку.

VIII. Больной

Не торопясь, доехал Литта по заливу от корвета до берега, любуясь безоблачным небом и синевой ясной воды. Шлюпка причалила к Спиаджиди Киайя, и Литта, выскочив на берег, стал подниматься в гору.

Он шел, опустив голову, смотря себе под ноги, но не обращая внимания, куда идет, и машинально поворачивая из переулка в переулочек. Пустынные и днем, эти переулочки теперь были совсем безлюдны, и просыпавшаяся в окружающих их домиках жизнь начиналась пока еще внутри и на дворах, не выходя наружу. Литта мягко ступал по толстому слою отяжелевшей от ночного тумана пыли, густо покрывавшей неровную мозаику лавы, сквозь щели которой и сквозь пыль пробивалась кое-где зеленая травка.

Вдруг он остановился и прислушался. До него ясно долетел протяжный, жалобный стон.

Стон повторился еще явственнее, и на этот раз послышался он откуда-то снизу, словно из-под земли.

Литта нагнулся. Почти у самых его ног, внизу под колодой большой стены, виднелось несколько окон подвального этажа, обыкновенно отдаваемого в Неаполе купцам под склады или под кофейни и съестные лавки.

Литта поднялся от окна и огляделся, не было ли входа где-нибудь. Большие ворота вели, очевидно, во двор. Литта подошел к ним. Они не были заперты. Он вошел. На огромном дворе, у открытого сарая, были экипажи. Какая-то женщина в другом углу вешала белье на веревку. Но на Литту, кажется, никто не обратил внимания, и он, осмотревшись, сам нашел то, что ему было нужно: дверь в подвал с вырытою в земле и обложенною лавою, с забитыми колышками, лестницею была налево, почти у самых ворот.

Литта направился к ней и, отодвинув засов, на котором не было замка, спустился в сырой и темный коридор подвала.

Стоны слышались все сильнее. Он шел на них.

Человек лежал у окна. На нем была синяя рубашка, и его голые ноги были прикрыты овчиной. Лицо

у него сильно распухло, отекло, вокруг глаз виднелись черные круги, особенно казавшиеся страшными. Он испуганно, недоверчиво, но вместе с тем умоляюще-жалостливо смотрел на неожиданного посетителя, низко нагнувшегося над ним, и продолжал что-то говорить на своем непонятном языке. Толстый нос его распухшего лица и в особенности русая борода резко отличались от типа, который привык видеть Литта у себя в Италии.

— Расстегни рубашку, я осматрю тебя, — приказал Литта больному.

Тот зашевелил чего-то губами и не двинулся, очевидно, не поняв того, что ему говорили.

Литта повторил свои слова по-немецки. Больной опять не понял.

Тогда Литта сам открыл ворот его рубашки, попробовал пульс и приложил руку к голове. На груди больного чернели зловещие большие пятна. Он все прижимал рукой живот, показывая, что тут у него болит больше всего.

Литта опустил на одно колено, положив ему опять на голову руку, и, не двигаясь, стал смотреть ему прямо в зрачки. Его черные блестящие глаза вдруг получили совсем стальной оттенок; рука, которую он держал на голове больного, слегка затряслась, но глаза смотрели еще живее и еще ярче стал блеск их.

— Водички бы испить! — проговорил больной.

Литта опять не понял этих слов, произнесенных на чуждом ему языке. Он оглядел больного еще раз и быстро вышел в коридор, направляясь к двери.

Когда Литта вышел из подвала на лесенку, на дворе его уже ждал толстый бритый неаполитанец в красном жилете и обшитом галунами камзоле. Очевидно, приход Литты был замечен и о нем сообщили кому следует.

Литта с неудовольствием, почти враждебно взглянул на этого толстого человека, тоже весьма не ласково смотревшего на него, и, отбросив слегка плащ, показал ему свой мальтийский крест на груди.

Выражение у обладателя красного жилета сейчас же изменилось.

— Эчеленца, — заговорил он, потирая руки, приятно улыбаясь и кланяясь, — я пришел, собственно, узнать, что угодно эчеленце?

— Я вижу, мой любезный подеста, что вы очень любопытны, — перебил его Литта, сдвигая брови.

— Но я же должен буду доложить графу, что эчеленца посетили его палаццо, — продолжал подеста, пожимая плечами и весь дергаясь от желания казаться очень учтивым.

— Какому графу? — спросил Литта.

— Графу Скавронскому.

— А! Этот палаццо принадлежит графу Скавронскому?

— Да, эчеленца, послу ее величества государыни Русской империи, — с важностью произнес подеста.

IX. Графиня Скавронская

Изю всех многочисленных комнат своего палаццо графиня Екатерина Васильевна Скавронская выбрала одну только небольшую гостиную, выходившую окнами в тенистый сад. Здесь стояла ее любимая кушетка, на которой она проводила полулежа целые дни, одетая в легкий, свободный батистовый шлюмпер и прикрытая собольей шубкой.

Старушка-няня со своим чулком сидела обыкновенно в ногах у нее и по целым часам рассказывала те самые сказки, которыми тешила ее в далеком детстве.

Другую собеседницу молодой Скавронской бывала госпожа Лебрен, знаменитая портретистка, познававшаяся с нею в Неаполе и подружившаяся.

— Так вот, Катюша, — рассказывала няня, — прохо-

дит это он мимо нашего дома и слышит, как Дмитрий стонет в подвале. Остановился это он и прислушался... зашел... На Дмитрия-то все рукой махнули и совсем «собрали» уж его... Тогда у нас переполюх было началось, от тебя-то скрыли, а граф хотел уже из дворца-то вашего уезжать. Не ровен час, заразища-то, знаешь, как хватит, так ведь беда — ты понять это не можешь. В Питербурхе навидалась я раз, как и выздоровел один, да глаза у него лопнули.

— Ну да! А что ж он-то? — перебила графиня, потягиваясь и закидывая свои красивые тонкие руки за голову.

— Да что! Посмотрел, говорит: «Может, Бог даст, помочь можно», — так и сказал: «Бог даст». «Я, — говорит, — приду с лекарствами», — и пришел... А к Дмитрию-то тайком конюх Кузьма бегал; так Кузьму-то он научил, что делать. Своего платка не пожалел, намочил и велел к голове прикладывать... это Дмитрию-то.

— Да уж если себя не пожалел, — улыбнулась Скавронская, — так что ж платок...

— Ну, как же! — протянула няня. — Все-таки батистовый, почитай... И представь ты себе, Дмитрий-то оправляться стал... Он говорит, что мы, может, его тем-то и спасли, что в подвал прохладный положили... «Бог помог, — говорит, — а не я». Дмитрий-то теперь опять человеком стал... «И заразы, — говорит, — вы не бойтесь, потому что я все окурю», — и окурил, а что следовало — уничтожил.

Няня замолчала, застучав своими спицами, а графиня задумалась, все продолжая держать за головную руку и остановившись глазами перед собою, видимо, не глядя на то, на что смотрела. Ее спокойное, с тонким, мягко очерченным профилем личико, на которое она, вопреки моде, никогда не клала румян и белил, было девственно нежно, отливая слегка бледным молочным матом, оттенявшим робкий, мягкий румянец на щеках. Золотистые, белокурые волосы, которых тоже никогда не касалась пудра, вьющимися волнами лежали назад. Полуоткрытые маленькие губы, когда она улыбалась, показывали два ряда ровных белых зубов*.

— Посмотрю я на тебя, Катюша, — начала опять няня, взглядывая на графиню и выправляя нитку, — такая ты у меня красавица, и так твоя красота пропадом пропадает — даром совсем... Ну, что это — и ряды есть, вот и посейчас не разобраны стоят, и драгоценности разные, ожерелья, браслеты... все есть. Хоть бы в Вильврали**, что ли, пошла — там, говорят, так хорошо... и народ, и все... А то что ж сидеть-то так!

Графиня, по-прежнему улыбаясь, смотрела на старуху, слушая ее вечные сетования.

— Полю, няня, ну что я туда пойду? Зачем? — повторила она всегдашний свой ответ и, повернувшись на бок, потянула на плечо свою шубку, а затем спросила: — Что, граф еще не вернулся?

— Вернулся, вернулся, мой друг, — послышалось в ответ в дверях, и граф Павел Мартынович плавную, балансирующую походкой, на цыпочках подлетел к жене, нагнулся и поцеловал ее розовый локоть.

— Ты где был?

— На Вилла-Реале, — заговорил граф, жестикулируя (он перенял эту привычку от итальянцев). — Ах, как там хорошо! Все новости, все сейчас узнаешь... Послушай, Катрин, когда я наконец добыю того, что мы поедем вместе... куда-нибудь?..

— Ты — точно вот няня, — перебила Скавронская и показала на старуху.

* О замечательной красоте графини Скавронской сохранилось свидетельство не только г-жи Лебрен, которая в своих записках говорит, что она была «хороша, как ангел», но и других лиц, — между прочим, графа Сегюра. Державин воспел ее под именем «Пирры».

** Вилла-Реале.

— Ах, няня!.. здравствуй! — обратился к ней граф.

*«O, donna amata, o, tu che fui dura
E la speme, caccial di mia natura!»*

пропел он речитативом стихи собственного сочинения для либретто одной из своих опер.

Няня при слове «dura» сердито покосилась на него и проворчала:

— Ну, уж вы всегда, ваше сиятельство!..

— Нет, кроме шуток, Катрин, — снова обратился граф к жене, — ты знаешь, я из верного источника узнал, что говорят, будто я тебя держу взаперти... Представь себе!.. Это я-то, я!.. Ну, скажи, разве я похож на северного варвара, а? — И Скавронский рассмеялся.

Графиня продолжала лежать серьезно.

— Ах, не все ли мне равно, что говорят! — сказала она и отвернулась.

— Да, но согласись сама, что положение посла наконец обязывает, — начал было Павел Мартынович, но запутался, щелкнул языком и снова пропел фальшиво: — «O, donna a-ma-ata...»

— А петь так положение посла позволяет? — спросила Скавронская.

Граф прищурился и поджал губы.

— Ну, ничего, дома можно, а? Ведь можно?.. И к тому же я потихо-о-оньку...

— Полно... при няне! — остановила его жена по-французски.

— Ах! то при няне, то без няни, — полураздраженно заговорил он. — Ну, что ж это, и спеть нельзя! Нет, знаешь, это у тебя от «капризов», как называют это французы... Просто оттого, что ты одна постоянно... Вот и все. Послушай, Катрин, голубушка, — вдруг приступил он к жене, складывая руки и почти на колена сползая с маленького кресла. — Послушай, ну, познакомься ты хоть с кем-нибудь... Ну, позови кого хочешь... Я со дна морского достану, кажется.

Графиня долго молчала, а потом вдруг обернулась к мужу и тихо проговорила:

— Познакомь меня с графом Литтою!

Х. Граф Павел Мартынович

Граф Скавронский вышел от жены задумчивый и серьезный.

— Позовите ко мне Гурьева, Дмитрия Александровича, — приказал он мимоходом лакею, попавшемуся ему на дороге, и, миновав длинный ряд роскошно разукрашенных комнат и зал великолепного палатца, направился в свой кабинет.

Скавронский сел к широкому круглому письменному столу и начал было бегло просматривать попавшие ему под руку бумаги, но вскоре оставил это занятие.

Было очень жарко. Павел Мартынович несколько раз вытер себе лоб платком. Он попробовал потом снова и с усилием приняться за бумаги, но махнул рукою, широко зевнул и стал задумчиво смотреть в окно, подперев голову рукою и опершись на локоть.

Маленькая дверь за шкафом скрипнула, и в комнату тихо и скромно вошел средних лет человек с умными, строгими чертами лица и, потирая руки, не спеша, словно отлично зная себе цену, приблизился к столу.

— Дмитрий Александрович, — заговорил Скавронский, — что же вы! я вас жду, жду... у меня дело к вам есть, а вы не приходите.

Гурьев равнодушно улыбался и, по-прежнему не спеша, опустил на стул по другую сторону стола.

— Дело, так дело... посмотрим, в чем оно! — ответил он.

Скавронский несколько раз повернулся на своем месте, собираясь говорить:

— Вот видите ли... я сейчас от графини...

Дмитрий Александрович кивнул головою.

— Она ужасно скучает, — продолжал Скавронский. — Согласитесь, что мое положение посла...

И Скавронский заговорил про свое положение посла пространно и подробно, потому что сидевший теперь молча Гурьев смотрел, поджав губы, мимо графа в окно и, медленно покачивая ногою, не перебивал его.

— Ну, так, значит, пусть этот граф Литта уезжает — и вы представите кого-нибудь другого на его место... мало ли народа в Неаполе? — проговорил наконец Дмитрий Александрович, вспомнив, что нужно же было ответить Скавронскому.

Он в эту минуту думал совсем о другом и совсем было забыл о тех пустяках, о которых беспокоился теперь Скавронский, воображавший, что это — серьезное дело.

— И не думайте! — воскликнул тот. — Нет, графиня желает познакомиться именно с Литтою. К тому же я дал слово... я дал слово достать ей кого она пожелает, хоть со дна моря, а теперь, как видите, не могу получить Литту с поверхности залива, где качается его «Пелегрино»! — и довольный своим «jeu de mots»*, граф откинулся на спинку кресла и рассмеялся. — Так вот видите, — заговорил он опять, снова становясь серьезным, — я дал слово и должен сдержать его, понимаете, должен... во что бы то ни стало...

Гурьев отмахнулся рукою, как от неотвязчивой мухи.

— Ну, хорошо, — сказал он наконец, — если вы непременно хотите, я поеду к этому Литте, у России есть сношения с Мальтийским орденом. Я к нему поеду будто по делу. Еще в шестьдесят четвертом году, если не ошибаюсь, государыня писала нашему посланнику в Вене Голицыну о вызове охотников из мальтийских рыцарей на службу в русском флоте; можно хоть к этому придраться.

— Ну, вот видите ли, как это хорошо! — радостно заговорил Скавронский. — Так, голубчик Дмитрий Александрович, поезжайте сегодня же... поскорее... Ведь вы понимаете, не дай я слово...

И граф Скавронский долго еще уговаривал Гурьева непременно поехать поскорее, хотя тот и без того сам же первый выразил свою готовность и, видимо, весьма желал сделать графу приятное.

XI. Берег или море

Поездка Гурьева к Литте увенчалась полным успехом. Дмитрий Александрович сумел поговорить с мальтийским рыцарем и действительно нашел уважительную причину для начала сношений его с русским посольством в Неаполе. Литта на другой же день обещал приехать к Скавронскому.

Сам граф Павел Мартынович встретил мальтийского рыцаря на лестнице и провел его в свой кабинет, где дождался их Гурьев. Но они делом не занялись.

— По русскому обычаю, граф, — заговорил Скавронский, — прежде дела посольство пригласит вас прямо в столовую, запросто, как дорогого гостя.

— Мне некогда, — попробовал было возразить Литта, — я с минуты на минуту жду поднять паруса и потому должен вернуться на корвет как можно скорее.

Но Скавронский замахал на него руками, заговорил, запросил и, снова сославшись на обычай, сказал, что ни за что не отпустит гостя и не станет вступать с ним в деловой разговор, не покормив его предварительно.

Толстый, знакомый уже Литте, подеста появился

* О, любимая женщина! О, ты, которая была неприступною и изгнала надежду из моей груди.

* Игра слов.

в это время у двери и с важным поклоном заявил, что «кушать подано», Скавронский схватил Литту под руку и почти насильно повел его в столовую.

Столовая, куда ввел Скавронский своего гостя, была вся заставлена цветами и растениями, и все стены ее были покрыты полками с массивною золотою и серебряною посудой. Круглый стол, тесно уставленный серебром, фарфором и хрусталем, был накрыт на четыре прибора.

Почти в то же время, как граф Павел Мартынович, Литта и Гурьев входили в столовую с одной стороны, дверь на противоположном конце отворилась, и в ней показалась графиня Скавронская, против своего обыкновения пышно разодетая, такая, какой муж уже давно не видел ее.

При первом же взгляде на графиню Литта должен был сам себе сознаться, что все слышанное им про красоту Скавронской было не только истинною правдой, но что графиня на самом деле была еще лучше, чем говорили про нее.

Граф Павел Мартынович с самодовольною, торжествующею улыбкой познакомил своего гостя с женою, как бы говоря ей этою улыбкой: «Вот видишь, мой друг, я обещал и исполнил свое обещание».

Странное дело: граф Литта, сколько раз уже на своем веку видавший близко опасность и на море, и в перестрелке, и в рукопашной схватке с алжирцами и никогда не робевший пред смертью, с которою судьба часто ставила его лицом к лицу, почувствовал с первой же минуты какое-то особенное, похожее на смущение, чувство пред этою красавицей далекого, холодного севера. Он ощущал совершенно особенную неловкость и когда здоровался с нею, и когда сел за стол и, расправив салфетку, заложил ее конец за верхнюю пуговицу своего камзола... Его глаза опустились, он потупился и, сердясь на самого себя, готов был в один миг даже покраснеть, как мальчик, но сделал над собою усилие и пришел в себя.

Он не мог знать, что в это время лицо его как раз выражало совсем противоположное, и он казался не только спокойным, но даже равнодушным, холодным, и эта холодность его заставила слегка, в свою очередь, робеть и хозяев, и Гурьева.

Литте вдруг стали ясны с первого же знакомства со Скавронскими все их семейное положение и роль, которую играет тут сам богатый-граф, и почему его жена никуда с ним не показывается. Он не мог не видеть, как она страдала при каждом неловком слове мужа, как силилась скрыть свою досаду и как старалась загладить впечатление, производимое им. Литта понял, что она не только красива, но и умна, и еще внимательнее взглянул на нее.

Графиня случайно поймала этот устремленный на нее взгляд его и внезапно потупилась, и легкая краска покрыла ее лицо.

Первую женщину встретил теперь Литта, в присутствии которой казался себе совсем другим человеком, и она словно была совсем не похожа на других.

«Нет, решено,— думал он, глядя на графиню,— вздор, пустяки... Завтра, если только будет попутный ветер, мы выходим в море».

XII. Карнавал

Прошло две недели. Время веселого карнавала уже наступило, а «Пелегрино» все еще стоял на месте и не развевал своих парусов, хотя попутный ветер несколько раз подымался и Энцио приходил к командиру спрашивать его приказаний; но Литта откладывал со дня на день отплытие и, каждый день съезжая на берег в шлюпку, проводил там большую часть времени.

Карнавал гремел всем своим шумом, песнями и га-

мом по улицам Неаполя. Веселые импровизаторы, взбравшись на возвышение — на какую-нибудь бочку, стол и опрокинутый ящик, — потешали публику своими рассказами; чарлатаны* громче обыкновенного кричали на рынках, простой народ забавлялся играми, бросал шары и тешился несложною ла-морра**. Тамбурины и гитары звучали своею однообразною, но веселою музыкой, и под эту музыку вертелась и прыгала традиционная тарантелла, в которой в минуту разгула вдруг неистово отводит душу ленивый итальянец. Смешные и забавные маски, Арлекины, Пьеро мелькали по улицам, заговаривали друг с другом и пели игровые песни карнавалу, то есть прощанию с мясом.

Энцио с утра отпросился на берег, под предлогом поглазеть на праздник.

Явившись в город, он в первой попавшейся лавчонке взял себе напрокат белый костюм Пьеро и длинноносую маску и, нарядившись в этот костюм, так что узнать его не было возможности, направился снова к Спиаджи ди Киайя, куда обыкновенно приставали все моряки. Он знал, что и сегодня Литта по обыкновению причалит к берегу; и сегодня можно будет под прикрытием проследить, куда это ходит он и кто держит молодого графа в Неаполе.

Энцио сел в тени раскидистого дерева на берегу, чтобы издали следить за приближением шлюпки с «Пелегрино».

Литта действительно не заставил себя долго ждать. Энцио сейчас же узнал небольшую шлюпку командира, спины двух налегавших на весла гребцов и самого Литту, задумчиво сидевшего на руле. Граф, разумеется, не был замаскирован. На нем было его обыкновенное одеяние рыцаря с белым крестом.

Шлюпка причалила к берегу. Литта легко выпрыгнул из нее и скорыми, свободными шагами, напевая себе под нос и почему-то улыбаясь, пошел в город.

Энцио выждал некоторое время и направился за ним.

Они скоро вошли в гудевшую толпу, но Энцио не отвечал на шутки и задиранья масок, сейчас же начавших приставать к Пьеро, и внимательно следил за пробравшимся пред ним сквозь толпу Литтою.

Граф шел, видимо, привычною, давно знакомою дорогою и не глядел по сторонам. На Толедской улице, несмотря на то, что здесь толпа была теснее, он ускорил шаг. Энцио следовал за ним по пятам.

Вдруг небольшая толпа масок загрозила Литте дорогу. Маски отличались своими костюмами от остальных, и по этим костюмам можно было догадаться, что они принадлежат к высшему обществу.

Один из этой толпы, в фантастическом костюме турка, прямо остановился пред Литтою и, видимо, стараясь изменить свой природный голос на густой бас, проговорил:

— Граф Джулио Литта, остановись, ибо мы знаем, куда ты идешь.

— Синьоры Скавронской дома нет, — добавил кто-то сзади.

Энцио насторожил уши.

— Напрасно обивать пороги русского палаццо, когда у нас и своих красавиц довольно, — заметил со смехом еще один голос из толпы.

— Граф Джулио Литта, вылечи меня — у меня оспа! — пробасил снова турок.

Литта сразу догадался, с кем имеет дело. Очевидно, это были те самые молодые люди, которые давно воображали себя достойными внимания русской синь-

* Уличные актеры, скоморохи.

** Особая игра, в которой один из игроков поднимает одну или обе руки с несколькими вытянутыми пальцами, а противник мгновенно должен сказать число поднятых пальцев.

ры, и теперь, под прикрытием маски, желали почему-то сделать ему дебош. Он видел уже и понимал настроение этих господ, так и ждавших теперь случая пристать к нему, и старался лишь угадать, кто бы это мог быть.

И вдруг ему показалось, что Мельцони должен быть непременно среди них. Он скрестил руки на груди и, подняв голову, проговорил:

— Не мудрено, что вы узнаете меня с непокрытым лицом; но если вы искали случая оскорбить меня, то по крайней мере откройте и свое лицо, чтобы я мог видеть, с кем имею дело. Синьор Мельцони, я вам говорю это, — добавил вдруг Литта, ни к кому, впрочем, не обращаясь особенно из толпы, которая оставила его.

Рука турка слегка дрогнула. По тому возбуждению, которым была охвачена эта толпа, и по тому, как вдруг вспыхнул Литта, Энцио не мог не заметить, что дело тут выходило гораздо серьезнее обыкновенного столкновения масок во время карнавала.

— Тут нет синьора Мельцони, — проговорили опять сзади, но движение руки турка не ускользнуло от Литты.

— Синьор Мельцони, если вы скрываетесь, то вы — трус, — проговорил он ему.

Турок двинулся слегка вперед.

— Что? — запальчиво проговорил он, выдавая себя теперь и своим движением, и голосом.

Кругом заметили, что шутка начинает принимать размеры, переходящие границы благоразумия, и сейчас же заговорили в примирительном духе.

— Ну, что это! ну, полноте! ведь никто же не хотел оскорбить вас, граф, — раздался из-под одной маски успокоительный голос дука ди Мирамаре. — Ну, что же вы?..

Мельцони снял маску и сказал Литте:

— Если вы считаете себя оскорбленным, то я к вашим услугам, когда угодно.

Граф холодно поклонился.

— Да полноте же, господа, — проговорил опять ди Мирамаре, но Литта спокойно раздвинул толпу и, сказав Мельцони, что об условиях прийдет переговорить с ним своих секундантов, направился к палатке русского посланника.

Толпа замаскированных молодых людей осталась как бы в недоумении. Они вовсе не ожидали, что

выйдет такая история. Они просто, случайно встретив Литту почти у самого дворца Скавронского, хотели пошутить, посмеяться, вовсе не думая, что заденут слишком за живое графа и что тот сделает вызов.

Один только Мельцони, казалось, был очень доволен всем случившимся и нисколько не сожалел, что все так вышло.

Впрочем, дуэль и для него, и для остальных молодых людей была слишком обыкновенным эпизодом, чтобы чересчур волноваться из-за нее; но все-таки в данном случае нельзя было не сознаться, что почти не было никакой видимой причины для поединка. Правда, многие знали, что Мельцони всегда охотно заговаривает о красивой русской синьоре и много раз искал даже случая познакомиться с нею, хотя безуспешно, и что с тех пор, как Литта стал бывать у Скавронских, он начал относиться к графу с недружелюбною завистью. А этого было слишком достаточно, чтобы малейшее столкновение перешло в открытую вражду... И ввиду этой, понятной теперь всем, скрытой причины никто не пытался заводить речь о примирении.

Энцио слышал все от слова до слова и понял, из-за кого состоится дуэль. Он видел также, куда теперь отправился Литта.

Мельцони как ни в чем не бывало надел свою маску и, стараясь казаться особенно оживленным, чтобы показать, что только что случившееся маленькое происшествие отнюдь не должно смущать его спутников или нарушать общее веселье, пригласил их идти вперед, указав на какую-то маску, ласково поглядывавшую на них.

Энцио пошел за ними.

В конце Толедской улицы он ближе протерся к молодым людям и незаметно для других тронул за руку Мельцони. Тот невольно обернулся.

— Синьор, — шепотом проговорил Энцио, стараясь изменить свой голос, — на два слова.

Мельцони удивленно посмотрел на этого большого белого Пьеро в носатой маске, остановившего его довольно бесцеремонно, и спросил:

— Что тебе нужно?

— На два слова, синьор... вы не будете раскаиваться в том, что поговорите со мною, — и, шепнув затем, — паперть Сан-Дженарро — я буду ждать, — Энцио, боясь быть замеченным остальными молодыми людьми, смешался с толпою...

Этот таинственный шепот носатого Пьеро заинтересовал Мельцони. Не разбирая и не силясь разгадать, кто бы это мог быть — посланный ли по какому-нибудь любовному приключению, или мазурик, рассчитывавший завлечь его в западню (в Неаполе это бывало не в редкость), или же просто шутник, желавший заставить его прогуляться понапрасну до собора Сан-Дженарро, — он, сказав остальным, что встретится с ними в их обычном казино, отправился-таки на паперть Сан-Дженарро.

Там ждал его Энцио, одетый по-прежнему в свой костюм и замаскированный.



— Ну, говори!.. Толькс скорее, мне некогда,— сказал ему Мельцони.— В чем дело?

— Одна секунда, синьор, все очень просто... У синьора будет поединок.

Мельцони поморщился. Ему неприятно было, что этот человек из толпы, вероятно, видел его столкновение с Литтою.

— Синьор, конечно, очень ненавидит графа Литту,— продолжал между тем Энцио.

— Почему ты это знаешь и что тебе за дело? — перебил его Мельцони.

— О, синьора русская очень хороша собою!

Энцио видел, как блеснули при этих словах глаза Мельцони под маскою.

— Ну, так что ж тебе нужно? — снова спросил тот, помолчав.

— Того же, что и вам: я был бы очень рад, если бы граф Литта... — и Энцио щелкнул языком и мотнул головою.

— Ну, и желаю тебе удачи! — произнес Мельцони.

— Черт возьми, синьор, у вас под чалмою есть же голова и в ней мозги — пошевелите ими,— повторил Энцио старую итальянскую поговорку.— Дело в том, что граф Литта отлично дерется на шпагах... Против его удара никто не устоит...

Мельцони слушал теперь, не перебивая.

— Я бы желал сообщить синьору средство,— продолжал Энцио,— верное средство... как оградиться «навсегда» от этого удара графа Литты...

— Та-ак! — протянул Мельцони.— Ну, теперь я знаю, зачем ты меня позвал... Это, брат,— старая штука...

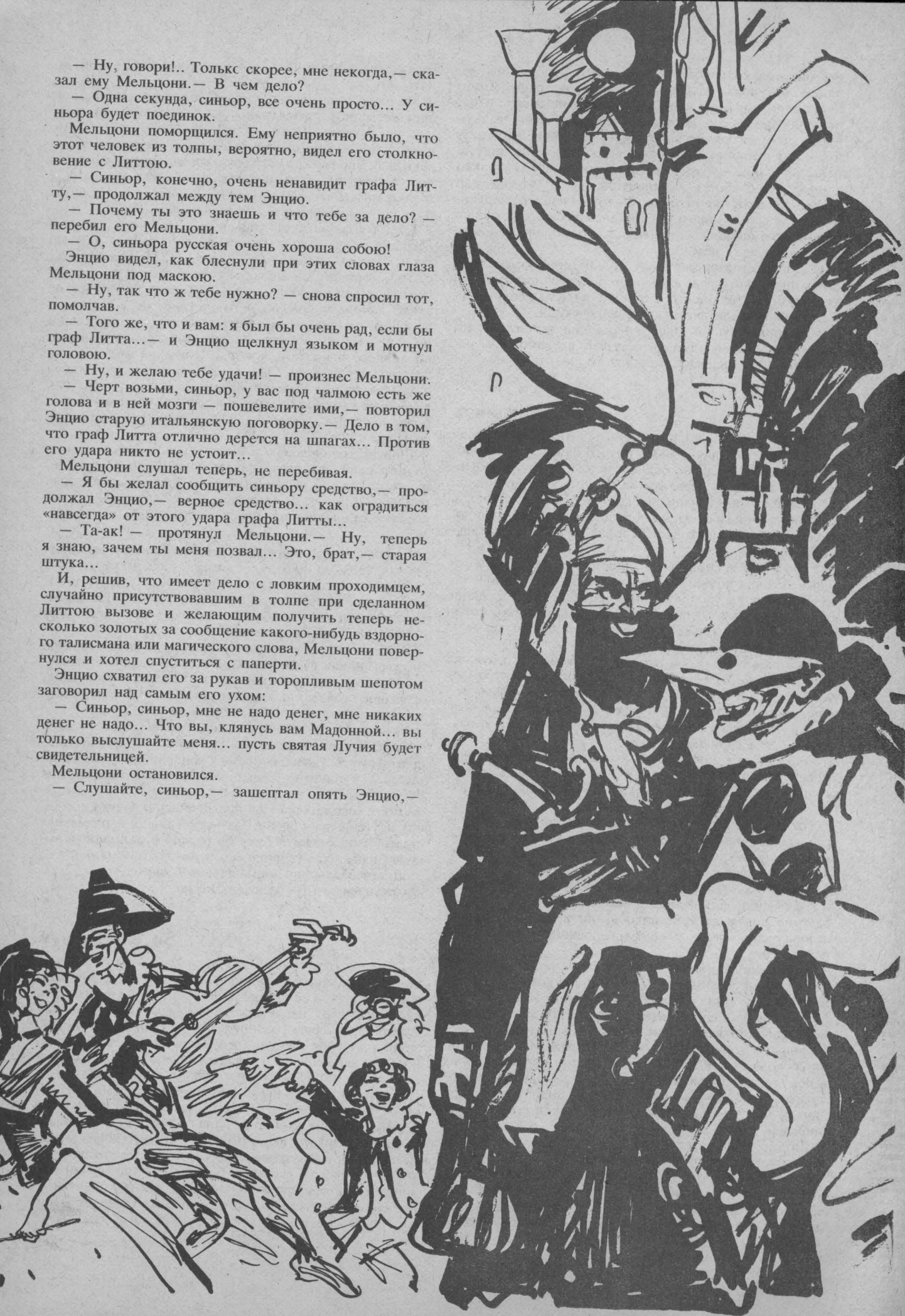
И, решив, что имеет дело с ловким проходивцем, случайно присутствовавшим в толпе при сделанном Литтою вызове и желающим получить теперь несколько золотых за сообщение какого-нибудь вздорного талисмана или магического слова, Мельцони повернулся и хотел спуститься с паперти.

Энцио схватил его за рукав и торопливым шепотом заговорил над самым его ухом:

— Синьор, синьор, мне не надо денег, мне никаких денег не надо... Что вы, клянусь вам Мадонной... вы только выслушайте меня... пусть святая Лучия будет свидетельницей.

Мельцони остановился.

— Слушайте, синьор,— зашептал опять Энцио,—



вы мне только сообщите час, когда будет ваша дуэль, — мы после условимся, как, — и графу Литте будут даны хорошие капли; эти капли не смертельны, но они произведут хорошее действие. Как только кровь его разгорячится борьбою, так они подействуют — он ослабнет... Вы только ждите этой минуты и все старание употребите на защиту, а как только увидите его слабость — делайте выпад. А чтобы удар был верный и достаточно было малейшей царапины — для вашей шпаги мы достанем несколько капель настоящего индийского кураре... Вы, конечно, знаете силу этого яда? нет?

И Энцио стал рассказывать о замечательных свойствах индийского яда, в котором достаточно помочить кончик иглы, чтобы она в течение пяти лет сохранила смертельное действие яда в случае укола.

Мельцони слушал Пьеро, наклонив голову. А вокруг по-прежнему шумела пестрая, неугомонная, непрестанно двигавшаяся, веселая толпа карнавала.

ХIII. Поединок

Место дуэли было назначено за городом, в роще у подножия Везувия, рано утром. В случае неблагоприятного исхода решено было, как это, впрочем, обыкновенно водилось, свалить все дело на разбойников, проделки которых были далеко не в редкость и борьба с которыми оказывалась для власти далеко не равною. Сплошь и рядом находили в горах печальные последствия их промысла.

Утро было прекрасное, теплое. Литта отлично выпался сегодня ночью, лошадь ему попалась покойная, и он с большим удовольствием проехался от города до рощи, ощущая то особенное, бодрящее чувство, которое всегда испытывает сильный и здоровый человек свежим, ранним утром.

Соскочив с седла, он невольно заметил, что отвык, должно быть, от верховой езды и ноги его не то что устали, но он продолжал чувствовать ими, будто все еще сидит на лошади. Он рад был, что приехал первым и что у него есть время пройтись немного и размять слегка свои ноги.

— Утро-то какое, граф! — весело сказал ему один из секундентов, тоже слезая с лошади и привязывая ее к дереву. — Ну, однако, синьор Мельцони не торопитесь, — добавил он, подходя к Литте.

Тот весело взглянул на него и улыбнулся, открыв ряд своих ровных и белых зубов, как бы невольно спрашивая: «А, вы об этом?..» — и, ничего не ответив, пошел вперед.

Литта был так равнодушен теперь и к Мельцони, и к своему столкновению с ним, что даже вечером ни разу не подумал серьезно о дуэли и не полюбостовал справиться в своем гороскопе о вероятном исходе ее.

Мельцони подскочил широким галопом с дуком ди Мирамаре и с гвардейским офицером, которого Литта встречал на Вилла-Реале. Они, видимо, торопились. Мельцони был слегка взволнован. Лицо его отдавало непривычною желтизной, и глаза светились немного странным, несвойственным им блеском. Они поспешно соскочили с лошадей и, быстрыми шагами ведя их в поводу, приблизились к полянке. Дук ди Мирамаре учтиво, как к даме во время танцев, подошел к секундантам Литты. Гвардейский офицер стал привязывать лошадей.

Литта стоял на середине полянки, и в эту минуту ему хотелось лишь одного: хорошенько вытянуться, выправить свои руки; но он невольно сдержал себя, потому что дук слишком уж священнодействовал и, церемонно переговорив с его секундантами, направился, плавно и бережно ступая своими тонкими ножка-

ми, к Мельцони и стал, поклонившись, что-то объяснять ему.

Мельцони выслушал, кивнул головою и несколько неестественно, по-театральному, вышел на полянку и стал против Литты. Граф взглянул ему прямо в лицо. Мельцони скосил глаза на сторону и опустил веки, как бы избегая встретиться взглядом противника. Он вынул свою шпагу и, отдав салют, встал «en garde». Мельцони сейчас же приложил, стукнув свой клинок по клинку противника. Дуэль началась.

Как только Литта увидел у себя пред глазами острый конец шпаги противника и двинул кистью руки, чтобы защититься с тьерса (Мельцони взял с этой стороны), он забыл и утро, и полянку, и секундентов, и самого Мельцони и весь сосредоточился на этом, направленном на него, острие, не соображая, впрочем, что оно может быть опасно или смертельно, но единственно заботясь, как бы не сделать промаха, противного искусству, которым (он знал это) он владеет в совершенстве. Это чувство знатока своего дела и увлечения им всецело охватило Литту, и он, как художник в минуту вдохновения, почти бессознательно повел поединок, чисто отделявая удары, словно вырисовывая их.

Шпаги скрещивались и мелькали, как молнии. Литта пробовал два раза сделать выпад, но Мельцони, видимо, тоже был внимателен и парировал каждый раз удар. Сам он не выпадал. Литта заметил, что он все свое старание направляет на то, чтобы защищаться.

Секунданты, не двигаясь, словно застыли на своих местах, следя за боем. Они видели, как Литта два раза сделал выпад и Мельцони парировал удар и затем стал защищаться. Они видели тоже, что Литта понял тактику врага и перестал нападать. Теперь дело шло о том, кто раньше устанет.

Дук в это время поразил вдруг изменившееся лицо Литты. Он как будто побледнел, и его сильные, мускулистые ноги не так твердо уже держали его плечистое, огромное тело. Он стал нервно дышать и делать заметные усилия, чтобы удержаться на ногах.

Мельцони, все время избегавший глядеть ему в лицо, теперь тоже вдруг начал быстро взглядывать прямо ему в глаза, особенно усиленно и оживленно зашевелив шпагою и выбирая удобный момент для удара.

Литта (его колена уже подгибались и слегка дрожали) все еще парировал; но вдруг, широко размахнув шпагою, он откинул руку в сторону и как сноп повалился навзничь, ударившись головою о землю.

Шпага Мельцони мелькнула в воздухе.

Секунданты бросились к Литте.

ХIV. Во власти дум

Графиня Екатерина Васильевна не спала почти всю ночь. Страдание бессонницей, мучительное и докучливое, заставляло ее иногда по целым суткам не смыкать глаз, несмотря на лекарства докторов и ухаживания старой няни. Няня говорила, что ее графинюшку слгали, а доктора уверяли, что Скавронской необходимо больше движения и развлечения, но она не хотела слушаться их. Она лежала, закинув по привычке за голову руки, и большими, широко открытыми глазами смотрела перед собою на мягкие складки шелкового полога. Ночник тускло освещал ее розовую спальню.

Она, благодаря несметному богатству своего мужа, не знала ни в чем отказа, но ей ничего не хотелось из того, что могло дать ей богатство. Драгоценности, дорогие наряды, роскошный дом, толпа прислуги — все это было у нее, но не имело никакой цены, потому что доставалось слишком легко. К тому же, кроме

скуки, однообразия и надоедливости, не в меру угодливого внимания в пустяках и равнодушия ко всему серьезному своего мужа, она ничего не видела в этом огромном дворце, в который забросила ее судьба на чужбине, вдали от родных и всего, что она любила с детства.

Ей невольно припомнилась барская усадьба их Смоленского, более чем скромного, именица, где она с сестрами звонко, бывало, смеялась и где ей жилось весело и привольно в счастливые годы детства!..

Она очнулась только здесь, в Неаполе, после долгого путешествия, сделанного один на один с мужем, и, очнувшись, поняла, что все это — тоска, ненужная, лишняя и тяжелая. И ей захотелось остаться одной, чтобы только не мешали и не приставали к ней.

И вдруг среди этой тоски и однообразия явился свежий, живой человек, сильный, с которым познакомилась она недавно и который теперь, как живой, стоял пред ее глазами. Она будто видела пред собою красивую, мощную фигуру Литты, его быстрые, умные глаза, черные, выходящие локонами, волосы и ровную, добродушную улыбку. И невольно ей пришла в голову разница между ним и ее тщедушным мужем, то и дело вертевшимся возле нее и беспрестанно лезшим со своими ласками и поцелуями.

Вспомнив про Литту, графиня Екатерина Васильевна вдруг быстро приподнялась на кровати и схватила руку за грудь. Сердце ее защемило, и беспричинная, как казалось, боязнь — та боязнь, которая является у человека, когда ему дышать нечем, — охватила ее. Ей показалось, что она не даром вспомнила теперь, именно в эту минуту, про него, точно с ним или с нею должно случиться что-то недоброе, ужасное.

Она осенила себя крестным знамением и испуганно осмотрелась кругом. Фарфоровый ночник по-прежнему освещал комнату, пыльные, непроницаемые гардины плотно закрывали окна.

Графиня спустила ноги с кровати, отыскивала ими туфли и, накинув широкий шелковый балахон, подошла к окну. Она откинула гардину, и розовое, ясное утро глянуло ей в лицо, ворвавшись в комнату целым снопом матовых лучей своих.

XV. Старый штурман

Энцио был почти уверен в безошибочности своего расчета. Он надеялся, что Литта не вернется теперь с берега и что удар Мельцони будет верен и достигнет своей цели.

Во всем, по его мнению, был виноват сам Литта, который, как казалось Энцио, слишком заносчиво относился к нему и стал на его дороге неустрашимой помехой. Энцио думал, что, не будь этого молодого командира над ним, получившего власть благодаря своему знатному происхождению, он давно-давно достиг бы командования судном. Это было заветною целью всей его жизни.

Однако, несмотря на весь соблазн своей мечты, он чувствовал себя далеко не удовлетворенным, неспокойным и, стоя на палубе, беспрестанно взглядывал по направлению берега, откуда должна была прийти весть о командире. Сам Литта, разумеется, не вернется; это было почти невозможно. Все казалось обдуманно и предвидено, и сегодня ему не избежать «заслуженного», как старался себя уверить Энцио.

Кусая себе нижнюю губу и беспокойно теребя росший под нею в виде эспаньолки клок волос, Энцио жадно, упорно взглядывал в мелькавшие у берега лодки — не покажется ли наконец между ними шлюпка с «Пелегрино».

Чтобы лучше разобрать и увидеть, он хотел посмотреть в подзорную трубу и пошел было за нею, но вспомнил, что она в каюте командира и что последняя

заперта. Новый прилив досады и злобы обуял его, и сомнения его рассеялись. К тому же у него были давнишние счеты с Литтой. Он помнил, как командир за какое-то упущение (теперь Энцио казалось, что это были ничего не значащие пустяки) велел вывести его пред экипажем и сделал ему выговор при всех, не пощадив «его седин, его pello blanhissimo» (хотя на самом деле курчава голова Энцио была покрыта лишь проседью, но ему казалось лучше воображать себя именно «седым» в этот момент). Эту-то обиду и насмешки, которые пришлось ему услышать потом за спиной у себя, он никогда не мог простить молодому графу.

Солнце поднялось довольно высоко, когда наконец Энцио ясно различил спины тех самых гребцов, которые ездили обыкновенно с Литтой и за которыми он следил так же вот вчера, когда сидел на берегу под деревом в одеянии Пьеро, ожидая Литту на берег.

Гребцы были одни в шлюпке. Впрочем, Энцио так и ожидал этого. Матросы гребли, налегая на весла, но Энцио казалось, что они ползут так медленно, как будто в шлюпке у них невыразимая тяжесть.

— А где же граф? — крикнул он им, когда они подплыли на такое расстояние, что можно было разговаривать.

— Эчеленца... — послышалось со шлюпки, но налетевший ветерок отнес следующие слова, и ничего нельзя было разобрать.

— А? что? — кричал Энцио. Он старался по лицам матросов, обернувшихся к нему, угадать о том, что случилось: но эти лица были совершенно спокойны и равнодушны. — Где же граф, граф где? — повторил он свой вопрос, сильно нервничая.

— Эчеленца приказал нам ехать на корвет, — послышался ответ на этот раз.

— Как приказал? — удивился Энцио. — Вы его видели?

Энцио почувствовал, что мысли его путаются и что он не может понять, как это все могло случиться и каким образом Литта остался цел и невредим.

XVI. Счастливый случай

Случилось же это все очень просто.

Когда Литта упал во время поединка и секунданты кинулись к нему, он казался без движения, словно в обмороке.

Ему растегнули камзол, освободили ворот, распустили застёжки — ничего не помогало.

Мельцони чувствовал себя неловко. Положение его действительно было странно, и он не знал, как выйти из него — оставаться ли здесь или тоже сесть на лошадь и уехать.

В это время в глубине рощи зашевелились кусты и послышалось, как кто-то пробирается между ними. Секунданты притихли и подняли головы, прислушиваясь. Шаги приближались к ним.

Из чащи вышел на поляну одетый весь в черное длинноносый, худой человек в широкополой шляпе и с ящиком для растений через плечо. В руках он держал тоже пучок каких-то набранных трав. Он, казалось, был занят усердным рассматриванием их и перебирал их пальцами, близко поднося пучок к своим круглым очкам.

Выйдя на полянку, он оглянулся и, заметив сидевших тут людей, слегка растерянно остановился перед ними, как будто желая показать, что он вовсе не хочет мешать им. Те тоже при виде постороннего смущенно взглянули на него, тем более что между делом, за которым они явились сюда, и мирным занятием ботаника ничего не было общего. Ни он, ни они, казалось, в первую минуту не знали, что сделать и как лучше выйти из этой случайной встречи.

Он оглянулся еще раз, как бы ища выхода, и тут только заметил Литту, лежащего на плаще, который подложили под него.

— А это что же? — спросил он удивленно, тихо, на ломаном итальянском языке, а затем, не дожидаясь ответа, подошел к Литте, нагнулся над ним и стал осматривать его.

Он долго возился над ним, покачивая головою, отложив свои травки в сторону и не спрашивая позволения. Ему не мешали, видя ту уверенность, с которою он принялся за свое дело.

Мельцони, вероятно, заметив, что происходило на полянке, подошел от дороги и издали остановился.

— Лагардин-Нике! — окликнул он, узнав старика.

Нике поднял голову и, покачиваясь из стороны в сторону, проговорил:

— А, мсье Мельцони! мсье Мельцони! Нужно поскорее хоть каплю воды...

Они узнали друг друга.

Собственно говоря, никому ничего не было достоверно известно в Неаполе про Мельцони. Жил он, казалось, хорошо, водил знакомство с высшим обществом и с виду имел все данные, чтобы держаться в нем. Он был на короткой ноге со всею знатною молодежью Неаполя, но откуда он явился, чем занимался и какими способами доставал деньги, которыми, однако, как будто не стеснялся, — никто не знал. Правда, никто также не мог заподозрить его в чем-либо нечестном или предосудительном. Он держал себя безупречно. Молодой, бойкий, некрасивый собою, но не безобразный и с оттенком ума на лице, Мельцони мог понравиться с первого раза. Его слегка развязная манера, беглый разговор, казалось, располагали к себе. Он появился в Неаполе года два тому назад и с тех пор успел ужиться здесь и поставить себя на довольно видное место.

К Лагардину-Нике у него было рекомендательное письмо из Парижа от хорошо известного Лагардину человека. Старик принял Мельцони, и тот бывал у него, выражая склонность к тем занятиям, которым был предан сам Нике.

Мельцони в первое время часто посещал старика, беседовал с ним и выказывал большое любопытство к отысканию «красного льва» и деланию золота. Это, казалось, в особенности интересовало его, хотя Лагардин-Нике очень неохотно разговаривал именно об этих вещах, потому что для него самого этот «красный лев», золото и процесс переработки простого угля в алмаз вовсе не были важны. Мельцони скоро надоел ему, и он употребил против него, чтобы отделаться, давно испытанное и верное средство — дал ему денег взаймы. С тех пор они действительно не видались.

Но теперь Мельцони ничуть не сконфузился и не смутился их встречею. Он очень предупредительно засуетился из стороны в сторону, как будто желая всем существом своим помочь Литте, но с грустью признавая свое бессилие.

Лагардин-Нике достал из кармана плоский хрустальный флакон с темною маслянистою, густою жидкостью и, капнув ее себе на ладонь, стал растирать левую часть груди Литты.

Дук ди Мирамаре, не пожалев своего бархатного берета, принес в нем воды, которую отыскал-таки не без усилий.

Лагардин-Нике sprysнул лицо Литты, достал другой флакон, капнул из него на язык больного, и Литта медленно и тяжело вздохнул, видимо, приходя в себя. Старик велел намочить ему еще голову и, когда грудь Литты вторично приподнялась от глубокого вздоха, быстро встал с колен, собрал свои травки и, сказав, что теперь только пусть дадут спокойно Литте отдыхать и что он сейчас окончательно придет в себя, ушел, поспешно кивнув головою в сторону Мельцони,

как человек, которому дорога каждая минута времени.

Его длинная, сухая, черная фигура была видна еще сквозь чащу деревьев на дороге, когда Литта открыл глаза и шевельнулся. Грудь его дышала теперь совсем ровно, и бледные щеки начали розоветь. Он поднес руку к голове, крепко провел ею по лбу и, сожмурив глаза, снова открыл их, затем, поднявшись корпусом, сел, опершись о землю рукою.

— Ну, слава святым угодникам! — проговорил ди Мирамаре.

Литта оглянулся кругом, как бы припоминая, где он, и сился понять, что с ним. Наконец полное сознание окружающего блеснуло в его глазах; он заметил Мельцони, удалившегося к лошадям, узнал своих секундентов и, быстро оправив свою одежду, поднялся на ноги, схватив снова в руки шпагу.

— Не лучше ли отложить, граф? — заявил со своей стороны дук, но далеко не так уже официально, как пред началом дуэли; тем более, что был лишен теперь бархатного берета, висевшего на суку для просушки.

— Нет, что ж откладывать? — как-то рассеянно ответил Литта, выгибая о землю свой клинок и ища глазами противника.

Мельцони подошел не сразу, но все-таки подошел и обнажил шпагу. Он казался очень усталым. Движения его были рассчитанно медленны, и лицо отражало тихую грусть.

Литта чувствовал себя превосходно. Прежнее настроение, какое было в нем пред началом поединка, снова вернулось к нему, несмотря на обморок, и, как ни в чем не бывало, он, будто после отдыха, поймал шпагу Мельцони и заиграл ею, точно фехтуя на уроке со слабым учеником.

Тут только он заметил, насколько Мельцони дрался слабее его. И, не давая уже себе труда, он совсем спокойно повел бой, изредка пытаясь кончить его легким ударом, чтобы дать почувствовать противнику свою силу.

«А, может быть, он обманывает меня, хочет развлечь?» — сообразил Литта и, почти непроизвольно нажав клинок Мельцони ближе к рукоятке, сделал быстрый поворот кистью своей руки.

Шпага вырвалась у Мельцони из рук и, задрожав, отскочила в сторону. Литта приостановился и по обычаю дуэли подал противнику свое оружие, а сам спокойно и неторопливо сделал два шага, нагнулся, поднял выроненную шпагу Мельцони и снова стал на место, опять готовый продолжать бой.

Но, как только Мельцони увидел свою шпагу в руках у Литты, он прикусил губу и нервно заговорил что-то, медля стать снова. «en garde».

— Я жду, синьор Мел цон!, — проговорил Литта.

Его противник сделал неопределенное движение рукою, точно хотел обратно получить свою шпагу, но, видя, что Литта уже поднял ее, морщась, отстранился от вытянутого острия ее и через силу проговорил наконец:

— Довольно... верните мою шпагу... так нельзя... я не могу продолжать дуэль... Будет... довольно...

XVII. У Скавронских

Если мы не можем объяснить себе какое-нибудь явление, не можем понять его, уловить его причинную связь с предыдущими, то называем его «случаем», случайным явлением и, махнув рукою, успокаиваемся, то есть, мол, и рассуждать о нем не стоит. Но как только то же самое явление поддается анализу, тотчас же является на сцену закон, и мы начинаем понимать истинную суть его.

Литта знал, что случайно встретился с молодою русскою графиней, знал, что не мог не идти тогда по узкой улице, не услышать стонов больного, не выле-

читать его и затем, несмотря на полное свое нежелание возобновить знакомство с Скавронским, должен был это сделать, потому что Гурьев не мог не приехать к нему, не мог не представить самых убедительных доводов для сношения Мальтийского рыцарства с Россией, и Литта не мог не поехать в палатцу русского посланника.

Но Литта знал также, что если существует последовательная цепь явлений, в которой люди независимо от себя должны принимать участие своими действиями, то вместе с тем человеку дана свободная воля, чтобы выбрать между двумя сторонами каждого явления, которое всегда и везде двусторонне, то есть между злом и добром.

Не разбирая еще пока, хорошо или дурно он делает, Литта бывал у Скавронских, желал видеть красавицу графиню, говорить с ней и стремиться к ней так же естественно и неукротимо, как растение тянется к свету, человек — из духоты к воздуху, вода течет туда, где глубже.

Скавронская, полагавшая сначала, что она ограничится мимолетным знакомством с мальтийским моряком, заинтересовавшимся ее среди той тоски, однообразия и скуки, которые она испытывала в Неаполе, увидав Литту, невольно пожелала увидеться с ним еще раз, и он, как бы послушный этому ее желанию, явился к ним на другой день...

Когда в день дуэли, кончившейся тем, что Мельцони, испуганный обменом шпаг с противником, извинился пред ним, Литта пришел к Скавронским, графиня встретила его долгим, испытующим взглядом, как бы желая понять без слов, что случилось с ним сегодня...

— Что с вами, графиня? — спросил Литта. — Что вы смотрите на меня так?

Она ответила не сразу.

— Послушайте, — наконец тихо произнесла она, — с вами что-то сегодня случилось... должно было случиться! — поправила она.

Литта знал, что ни по его лицу, ни по глазам, ни вообще по его виду графиня ни о чем не могла догадаться, так как он чувствовал себя бодрым, совершенно здоровым и веселым, и ее замечание удивило его.

— Почему вы так думаете? — спросил он, делая, однако, усилие, чтобы казаться совсем спокойным.

— Я не спала сегодня всю ночь, — проговорила Скавронская. — Это бывает со мною. Под утро мне вдруг показалось, что я вижу вас — так ясно, как живого... Вы были очень бледны... Я страшно испугалась...

Теперь, когда она рассказывала Литте, она была вполне уверена, что видела его сегодня бледного на самом деле, и испугалась этого. Ей казалось, что все было именно так, как она рассказывает, и, рассказывая, она убеждалась еще больше в справедливости своих слов.

— Я невольно вскочила, — продолжала Скавронская. — Это был, правда, один миг, но я вас видела, положительно видела! — повторила она...

Они сидели на веранде, обвитой узорною зеленью винограда и выходившей в сад, в котором благоухал вечерний аромат цветов; Литта, за минуту пред тем отнюдь не желавший говорить о том, что было утром, помимо себя сейчас же рассказал все подробности поединка, кроме, разумеется, причины, вызвавшей его.

Скавронская слушала, не перебивая, слушала, но вместе с тем заставляла невольно понимать себя. Это взаимное понимание, этот разговор без слов, этот непостижимый обмен мыслей при помощи взгляда, улыбки начались у них сами собою, чуть ли не со второго дня их знакомства. Им же казалось, что они давным-давно понимают так друг друга.

Литта очнулся лишь на улице и тут только вспомнил, что его давно ждет шляпка с корвета.

— Что ж это со мной? — спросил он себя, отойдя несколько шагов от дома Скавронских и останавливаясь. — Боже мой, но как хороша, как хороша! — прошептал он и, завернувшись в плащ, большими, неровными шагами направился к набережной.

XVIII. Письмо

«С первой же минуты, как я увидела Вас, — стала писать Скавронская по-французски, и слова у ней быстро шли одно за другим, не останавливаясь, потому что мысль бежала слишком скоро и рука едва поспевала за нею, — как только мы встретились (я помню живо этот день и час), я почувствовала, что в Вас в первый раз в жизни встретила человека, который для меня слишком выдавался среди людей, был более чем замечен... Вы приехали на другой день, потом опять. Мы сблизились, как только, узнав друг друга, поняли, что мы давно знакомы... Я не знаю, но я по крайней мере думала так...

Ваши рассказы, которых я не могла не слушать с живым вниманием, Ваш смелый разговор, манера, вечная Ваша борьба и деятельность невольно притягивали к себе.

Сначала я думала, что это — простое любопытство, простой интерес во мне, потом я ничего не думала, только ждала Вашего прихода и невольно оживлялась, когда Вы были тут. Наконец, сегодняшний вечер уяснил мне многое... Я поняла, что мы оба — я, замужняя женщина, обязанная сохранить честь имени, которое ношу, и связанная навсегда с человеком, которого пред Богом и людьми назвала моим мужем, Вы — связанный тоже обетом, вы, честный человек, неспособный на ложь и обман, — мы оба, повторяю, были на скользком пути...

В настоящую минуту я как-то безжизненно спокойна и, мне кажется, могу рассуждать, по крайней мере хочу делать это; но пройдет еще немного времени, и, я чувствую, всякое благоразумие оставит меня.

Может быть, уже то, что я сейчас сказала, выходит за пределы этого благоразумия, но я не вольна над собою. Я решилась написать Вам, потому что мы не должны видеться; я знаю, что Вы, как честный человек (другим Вы и быть не можете), поймете меня и поступите именно так, как Вас заставят поступить Ваша честь и просьба женщины, которая доверилась Вам.

Я пишу Вам, потому что верю в вас и люблю... Да, я люблю Вас... пусть это будет вам известно, но молю Вас именно этой любовью: уезжайте, уезжайте как можно скорее и не ищите встречи со мною! Согласитесь, что после этого письма она невозможна и невысказана.

Прощайте навсегда... уничтожьте это письмо. Я не ошибаюсь в себе и твердо уверена, что не ошибусь и в Вас».

XIX. Арест

Литта стоял на высоком юте своего корвета, опираясь о борт, и смотрел, не спуская глаз, на белеющий амфитеатр Неаполя, постепенно убегающий вдаль.

Сегодня утром, когда он подошел на шляпке к берегу, у пристани ждал его конюх Дмитрий, которого он вылечил и теперь узнал сразу. Дмитрий делал ему знаки рукой и, когда Литта подошел к нему, незаметно сунул ему в руку письмо, а затем, сняв шапку и не сказав ни слова, пустился от него в сторону.

Он не радовался и не огорчался; он сам не мог дать себе отчета в том, что происходило в нем; он только

читал и не имел силы оторваться от милых ему строк. Он чувствовал, что эти строки и милы, и дороги ему, что в них была новая жизнь, новая, незнакомая до сих пор радость и вместе с тем страшное, невыразимое мучение.

Что было делать ему? Конечно, прежде всего исполнить волю графини, исполнить то, что требовала она, потому что так, именно так следовало поступить.

Но Литта видел, что те силы, на которые он надеялся, готовы были оставить его. На него минутами находила сумасшедшая решимость кинуться к Скавронской, увидеть ее еще раз теперь, когда она получила для него значение жизни, значение всех радостей и счастья, о котором только может мечтать человек.

Делать было нечего — нужно было решиться на что-нибудь, и Литта, неспособный на долгие колебания, решился. Он вышел на палубу. Ветер, как нарочно, засвежел в эту минуту; взяв рупор, Литта отдал приказание поднять паруса.

Никуда не заходя по пути, при неизменно попутном ветре они пришли к Мальте.

Энцио всю дорогу не выходил из своей каюты под предлогом болезни. Литта не мешал ему.

Приведя свой корвет в гавань, граф подал рапорт, составил краткий отчет и пошел к приору своего языка, однако не застал его на Мальте. Все это он сделал машинально, совсем бессознательно, по привычке к дисциплине, которая с детских лет укоренилась в нем.

Мальтийские рыцари, когда бывали на своем острове, должны были жить в общем конvente. По статутам ордена, они были обязаны пробыть здесь хотя бы в разное время, но в общей сложности не менее пяти лет.

Давно знакомая, размеренная по часам, строго определенная жизнь, охватившая теперь Литту, произвела на него совсем особенное впечатление... Несмотря на свое душевное состояние, он все-таки почувствовал себя «дома», в родной семье, среди товарищей, сейчас же окруживших его и начавших свои расспросы и рассказы.

Но все эти новости про последние посвящения, про распоряжения великого магистра, про схватки с алжирцами, прежде живо всегда интересовавшие Литту, теперь показались ему неинтересными, и он сам невольно удивился тому, с каким равнодушием он выслушивал теперь об этом и не находил нужных слов и вопросов, чтобы вызвать новые рассказы.

Сам он, несмотря на довольно продолжительную отлучку с острова, тоже, казалось, не мог ничего рассказать: теперь все было для него слишком просто, слишком буднично, все, кроме его внутреннего страдания, о котором он только и мог бы говорить, но, разумеется, ни за что никому не хотел открывать его.

Братья ордена достойно и твердо вынесли испытание любви; не поддавшиеся ей получали новую силу, и им открывались дальнейшие знания. Но Литта был еще в чаду своей страсти и боролся с собою, стараясь превозмочь ее. Он должен был превозмочь если не ради своего орденского повышения, то ради той, которая была навек связана с другим человеком и жизненный путь которой сошелся с его собственным, врезался в его жизнь, пересек ее и снова разошелся, чтобы никогда уже не сойтись, оставаясь прямым, а, напротив, расходиться все больше и больше. Для того чтобы сойтись им вновь, нужно было именно свернуть и ему, и ей с прямого пути.

«Боже мой, Боже мой! — продолжал мучиться Литта. — И как это надвинулось, словно грозовая туча, и заслонило все!.. И как это пережить одному человеку!»

И ему невольно вспомнилась шестая аркана тайной книги, которую он знал наизусть:

«Берегись! Остерегайся своих решений! Пусть препятствия заграждают тебе путь к счастью. Противное течение готово увлечь тебя, и воля твоя колеблется между двумя противоположными сторонами. Колебание, однако, будет для тебя так же пагубно, как и плохой выбор. Иди вперед или вернись, но помни, что пути, сплетенные из цветов, трудней разорвать, чем железную цепь!»

Литта остановился и опустил голову.

Песок дорожки заскрипел в это время под мерными шагами приближавшихся к нему людей. Это был рыцарь в полном вооружении с двумя следовавшими за ним солдатами.

«Что это? Дозор или смена стражи?» — подумал Литта и, поморщившись, что ему помешали, стал ждать, пока они пройдут.

Но офицер шел прямо к Литте. Он подошел прямо к нему, как будто именно его и искал.

— По повелению великого магистра, — сухо произнес рыцарь, приближаясь к Литте и стараясь делать вид, что говорит теперь не с товарищем, но с совершенно посторонним лицом, — позвольте вашу шпагу и следуйте за мною.

Литта послушно последовал за ним. Он понял, что дело шло о нарушении им каких-нибудь статуты, и для него, хорошо знакомого с жизнью и обычаями конвента, внезапный арест ничуть не показался странным.

В случае надобности арест рыцаря всегда происходил внезапно, и его тотчас же вели к судейской комиссии, назначенной заранее великим магистром для данного дела. Дело обыкновенно подготавливалось тайно и формулировалось раньше, арестованного немедленно приводили к судьям, чтобы не дать ему времени одуматься и тут же снять с неприготовленного первый допрос, считавшийся самым важным.

Очевидно, во время отсутствия Литты произошло что-нибудь, касающееся его, и только ждали его возвращения в конвент, чтобы произвести арест и следствие.

Они прошли маленькою железною дверью прямо из сада в длинный каменный коридор и стали подыматься по бесконечным переходам замка.

XX. Суд

Литту ввели в большой, крашенный восьмиконечными мальтийскими крестами зал с высокими готическими окнами, где собирался совет ордена и где заседал обыкновенно капитул.

Посредине, под портретом великого магистра ла Валетта, в честь которого называлась и столица Мальты, основанная им, стоял широкий стол под красным покрывалом с белыми крестами. На столе было три канделябра с восковыми свечами, освещавшими комнату.

Судьи, которых Литта узнал сейчас же, сидели в высоких дубовых креслах. На месте председателя был почтенный епископ ордена — человек, всеми уважаемый. По правую руку от него сидел барон Гомпеш — представитель немецкого языка, по левую — сморщенный старик, постоянно щурившийся из-за темных очков свои маленькие глазки. Литта вспомнил, что этот старик принадлежал к числу тех братьев ордена, про которых ходил слух, что они состоят тайными членами общества Иисуса (ордена иезуитов).

Литта вошел совершенно спокойно, как будто дело вовсе не касалось его, уверенный, что все это — не что иное, как недоразумение, которое сейчас же объяснится.

— Граф Джулио Литта, вы желаете себе защитника или будете сами говорить за себя? — вкрадчиво, почти ласково спросил его епископ.

При появлении Литты судьи встали, и он стоял пред ними посреди залы.

— Я не знаю, в чем меня обвиняют, — пожал плечами граф, — и не припомню за собой никакой вины, а потому не думаю, чтобы была надобность в защите.

— Тем лучше для вас, — по-прежнему произнес епископ, — вам сейчас скажут, в чем состоит обвинение, — и, развернув лежавший перед ним свиток, он прочел от имени великого магистра, что его преосвященнейшее высочество поручает ему, епископу ордена, совместно с двумя членами (он назвал их по именам, поклонившись слегка в сторону каждого), разобрать дело брата Джулио Литты по обвинению его в нарушении орденовских обетов.

Граф с нескрываемым любопытством прослушал чтение, все-таки не понимая, в чем, собственно, будут обвинять его.

Епископ, по обряду, пригласил судей к их обязанности, и они передали ему свои кошельки с пятью золотыми монетами в знак своего полного беспристрастия и отречения от всяких расчетов при произнесении ожидаемого от них приговора. Затем епископ и судьи сели.

— Вас обвиняют, граф Джулио Литта, в нарушении рыцарских обетов. Готовы ли вы защищаться против этого обвинения? — спросил епископ официальным голосом.

— Какое нарушение? Кто, в чем меня обвиняет? Пусть придут и скажут мне прямо.

— Велите ввести обвинителя! — тихо сказал епископ, обращаясь к сидевшему отдельным столиком секретарю.

Этот тихий, мирный голос подействовал несколько освежающе на Литту, и он с любопытством стал ждать, какой такой обвинитель явится пред ним.

Секретарь, видимо, старавшийся только об одном, как бы не упустить благовидного предлога, чтобы выказать пред начальством свою деятельность, поспешно махнул рукою в сторону двери.

Часовой, стоявший возле нее, распахнул дверь, и в зал вошел смелыми шагами, приблизившись к столу, Энцио. Литта не мог удержать невольную презрительную усмешку.

Епископ, как бы не обращая внимания на вошедшего, не торопясь перебирал лежавшие пред ним подшитые одна к другой разноформатные бумаги, перелистывая их. Энцио стоял не смутившись и ждал с уверенностью в правоте своего дела. Наконец, епископ поднял голову и взглянул на него.

— Готовы ли вы подтвердить присягой и клятвой донос ваш? — спросил он, и голос его прозвучал торжественно и внушительно.

— Готов, — ответил Энцио.

— Но помните, что если этот донос окажется несправедливым и если вы взвели на рыцаря ордена ложное обвинение, вас ожидает беспощадное наказание. Подумайте — время еще есть, — готовы ли вы ответить собственною головою за свой донос.

— Готов! — во второй раз ответил Энцио.

Епископ спросил в третий раз:

— Помните, что из этого зала должен выйти кто-нибудь виновный: или вы, или тот, кого вы обвиняете. Готовы ли вы решиться на это?

— Готов! — в третий раз ответил Энцио.

— Повторите же ваше обвинение! — предложил ему епископ, откидываясь на спинку кресла и поправляя висевший на его груди крест.

Энцио как будто ничего лучше этого и не ждал: забрав грудью воздух и прямо, по-военному, глядя на епископа, он заговорил ровно, слегка возвысив голос:

— Я утверждаю, что граф Литта — пусть Святая Мадонна будет свидетельницей — нарушил данный им

обет целомудрия... В Неаполе мы напрасно потеряли много-много времени вследствие того, что командир, граф Литта, проводил открыто свои дни у графини Скавронской, жены русского посланника, и даже по вечерам, то есть поздним вечером.

— Это — ложь! — воскликнул Литта.

Припадок бешенства душил его.

Гомпеш взял пачку бумаг и, выбрав одну из них, стал читать:

— Восемнадцатого декабря вы первый раз были в доме русского посла и пробыли восемь часов. Правда это? — спросил он Литту.

Тот постарался припомнить и ответил:

— Может быть.

— Деятнадцатого, на другой день, — продолжал Гомпеш, — вы пробыли там пять часов, двадцатого — шесть, двадцать первого — три, — и Гомпеш прочел самый подробный счет времени, которое Литта провел у Скавронских.

Граф, не ожидавший, что за ним следили таким образом, должен был замолкнуть и подтвердить этот счет, удивляясь, однако, теперь, что каждый день действительно бывал у Скавронских и подолгу. В Неаполе это совершенно не было заметно.

Энцио между тем начал рассказывать длинную и запутанную историю мнимых отношений Литты к Скавронской и божбою на каждом почти слове подтверждал свой рассказ. Все это была самая беззащитная, самая наглая выдумка.

— Теперь вы слышали обвинение, — проговорил епископ, обращаясь к Литте. — Что вы можете сказать против него?

Граф отнял руку от лица и поднял голову.

— Все это — ложь... ложь такая, с которой трудно бороться и гадко, — проговорил он. — Рассказ этого Энцио голословен, ничем не подтвержден, и весь вопрос сводится к тому, чьим словам вы больше дадите веры: моим ли, как рыцаря, или его словам, как моего подчиненного.

При слове «подчиненный» Энцио задержался весь и замахал руками, хотел заговорить, но его остановили.

— Но чем же вы объясните ваши частые посещения русского посла? — спросил опять Гомпеш у Литты.

Графу очень легко было сделать это.

XXI. Дело выясняется

Известный в истории князь Януш Острожский в начале XVII столетия, в 1609 году, учредил родовой майорат под именем «Острожская ординация». Эти имения, расположенные в лучшей части Волыни, давали до 300 000 золотых в год.

По воле завещателя, в случае пресечения рода, майорат должен был перейти в собственность Мальтийского ордена.

Впоследствии Острожская ординация досталась по женской линии Сангушкам. Но и их род пресекся. Последний же из Сангушков — Януш — вел широкую жизнь и, не обращая внимания на закон о майорате, преспокойно продавал и раздаривал его земли, так что когда после его смерти явились за наследством мальтийцы, то оно оказалось в таком виде, что собрать его было весьма затруднительно.

Тогда-то на помощь им пришла императрица Екатерина II, приказавшая своему послу в Варшаве поддерживать права ордена.

Благодаря этому в Польше образовалось новое великое приорство, и польский сейм постановил ежегодно отпускать в пользу Мальтийского ордена 120 000 золотых, сами же земли Острожского остались в ведении Речи Посполитой.

— Все это так, — проговорил Гомпеш, когда Литта напомнил своим судьям эту историю, — но почему же именно вы, граф, затеяли переговоры об Острожской ординации с послом России в Неаполе?

— Чтобы найти верный путь возвратить ордену его земли, — ответил Литта.

— Но почему же, — спросил опять Гомпеш, — вы именно... со Скавронским, — он заглянул в бумаги и оттуда прочел это имя не без труда, — затеяли переговоры?

— Потому что граф Скавронский женат на родной племяннице князя Потемкина, первого вельможи при русском дворе, — снова ответил Литта.

Судьи стали шептаться между собою.

Епископ просматривал пачку бумаг, содержавшую подробное описание пребывания Литты в Неаполе. Тут были и письма Энцио, и его собственные донесения, и донесения других лиц.

— Мельцони пишет, — тихим шепотом проговорил второй судья на ухо председателю и подsunул ему еще пачку писем.

Епископ стал перебирать их.

Энцио смотрел дерзко, вызывающе, прямо в лицо Литты. Последний, не выдавший его в последние дни, в течение которых тот сидел у себя в каюте и не показывался командиру, удивился происшедшей в нем перемене. В особенности глаза Энцио были странны: мутные, с расширенными зрачками, они бегали беспокойно из стороны в сторону с явною тревогой и беспокойством.

«Да не рехнулся ли он?» — подумал Литта и стал приглядываться к штурману, припоминая отдельные фразы, изредка прежде прорывавшиеся у него, его недовольство и вообще все отношения его к себе, на которые он до сих пор не обращал внимания.

Он сделал два больших шага, испытующе уставившись взором в эти бегающие глаза Энцио, и, приблизившись к нему, шепнул чуть слышно:

— Ну, когда же ты будешь командиром корвета?

Левая щека Энцио быстро задрожала при этих словах, он отмахнулся рукою и, неожиданно ослабев, обратился к судьям:

— А я еще имею сказать — и это главное, господа судьи. Уж если быть откровенным, так я буду до конца! Вы знаете, благодаря интригам графа Литты — пишите, господин секретарь, — обратился он к последнему, — это очень важно! Да, так из-за интриг графа Литты я не могу до сих пор получить командование судном... А ведь я имею право, потому что, если старинное мое дворянство еще не доказано, то, во всяком случае, мои заслуги очень велики... к тому же мне обещано...

Литта попал на конек Энцио, угадав по его глазам и по предшествующему его поведению, с каким человеком он имеет дело, и Энцио, коснувшись своего конька, стал заговариваться. Слова его полились неудержимо, он не мог уже остановиться. Он с такою же уверенностью, как только что рассказывал про мнимые вины Литты, начал укорять, что командование корветом обещано ему самим «Пелегрино», который приходил к нему ночью и сказал, что никто другой не должен распоряжаться корветом, кроме Энцио, и что если граф Литта будет мешать ему, то он изведет его.

Судьи удивленно, не двигаясь смотрели на Энцио, епископ улыбался, переводя глаза с штурмана на Литту. На лице иезуита было смущение, а Энцио все более и более горячился, махал руками, захлебываясь, глотая слова и не договаривая, продолжал свой рассказ.

Литта, отойдя назад, со спокойной улыбкой скрестил руки на груди.

Секретарь, перестав записывать, вопросительно посмотрел на председателя, но тот кивнул ему головою,

и он снова заскрипел пером, подхватывая на лету слова Энцио.

Тот же самый рыцарь, который арестовал Литту, с тем же самым строгим, деловым выражением отвел его опять по длинному коридору в отдельную комнату.

Тут было чисто прибрано. К стене было прикреплено большое распятие со скамеечкой для молитвы. Стояли стол с бумагой и принадлежностями для письма, два стула и чистая постель.

— Граф Литта, — спросил его рыцарь, и Литта невольно заметил, как он, вероятно, в первый раз исполняя возложенную на него обязанность, старался не ошибиться и не упустить чего-нибудь, — дайте вы слово рыцаря, что не выйдете из этой комнаты до тех пор, пока вас не позовут?

— Даю! — ответил Литта, которому вся эта процедура начинала уже надоедать.

Рыцарь поклонился, осмотрелся кругом, как бы ища, не нужно ли еще исполнить чего-нибудь, и ушел, не утерпев, однако, улыбнуться на прощание Литте, как бы говоря:

«Я отлично понимаю, что мы — товарищи, да не могу же я не исполнить своего долга».

Литта ничем не ответил на эту улыбку.

Дверь осталась не запертою, окно было тоже отворено, комната помещалась в нижнем этаже, но слово рыцаря, обещавшего не выходить из нее, должно было быть крепче всяких замков.

XXII. Бред Энцио

Из зала суда Энцио был отведен тоже под конвоем в подвальный этаж, где двери запирались на тяжелые замки и в окна были поставлены толстые решетки.

Вот наконец последний раз стукнул замок, тюремщик загремел ключами, собирая их, по каменным плитам коридора зазвучали удаляющиеся шаги. Наступила полная, мертвая тишина.

Из высокого, так что нельзя было достать его, оконца, проделанного как раз под самым сводом, пробивался лунный свет и, ложась ровным, ясным четырехугольником с точно повторенным узором решетки на каменный пол, серебрил своим задумчивым матом сырые своды.

Энцио, хитро улыбаясь, оглянулся и подмигнул себе левым глазом. Он подошел к двери, попробовал, крепко ли она заперта, и снова прислушался, действительно ли удалились шаги в коридоре.

Дверь крепко держалась на своих замках и засовах, и все было тихо кругом.

Энцио, оставшись этим очень доволен, размахнул руками и на цыпочках обошел камеру, бормоча и жестикулируя. Время ему терять было некогда. Час наступил лунный — сегодня было благоприятное число, и «действие» должно было оказаться удачным.

Штурман поспешно скинул верхнюю одежду, распол подкладку и, нащупав кусок сложенного три раза пергамента, достал его. Из кармана он вынул кусок алебаstra, обточенный в трехгранную призму, а потом, забрав эти вещи, вышел на середину камеры, стал спиной к свету и, расстегнув ворот рубашки, раскрыл его. На груди у него вместо креста было надето окаянное изображение человеческого греха. Энцио поправил его не глядя. Руки его начинали дрожать, глаза блестели, и подбородок с клочком волос ходил из стороны в сторону.

Все это штурман проделал совершенно точно, как было указано в черной книге некромантии, которая была тщательно запрятана в его каюте на корвете и которой он не выпускал из рук все последнее время, сидя запершись у себя.

Сегодняшний день и час у него были вычислены

заранее. Сегодня в сфере, на которую Энцио мог распространить свое влияние, должны были находиться два могущественных духа: Эгозеус и Периоли. Он нашел их имена и заклинания, которым они не могли не подчиниться.

Энцио взял в левую руку алебастровую призму, присел слегка и по радиусу на высоте человеческого сердца начал ровным кругом обводить, назад от себя, то место, на котором стоял. Губы его поспешно шептали бессвязные, непонятные слова.

Окончив круг, он приподнялся, взял призму в правую руку и начертил ею внутри круга треугольник около своих ног, так что основание его проходило у пяток, а вершина была обращена вперед, на две ступни расстояния. Потом, продолжая шептать, он быстро поставил между кругом и треугольником несколько черт и знаков и перебрал через левое плечо назад алебастровую призму.

Наконец он выпрямился, развернул пергамент и стал читать нараспев заклинания с определенным ритмом и ударением. В этих заклинаниях он призывал духов на себя, на свою голову, отдавал им свою душу и всего себя, слова были страшны, и клятвы, которые он произносил, богохульны и нечестивы. Этого тоже требовала книга. Нужно было призвать духа на себя, обмануть его, потому что магический треугольник образовывал вокруг заклинателя непроницаемую преграду для духа, о которую все усилия последнего разбивались, и он не мог коснуться человека, стоявшего в треугольнике, если только тот не оборачивался и не выходил за пределы круга. Вызванного таким образом духа нужно было поработить, для чего имелись также особые слова и движения.

Энцио стоял твердо, опираясь на всю ступню, и повторял мерным, певучим голосом свои заклинания.

Мало-помалу воздух вокруг него начал редеть, и словно какое-то мелькание показалось в нем. Это мелькание перешло затем в более плавное движение, и со всех сторон потянулись волнистые нити. Энцио увидел, что «началось», но не испугался — он всего этого ждал.

Нити колебались, и пухли, и шли вверх с тем движением, как лебедь расправляет свою шею. Вместо белого лунного света все стало окрашиваться в красный цвет, и тогда вместо нитей воздух закишел безобразными и отвратительными существами.

Энцио знал, что это были ларвы — земные полудухи, исчадие человеческой крови. Он не хотел их. Они пытались ринуться на него, но, разлетевшись спереди, ударились об острие треугольника и скользнули по его сторонам, как волны у упоров моста, не причинив вреда Энцио.

Он увидел, что магическая сила треугольника действительна и треугольник составлен правильно. Нужно было лишь все время стоять лицом к его вершине, потому что нападение могло быть произведено только спереди, а отразить его могла лишь вершина треугольника. Он произнес проклятие ларвам, которые не могли быть пригодны ему, и они исчезли.

Сероватая мгла сменила красный цвет, и Энцио, широко раскрыв глаза и подняв брови, продолжал свои заклинания. Однако несколько минут ничего не было. Штурман настойчиво продолжал свое дело. Он желал добиться явления, желал подчинить себе неестественную силу, чтобы получить могущество, которое и отопрет ему двери тюрьмы, и даст силу обвинить ненавистного командира и все, чего пожелает он.

В стороне, не то под сводом, не то в правом углу мозга, пронеслась какая-то тень, мелькнуло воронье крыло, сгорбленный, мохнатый карл прошел из одной стены в другую. Однако все это было не то.

Простые заклинания все были испробованы. Энцио удвоил их.

Сзади послышались какая-то возня, шуршание, шелест. Энцио не оборачивался. Страх скользнул в его сердце. Оно было холодно, точно кусочек льда оставился в груди на его месте.

Энцио знал, что страх тут опаснее всего, и постарался прогнать его.

Где-то невдалеке раздался звенящий звук, точно лопнувшей струны — и все стихло. В темном углу, налево, заколебалось что-то прозрачное, бесформенное, переливавшееся в воздухе, как жидкость. Потом оно стало сгущаться и приняло наконец форму несколько удлинненного шара. Он блестел противным, синевато-золотым отливом, как осадок грязного масла на воде.

Шар медленно стал приближаться, и по мере его приближения устанавливалась какая-то неуловимая связь между ним и Энцио. Они понимали друг друга. Это было то самое, что звал Энцио, — Периоли.

Дух казался принижен: он видел, что заклинатель неуязвим для него.

Периоли задрожал и перестал быть видимым, но Энцио знал, что он здесь и что стоит ему захотеть — он снова увидит его.

Энцио закрыл глаза и начал последнее, самое страшное заклинание. Дыхание совсем сперло ему, как будто чувствовался кругом удушливый, смердящий запах серы.

Он открыл глаза, и волосы невольно зашевелились у него на голове: прямо на него из темной, зияющей, как пропасть, глубины, несся огромный всадник на огненном коне, совершенно такой, каким был изображен в черной книжке Эгозеус. Он с дикою ненавистью, злобой и бешенством кинулся на Энцио и, удравшись о сферу треугольника, отшатнулся, но затем снова стал нападать, звеня своим оружием.

Этот ужасный вид и морда огромной фыркавшей лошади в каких-нибудь двух шагах были невыносимы для Энцио; он боялся пошатнуться; но чем дальше читал он заклятия против Эгозеуса, тем более свирепел ужасный всадник. Наконец Энцио не выдержал и, вытянув вперед, наравне с плечом, правую руку с выпрямленным указательным пальцем, прикоснулся к ней у локтя левою, тоже подняв ее в одну плоскость с плечом: это был последний символ защиты. Дух исчез.

На месте его явился снова шар Периоли. Он начал, опять посредством своей связи с Энцио, убеждать его обернуться, внушал ему, что он уже поработен им и что теперь Энцио нечего опасаться. Но тот, остановившись немного, снова забормотал заклятие, которое нужно было повторить семьдесят три раза. Тогда дух в его власти.

Периоли говорил, что, обернувшись, Энцио увидит, что ожидает его впереди. Но Энцио не соблазнился.

Тогда вдруг все страхи исчезли, и вместо каменного свода раскинулся сад, зажурчали фонтаны, невиданные цветы закачались на пышной зелени, послышалась невидимая, чарующая музыка и появился роскошный стол, уставленный яствами и питьем. Чудесные плоды, вина в граненых хрустальных графинах манили к себе. Энцио чувствовал голод, ему давно хотелось пить, но он сделал над собою усилие и не вышел из заколдованного круга.

Стол исчез, и на его месте явилась дивной красоты женщина. Распустив свои волнистые волосы по плечам, она полулежала на широкой бархатной подушке и звала к себе.

Энцио закрыл глаза, чтобы не глядеть на видение, но и с закрытыми продолжал видеть тот же сад и женщину и слышать ее призыв. Он двинулся невольно вперед. Она протянула к нему руки. Но он все-таки не вышел из круга, и губы его шептали еще магические слова.

Тогда все снова пропало, и вокруг Энцио рассыпались кучи золота. Ровные, блестящие червонцы засверкали и зазвенели, подкатываясь почти к самым ногам штурмана. Руки его затряслись, и глаза разбежались при виде несметного богатства, которым он мог завладеть, и страшная борьба завязалась в его душе. Он мог горстями, лопатой, как хотел, загрести все это золото и при его помощи овладеть целым миром.

Соблазн был слишком велик. Энцио показалось, что он, опьяненный, делает шаг вперед, и участь его была решена.

На другой день, когда Энцио принесли воду и хлеб, его нашли мертвым в углу камеры. Он лежал ничком на полу со скорченными от судороги руками, вдали от начертанного им на средней плите круга с таинственными знаками.

XXIII. Великий магистр

Литта провел ночь спокойно, если можно только назвать спокойствием полную неподвижность, происходящую оттого, что все нервы так натянуты, так болезненно раздражены, что малейшее движение становится чувствительным.

Наутро, с восходом солнца, постучали в дверь графа. Он все еще не спал.

— Именем великого магистра, — проговорили за дверью...

— Войдите, — ответил Литта.

Вошел добродушный итальянец, один из командиров ордена, и, как привычный человек, с веселою, ободрающею улыбкою протянул руку Литте, а затем крепко и дружески поздоровался с ним.

— Ну, что, не спали?... Ну, ничего, пройдет, выздоровеете! Ну, пойдете, меня прислали за вами!

Литта хотел спросить — кто прислал, но сейчас же забыл об этом желании и никак не мог вспомнить, что нужно было сделать ему.

Командор был, видимо, добрым, хорошим человеком и очень понравился Литте.

— Ну, идемте! — сказал командор, и граф так же послушно отправился за ним, как шел вчера за исполнительным молодым рыцарем.

Жизнь в конvente начиналась рано. Все вставали с восходом солнца, и замо́к уже шевелился, когда Литта, следуя за командором, проходил по его переходам и залам. Однако командор выбирал нарочно такой путь, где никто не попадался навстречу.

Они пришли наконец-то в длинную, увешанную портретами галерею, которая вела (Литта знал это) прямо в библиотеку великого магистра. Часовой, стоявший тут, загородил им дорогу алебардой.

— Пропуск? — спросил он.

— «Будь смел со львом, и лев тебя будет бояться», — ответил командор, не замедляя шагов, и алебарда поднялась и пропустила их.

На конце галереи командор постучал в дверь три раза, и на его стук вышел кастелян великого магистра и, кланяясь, оглядел Литту с ног до головы. Командор пошептал с ним и, когда тот ушел, опять обратился к Литте:

— Подождите... сию минуту!

Через несколько времени дверь опять отворилась, и кастелян махнул рукою Литте.

Тот вошел в библиотеку. Кастелян подвел его к маленькой двери в противоположной стене и растворил ее. Граф перешагнул порог и очутился в огромном кабинете великого магистра.

Глава мальтийцев, почтенный, маститый старец, Эммануил Роган, сидел в широком кресле, обитом красным сукном, с белым крестом на спинке. Он сидел

у стола с бумагами и, спокойно положив обе руки на локотники своего большого кресла, казалось, ждал прихода Литты. Он смотрел своими умными проницательными глазами прямо на дверь, когда вошел граф.

Литта приблизился к старцу и, по правилам орденского этикета, преклонил колено и поцеловал руку великого магистра.

Когда он поднялся, Роган сделал ему знак рукою, что он может сесть против него. Литта почтительно опустился на стул.

Великий магистр долго не начинал разговора. Казалось, он, нарочно медля, вглядывался в лицо рыцаря, стараясь этим взглядом проникнуть в самую его душу и прочесть его сокровенные мысли. Литта спокойно выдерживал этот взгляд.

— Ты, говорят, вступил в переговоры с русским послом в Неаполе? — проговорил наконец Роган, как бы приходя в себя после раздумья, в которое был погружен, и, поправившись на месте, запахнул свой длинный черный бархатный кафтан, подбитый горностаем.

— Да, отец, — тихо ответил Литта.

Рыцари в частном разговоре с великим магистром называли его вместо титула прямо «отцом». Разговор шел по-французски.

Роган наклонил голову, а затем спросил:

— Посол женат на племяннице русского вельможи?

Литта выпрямился и заговорил смело и твердо:

— Да, отец, на родной племяннице. Вчера на суде я не мог сказать все, потому что это был суд, а не исповедь рыцаря; правда, я вел переговоры с русским послом, и это было сначала единственной причиной, по которой я поехал в его дом, — меня позвали туда, я сам не хотел ехать. И вот судьям я указал только на эту причину, чтобы выгородить имя женщины, которая не заслуживает упрека. Сделанный на меня донос — клевета. Я знаю, отец, вы верите, что мной не нарушено орденской клятвы, иначе вы не призвали бы меня к себе...

— Верю, — произнес Роган.

Литта глубоко вздохнул и продолжал:

— Да, я не нарушил клятвы, но испытание, которому я подвержен теперь, слишком тяжело, отец!

— Всякое испытание тяжело, — задумчиво проговорил магистр. — Жить — значит «страдать», а страдать — значит копить себе душевное богатство. Наслаждения рассеивают и заставляют беднеть. Всякая боль, принятая с терпением, — сделанный шаг к цели... Пусть воля не дремлет, и чем больше победит она препятствий, тем сильнее станет она.

Литта потупился; он чувствовал, что сердце его борется с разумом.

— Брат Литта, — вдруг заговорил Роган, оживляясь, — вспомни те испытания, которые ты перенес уже, вспомни, из какой борьбы ты вышел уже победителем! Неужели на этот раз ты устроишься, потому что страх есть усыпление воли? Сколько раз ты не дрогнув шел на смерть; неужели теперь у тебя недостанет духа идти навстречу женской лукавой прелести?

— На смерть легче идти, — вздохнул Литта.

— Может быть, — не спорю. Но, если бы испытания твои казались легки, тогда не были бы они испытаниями. Я должен был назначить над тобою суд, потому что донос все-таки существовал и с ним нужно было кончить. Главный виновник клеветы получил уже сам от себя наказание. Но дело не в том. Могу ли я быть уверен, что и на будущее время ты не изменишь своему долгу и обету?

Литта ответил не сразу.

— Я не могу изменить ему, я должен быть верным слугою ордена, — проговорил он наконец.

— Так помни же свой долг! — ответил Роган. — Я всегда ценил тебя и отличал твои заслуги.

Теперь магистр уже ласково смотрел на Литту, как бы окончательно уверившись в нем.

Граф встал, но медлил уйти.

— Ты мне хочешь сказать что-нибудь? — спросил Роган, отвернувшись было уже к своим бумагам.

— Вот что, отец, — заговорил Литта, — если действительно мои заслуги принесли ордену хоть каплю пользы, то, в уважение к ним, исполните мою последнюю просьбу.

— Какую просьбу? — переспросил Роган.

— Пошлите меня куда-нибудь подальше, чтобы мне не оставаться в Средиземном море, где я должен буду заходить в Неаполь. Мне не хотелось бы находиться поблизости его.

Роган задумался. Он долго-долго молчал, наконец поднял голову и ответил:

— Хорошо, я пошлю тебя в Балтийское море. Русская государыня, которую я уважаю и желание которой хочу исполнить, зовет мальтийцев к себе на службу. Она нуждается в опытных моряках. В числе нескольких других я пошлю тебя.

— Опять Россия! — прошептал Литта.

Роган строго взглянул на него. Этот шепот был почти протестом его распоряжению.

— Ты отправишься в Балтийское море! — повторил он так, что Литта мог только молча преклонить колени и выйти из комнаты.

Выйдя от великого магистра, Литта получил обратную свою шпагу.

На другой же день был отдан великим магистром формальный приказ о назначении нескольких рыцарей в русскую службу. Имя Литты стояло первым в списке, и он стал собираться в далекое путешествие.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. Утро Екатерины II

К зиме 1795 года здоровье императрицы Екатерины II несколько пошатнулось. Она чаще стала страдать своими головными болями, у нее явились припадки, колики и стали опухать ноги.

Прежде она вставала в шесть часов утра и одна, не желая будить слуг, управлялась в спальне и ждала, пока ей принесут кофе. Теперь она вставала на два часа позднее — в восемь, соблюдая диету, хотя не могла отказать себе в удовольствии пить по утрам страшно крепкий кофе, одна чашка которого наваривалась из целого фунта.

Екатерине II шел уже шестьдесят седьмой год, но, когда она появлялась на выходах, пред двором, или выезжала утром прокатиться по городу, что, впрочем, случалось редко — не более четырех раз в зиму, — вид ее был бодр и осанка по-прежнему горделива и величественна. Она внимательно следила за толками о ее здоровье и, как только эти толки начинали принимать хотя бы несколько тревожный характер, спешила предпринять что-нибудь, чтобы рассеять их.

Благодаря ли этому или вообще вследствие долгой привычки к управлению мудрой государыни, счастье и ум которой покрыли невиданным дотоле блеском Россию, все думали, что так будет вечно, что Екатерина еще долгие годы будет царствовать на славу, и все так привыкли к этой мысли, что положительно не замечали приближающейся старости монархини и никто, разумеется, не мог подозревать, что этот год будет последним годом ее царствования.

С десяти часов стали съезжаться к малому подъезду Зимнего дворца кареты сановников, прибывавших с докладом.

В числе этих карет была одна, почти каждый день появлявшаяся у подъезда. Она принадлежала графу Александру Андреевичу Безбородку, который недавно еще вел все внешние сношения империи. Он был послан по смерти Потемкина на его место в Яссы для заключения мира с турками. Вернувшись оттуда, Безбородко нашел всех своих канцелярских чиновников по их местам, но дела, которые были в его руках, перешли главным образом к Платону Зубову. Безбородко, однако, продолжал появляться во дворе в часы доклада, хотя и не было уже к тому надобности, и часто сидел просто в приемной, не приказывая даже докладывать о себе государыне.

В приемной было много народа, ждавшего своей очереди. Безбородко с добродушною улыбкою, как бы не замечая той разницы, с которою здоровались с ним теперь и прежде, всем одинаково приветливо протягивал и пожимал руку, беспрестанно повторяя со своим заметным малороссийским произношением: «Здрастуйте, здрастуйте!». Пробравшись к стоявшему у двери камердинеру, он с тою же улыбкою, как и другим, и ему сказал свое «здрастуйте» и, подмигнув слегка на затворенную дверь, шепотом спросил:

— А кто там буде?

— Князь Зубов! — ответил лакей уже так тихо, что можно было лишь догадаться по движению его губ в ответе.

Безбородко поднял брови и, помолчав, сказал: «Ну, доложите, когда можно будет!» — а затем, терпеливо вздохнув, на цыпочках пробрался опять назад к окну и присел на бархатном табурете, ожидая, когда дойдет до него очередь.

Молодой красавец князь Платон Александрович Зубов сидел в это время в кабинете государыни у маленького выгнутого столика, стоявшего против ее кресла. Здесь, у этого столика, она принимала всех своих докладчиков. Зубов подавал государыне к подписи одну бумагу за другою, прочитывая их предварительно вслух. Одни из них Екатерина подписывала, другие откладывала в сторону.

— Все? — наконец спросила она, подписав последнюю бумагу, и, сняв очки, ласково взглянула на своего докладчика.

— Из бумаг все, — проговорил Зубов, — но у меня есть еще дело.

Государыня слегка сдвинула брови.

Князь заметил это движение ее лица, однако не смутился. Он хотел, видимо, сообщить нечто важное, о чем долго думал, соображал и принял решение, которое ему самому очень понравилось.

— Вот в чем дело, — начал он с тою уверенною поспешностью, которая свойственна молодым людям, всегда воображающим, что если они взялись за какое-нибудь дело, то непременно выдумали что-нибудь совсем новое. — Вот видите ли, — начал он, — в семьдесят третьем году папа Климент издал декрет об уничтожении ордена иезуитов. Между тем от имени вашего величества, — теперь, излагая дело, Зубов произнес титул государыни, — был издан указ, в коем было выражено, что находящиеся в белорусских губерниях иезуиты должны оставаться там по-прежнему; мало того — сами иезуиты просили правительство дозволить им послушать папу и уничтожить свой орден в России, но им было отказано в этом. — Зубов слегка приостановился, весьма довольный знанием своего дела, откашлянулся и продолжал: — Я знаю, что все это было делом окружавших вас лиц, я знаю, что вы не могли изъяснить такую волю... Я говорю прямо, — его лицо просияло при этих словах самодовольной улыбкой, потому что он должен был сейчас сказать то, что ему особенно нравилось, — я буду говорить прямо: ваше величество, как русская государыня, не могли стать защитницей католического ордена, изго-

няемого самим папою, и вдруг что же? — православная государыня защищает — кого же? — Зубов слегка запнулся: у него выходило на словах вовсе не так хорошо, как он думал, и он договорил совсем не так, как приготовился: — Я думаю, что теперь пора восстановить этот промах... я думаю, что я углубился недаром в этот вопрос... Наткнулся я на него случайно...

— Нет, мой друг, я в маленьком своем хозяйстве, — это были ее любимые слова, — никогда не действовала под чужим влиянием. Все делалось по моей воле, и то дело, о котором ты говоришь, я сама так повернула и указ был мой, и воля была моя — оставить орден иезуитов в России по-прежнему.

Зубов растерянно посмотрел на императрицу. Он, казалось, все предвидел, только этого никак не мог ожидать.

— Как же это так? — начал было он.

Екатерина спокойно взяла щепотку табака из стоявшей возле нее на столике табакерки с портретом Петра Великого, отряхнула ее и, понюхав, не спеша ответила ровным голосом, как учитель, толкующий урок своему ученику:

— В наших юго-западных областях много живет католиков, и нам нужно было отклонить притязания папы на господство над ними. Когда он уничтожил орден иезуитов, я не послушалась его, и это сделалось основанием дальнейшей политики нашей с Римом. Мы скоро поняли друг друга... Я уничтожила этим привилегии католических монашеских орденов в России и подчинила их своей власти наравне с бывшим духовенством. У меня создалось свое правление римского церковью, и папа ничего не мог сделать. Так-то, мой друг!.. А что говорят о их влиянии у нас, так это — пустое: никогда русский народ не изменит православию. Вспомни, что мы писали недавно еще, хоть бы неаполитанскому двору...

Зубов не помнил, что писали неаполитанскому двору, он не разобрал даже хорошенько то, что ему говорили сейчас; он понял лишь, что дело, которым он хотел было блеснуть, совершенно не вышло, и, надув губы, поднялся со своего места.

— Куда ж ты? — спросила Екатерина.

— Там много еще народа, — Зубов показал головою на дверь приемной, — и у меня есть еще дела.

И, минуя приемную, он прошел через зеркальную комнату в коридор, на другой конец дворца, где в нижнем этаже было отведено ему помещение.

Государыня позвонила в маленький колокольчик.

— Пожалуйте! — сказал камердинер графу Безбородку, и тот, переваливаясь, заспешил своею слегка неловкою походкою.

Войдя к государыне, он, по привычке старых царедворцев, опустился на колени (Суворов обыкновенно, входя к императрице, клал три земных поклона) и, поспешно поднявшись, прикоснулся губами к протянутой ему руке.

— Вот, матушка-государыня, письмо от племянника получил! — заговорил он и подал сложенную вчетверо бумагу.

Она взяла письмо и, просмотрев его, проговорила:

— А у меня есть дело к тебе, граф.

Лицо Безбородки оживилось.

— Матушка! — воскликнул он. — Да прикажите лишь, ваше величество...

— Впрочем, дело нетрудное и несложное, — перебила Екатерина. — В городе — сегодня мой полицеймейстер сказывал — опять, кажется, стали говорить о моем здоровье...

— От-то брешут! — не удержался Безбородко.

— Ну, так я к тебе вечером приеду. Собери гостей. Безбородко весь просиял.

— Государыня, царица! Вот-то счастье мне! Когда изволишь только?

Екатерина знала, что огромное богатство графа, выдавшего на своем веку празднества ее двора и устраивавшего их у себя в доме, позволит ему принять ее с должною честью, и потому-то именно выбрала его.

И Безбородко вышел от государыни радостный, словно его несказанно наградили, и уже заранее составлял себе план предстоящего торжества.

II. Бал у графа Безбородки

По Новоисаакиевской улице, где прежде было подворье Курско-Знаменского монастыря, возвышался великолепный дом графа Александра Андреевича Безбородки, украшенный снаружи четырьмя гранитными, полированными колоннами с бронзовыми основаниями и капителями и мраморным балконом.

Ко дню празднества к этому балкону подвели высокий покатый вход для государыни, чтобы ей не подниматься по лестнице.

Все, что было только знатного и выдающегося в Петербурге, съехалось на праздник к хлебосольному графу, на праздник, который удостаивала своим присутствием государыня.

Как только императрица показалась в дверях, музыканты, поместившиеся на подмостках амфитеатром на одном из концов зала, и хор певчих грянули польский, и разодетые пары, с наследником-цесаревичем во главе, плавным и торжественным маршем прошли мимо государыни. Она была, казалось, весела, бодра и оживленна. Все должны были заметить, что действительно поднявшиеся было толки о ее здоровье несправедливы.

Императрица бодрою походкой, тою походкой, которую она обыкновенно ходила на выходах во дворец, направилась по залу. Толпа сейчас же разделилась на две стороны, освободив широкий проход для императрицы. Она шла, кивая головою тем, кого желала удостоить этой чести, а иным протягивая руку и говоря несколько ласковых и приветливых слов. Так, с постоянными остановками, она медленно приближалась к противоположному концу зала, следя за знакомым ей изменением счастливых лиц, когда обращалась к кому-нибудь.

В самом конце зала, у дверей, стоял в военном мундире высокий, статный генерал, молодой еще по летам, но по задумчивому, строгому взгляду своих больших ясных черных глаз заметно переживший многое. Его открытое, смелое лицо, колоссальная фигура, дышавшая мощью и силой, невольно бросались в глаза. Он стоял задумавшись, видимо, далекий и от этого бала, и от всего, что окружало его в эту минуту.

Екатерина остановилась, как бы припоминая что-то.

— Кто это? — шепотом спросила она у Безбородки, так что только он один мог услышать ее слова.

— Граф Литта, — ответил тот так же тихо, — контр-адмирал службы вашего императорского величества. Екатерина кивнула головою, как бы говоря: «А! Знаю теперь», — и остановила долгий, внимательный взгляд на молодом графе.

III. Шесть лет назад

Капитан корабля первого ранга, контр-адмирал, кавалер ордена св. Георгия третьей степени, награжденный золотой шпагой с надписью «За храбрость», граф Литта шесть уже лет состоял на русской службе.

Явившись в Россию по приказанию великого магистра Мальтийского ордена, он, связанный своим рыцарским обетом и влюбленный в замужнюю женщину, поступил прямо в наш действовавший в Балтийском

море флот против шведов. Это было в самый разгар шведской войны 1789 г.

В конце войны он оказался награжденный Георгиевским крестом и золотой шпагой с надписью «За храбрость».

Вот все, что ему дала война и чего желали бы, впрочем, добиться многие; но то, чего он именно искал и чего другие не хотели и нашли, он не нашел.

Литта остался на русской службе и деятельно занялся обучением команд.

С годами буря его мало-помалу улеглась в нем, и, всецело предавшись занятиям, он думал уже найти в них покой, как вдруг все это снова перевернулось и на тихой поверхности появились новые волны.

IV. Новая волна

Он сразу, сейчас же почувствовал этот устремленный на него взгляд и невольно поднял голову. Императрица стояла в нескольких шагах от него! Глаза всех окружающих тоже остановились на нем. Они понуждали его и как бы подсказывали, что нужно было делать. И он, машинально подчиняясь общему окружавшему его настроению, выпрямился, шагнул вперед и подошел к императрице.

Екатерина протянула графу руку. Он, склонясь, прижал ее к губам.

— Граф Литта — рыцарь Мальтийского ордена? — проговорила она.

Литта низко наклонился.

— Отчего же я не вижу вас при моем дворе? — продолжала Екатерина.

— Не привык, ваше величество, — ответил Литта, вздохнув, — я чувствую себя свободнее на палубе корабля; к тому же мое положение рыцаря духовного ордена...

— Я желаю, — перебила государыня, — видеть при себе достойных людей, в числе коих почитаю и вас, сударь. Я хочу, чтобы вы бывали в нашем обществе. Мы отучим вас дичиться людей...

Несколько голов из ее свиты значительно переглянулись между собою.

— К тому же, — снова начала Екатерина, — вы должны блюсти интересы вашего ордена; в моих владениях теперь, с присоединением польских провинций, есть земли ордена. Вы можете, граф, явиться предомно достойным представителем братства!

— Я имею счастье состоять на службе вашего величества, — напомнил Литта.

— Тем лучше для вас, — улыбнулась Екатерина и, кивнув головой, добавила: — До свидания!

В этом последнем милостивом слове звучало так много доброты, ласки, обещания и одобрения, что Литта был в восторге, когда государыня отошла от него.

Сдержанный шепот молвы перенес на другой уже конец зала весть о том, что государыня остановила графа Литту, молодого контр-адмирала, и «долго» разговаривала с ним, приказав явиться ко двору.

Эта весть стала сейчас же новостью вечера, о ней заговорили шепотом с различными добавками и предположениями, ни на чем, впрочем, не основанными, и кто знал Литту хоть мельком, спешил к нему, а никогда не выдавшие его протискивались поближе, чтобы посмотреть на него. Когда он проходил, сзади него слышалось сдержанное: «Литта... вот граф Литта!»

Баронесса Канних отыскала его среди толпы и слегка коснулась веером его локтя.

— Дайте мне руку, граф! — сказала она, стараясь говорить громко. — Я ужасно устала.

Литта поздоровался с нею и, подав руку, повел ее по залу...

— Ну, граф, — заговорила она опять, но уже пони-

жая голос, — раскаиваетесь ли вы, что я настояла на том, чтобы вы приехали на этот бал?

Отношения да и само знакомство Литты с баронессой имели довольно странный характер...

Литта, попав в Петербург, не имел там ни связей, ни знакомств. Сначала он побывал при дворе, но его там скоро забыли, может быть, потому, что он не старался ни у кого заискать и не сделал ничего, чтобы попасть и втереться в придворное общество. Ему было решительно безразлично, и он отнесся к этому более чем равнодушно...

Литта познакомился через своего сослуживца с баронессой Канних, и как-то так вышло, что ее дом очутился для него в числе тех немногих домов, которые он изредка посещал, именно чтобы освежиться и побывать в гостинной.

Баронесса была вдова, имела средства (ее муж служил когда-то по провиантской части) и приходилась дальней родственницей госпоже Лафон, начальнице Смольного института, чем очень гордилась и вследствие чего считала вправе причислять себя к аристократическому обществу, в которое старалась пробиться всеми силами...

На сегодняшний бал она достала билет Литте, но он приехал сюда вовсе не по ее настоянию, а имея свою особую цель, которую, разумеется, баронесса не могла подозревать.

— Что же, граф, вы не отвечаете мне? Разве вы не довольны нынешним вечером? — повторила она, когда они сделали несколько шагов молча после ее первого вопроса.

Литта, задумчиво покачав головою, ответил:

— Нет, недоволен и очень недоволен!

— О, как видно, что вы мало бывали при нашем дворе! — проговорила баронесса таким тоном, из которого было ясно, что она, баронесса, несомненно, бывала тут очень часто, и, нагнувшись почти к самому уху Литты, она зашептала: — Вы знаете, князь Зубов почти накануне падения, ищут только случайного человека, и тот, кому посчастливится стать в случае...

Это были всегданные сплетни, вечно ходившие, в особенности среди таких барынь, как баронесса, занимавшихся ими с какою-то горячею самоотверженностью и рвением.

Литта, уже не слушая ее, давно приглядывался, ища глазами того человека, для которого он приехал сюда. Теперь он нашел его.

Цесаревич Павел Петрович стоял, прислонившись к высокой мраморной вазе, и, сунув большой палец правой руки за борт своего мундира, внимательно приглядывался к тому, что происходило вокруг него. Он был один из своей семьи на балу. Великая княгиня осталась в Гатчине; что же касается их детей, то бабушка-императрица не сочла нужным для них ехать сегодня к Безбородку.

Цесаревич, несмотря на окружавшую его толпу, был один среди этого многолюдства. Все старались не попасться ему на глаза, и если приближались к нему, то так, чтобы этого «не увидали, не заметили» и чтобы «беды не вышло». Павел Петрович давно привык к такому своему положению и всегда в многолюдных собраниях удалялся куда-нибудь, чтобы ему не мешали, и, облокотясь, как вот теперь облокотился, смотреть пред собою блестящими, широко открытыми глазами. Его голова бывала высоко приподнята, и подбородок слегка вздрагивал.

Увидая его, Литта поспешил незаметно высвободить свою руку от баронессы и хотел направиться в ту сторону, где стоял цесаревич.

V. Судьба

Еще в детстве Павел Петрович с жадностью читал занимательные истории и похождения из жизни маль-

тийских рыцарей. Впоследствии он ближе познакомился с историею ордена и навсегда сохранил лестное мнение об этом учреждении. Орден всегда составлял предмет, особенно интересный для Павла Петровича. Он изучил его устав, в его библиотеке были собраны все сочинения, касавшиеся мальтийских рыцарей, и уже в 1776 году он построил инвалидный дом на Каменном острове, в честь своего любимого ордена.

Как генерал-адмирал, великий князь приходил в соприкосновение с мальтийскими рыцарями, бывшими на русской морской службе, и в числе других ему был представлен и Литта.

В настоящее время граф один оставался из своих товарищей-братьев в Петербурге. Некоторые из них погибли в шведскую войну, иные были отозваны назад на Мальту, остальные перешли на службу в другие флоты.

Баронесса Канних, заметив движение Литты, с которым он хотел оставить ее руку, вдруг порывисто уцепилась пальцами со всею силою, какая нашлась у нее, за его локоть...

В это время Павел Петрович отошел от вазы и направился к дверям. Гости собрались ужинать.

Литте оставалось только вести свою даму к столу, и он повел ее, мрачный, почти сердитый, с нахмуренным, отчаянным лицом. Зато баронесса цвела неподдельно-радостной улыбкой...

— Где, где? — доносился до ее слуха сдержанный шепот.

— Да вот же он... под руку с дамой в платье «нескромной жалобы»... Черный, высокий... А хорош!..

— Так она не в «нескромной жалобе», а в цвете «подавленного вздоха». Теперь вижу... видный такой...

После ужина, за которым особенный фурор произвело золотое плато непомерной величины с бриллиантовым шифром посредине, императрица сейчас же уехала. Великий князь отбыл за нею, и Литте так и не удалось поговорить с ним во весь вечер.

Граф вернулся домой не в духе, недовольный и балом, и самим собою, и неожиданным проявлением к нему всеобщей любезности, и навязчивым покровительством баронессы Канних, приставшей теперь к нему, как муха к меду.

Он снял с себя мундир, надел шелковый шлафрок, но вместо того, чтобы идти в спальню, остался в кабинете, перенес свечи на бюро и, опустившись на кресло, задумался. Он думал, что испытание, которое он перенес шесть лет тому назад в Неаполе, испытание любви, будет последним для него и что его жизнь кончится так, как у большинства его собратьев по ордену, то есть в отдалении от всяких соблазнов. Сегодня судьба посылала новое испытание.

Резкий, сухой стук заставил Литту невольно вздрогнуть. Что-то крякнуло в соседней комнате — должно быть, половица лопнула.

Граф провел рукою по лицу и, встряхнув волосами, наклонился к бюро, вынул пачку счетов и записочек, а затем сосредоточенно принялся рассматривать их. Ему не хотелось еще спать. Он желал рассеять свои мысли чем-нибудь совсем посторонним.

Литта был богат. Он имел в северной Италии значительные поместья, приносившие ему хороший доход. Но этот доход вследствие расстояния получался крайне неаккуратно. Деньги, которые граф получил в последний раз, приходили к концу, у него предстояли платежи (были и долги кое-какие), и нужно было рассчитаться по счетам, а между тем было неизвестно, когда придет новая посылка. Литта написал письмо; но он знал, что отправить из Италии в Петербург значительную сумму денег вовсе не легко, в особенности при тех событиях, которые происходили во Франции.

А тут еще, если действительно потребуют его приезда ко двору, будут предстоять новые издержки, совсем неожиданные и не входящие в расчет.

«Что ж это со мною?» — подумал он и, протянув руку, достал с маленькой, вделанной в бюро полочки книжку в белом пергаментном переплете с золотыми углами и золотою же застежкой в виде сфинкса.

Он раскрыл книгу и отыскал пятую таблицу.

На ней был изображен посвященный в тайны Изи-ды, сидящий между двумя колоннами святилища. У его ног распростертыми на земле лежали два человека, одетые: один — в красное, другой — в черное. Посвященный правою рукою делал у себя на груди знак сосредоточия. Колонны означали закон и свободу повиноваться ему или нет. Посвященный, или иерофант, — орудие тайных знаний — представлял собою гения добрых внушений сердца и рассудка. Делаемый им знак приглашал слушаться высшего голоса, утишив страсти и похоть. Два человека служили символами зла и добра, которые оба находятся в подчинении у властителя арканов.

Под таблицами Литта прочел знакомые слова.

«Прежде чем сказать о человеке, счастлив он или нет, узнай сначала, как распорядился он своей волей, потому что «всякий человек создает себя по подобию дел своих». Твоя будущность зависит от доброго или злого гения. Сосредоточься в молчании, внутренний голос заговорит в тебе: пусть ему ответит твоя совесть».

VI. Бриллиантовый крест

На другой день с одиннадцати часов утра начали приезжать к Литте с визитом люди, не только бывавшие у него прежде, но и те, которых он вовсе не знал. Тут были и его сослуживцы, и гражданские чиновники, и придворный, который «возобновил» с ним вчера знакомство, и тот, который «следил» за его успехами в шведскую войну, и даже сам Безбородко. Все они приезжали как будто невзначай, осведомиться о здоровье графа, как, мол, он сегодня себя чувствует и вообще все ли обстоит благополучно у него...

Наконец Литта велел на пускать к себе никого, сказать, что его нет дома, что он нездоров, болен, умер — все, что хотят, лишь бы его оставили в покое...

Из иностранной коллегии ему принесли формальное извещение, что ему будет дана частная аудиенция по делам Мальтийского ордена.

Он знал, что он — единственный теперь мальтийский рыцарь в Петербурге, знал, что с переходом от Польши к России части ее владений Острожская ординация была теперь в черте русской территории, что отношения ее к правительству еще не выяснены и что давно следовало бы возбудить о них вопрос. Вчера на балу государыня сама вспомнила об этом, и так как не в ее привычке было откладывать дело в долгий ящик, то она приказала послать ему это извещение. Все это было весьма просто и естественно, и никто, собственно, не имел права делать из этого каких-нибудь дальнейших выводов.

Литта понимал это, и его заботило в данном случае совсем другое. Если начать дело и желать довести его до благоприятного для ордена решения, для этого нужны были деньги, и, может быть, большие. Между тем Литта не знал, когда еще получит свои деньги из Италии, а в настоящую минуту для него было даже затруднительно обставить должным образом свое появление на аудиенции. Требовались почетная карета, ливреи, и для него самого, носившего в последнее время русскую военную форму, необходим был роскошный наряд мальтийского рыцаря, которого он уже давно не надевал. Все это стоило недешево. Вре-

мена, когда братья ордена довольствовались скромным одеянием с белым полотняным крестом на груди, давно прошли, и теперь нужно было явиться к блестящему двору могущественной государыни с подобающей роскошью, к которой привыкли тут. У Платона Зубова, например, одни кружева стоили около тридцати тысяч рублей, не говоря уже о бриллиантах.

Как раз в то время, когда Литта занимался расчетами и соображениями, пред ним явился его итальянец-камердинер.

— Что вам? — спросил граф.

— Какой-то человек желает видеть эчеленцу, — проговорил камердинер.

— Я сказал, чтобы никого не пускали ко мне!.. Что ж вам еще нужно? — ответил Литта и отвернулся к окну.

— Но этот человек говорит, что у него есть дело к эчеленце.

Граф, не отвечая, продолжал задумчиво глядеть перед собою.

— А вы послали за Абрамом? — спросил он вдруг. — Мне нужно его.

— Он обещал прийти сегодня, — ответил камердинер и, подождав немного, добавил: — Так что же, эчеленца, прикажете ответить тому человеку?

— Какому человеку? Ах, тот, что пришел! Да кто он такой?

— Почтенный старик-немец; он назвал себя господином Шульцем и велел просить эчеленцу, чтобы вы его приняли.

Литта пожал плечами. Он не знал никакого Шульца.

— Да что это: господин, чиновник? Каков он собою? — спросил он опять.

— Он скромно одет, похож на иностранного купца. Просите! — сказал наконец Литта.

Шульц вошел и почтительно поклонился графу. Это был высокий старик с бородой, в синих очках и с подстриженными волосами. На нем были коричневый шерстяной камзол, такие же панталоны, синие нитяные чулки и толстые башмаки с пряжками.

— Позвольте мне, граф, — заговорил он по-немецки, — представиться вам: я — бриллианщик по профессии... Недавно явился в Петербург...

Литта, уже раздраженный сегодняшним утром, недружелюбно смотрел на него, но это, видимо, мало смущало старика Шульца. Его лицо было совсем спокойно, и, как ни вглядывался Литта в его темные, выпуклые очки, плотно прижатые к лицу, он не мог рассмотреть скрытых за ними глаз.

— Садитесь. Что же вам угодно? — спросил он.

Старик-немец опустился на стул, и Литта только теперь заметил, что в его руках был небольшой футляр черного сафьяна. Шульц открыл футляр и подал Литте. Там лежал великолепный мальтийский крест белой финифти, осыпанный кругом бриллиантами и приделанный к цепи, на которой тоже сверкали драгоценные камни.

— Дивная работа! — не мог удержаться Литта.

Он с трудом говорил по-немецки, припоминая слова, но все-таки довольно порядочно.

— Может быть, вам, как мальтийскому рыцарю, пригодится эта вещь? — заговорил Шульц. — Я бы с удовольствием продал ее, граф.

Литта задумался. Бриллиантовый крест был действительно очень хорош и нужен был ему, в особенности теперь, чтобы явиться ко двору. Но чем заплатить сейчас?

— Если вы сомневаетесь насчет денег, — подхватил Шульц, как бы угадывая его мысли, — то достаточно будет вашего слова — скажите, когда можно будет получить, и я обожду. Таким людям, как вы, можно доверять.

И, поклонившись, он вышел из комнаты, затворив за собою дверь.

Литта сейчас же пошел проводить его, но ни в соседней комнате, ни в следующих не настиг его: Шульц исчез так быстро, словно его вовсе не было.

На лестнице Литте раскланялся Абрам, за которым он посылал утром и который ждал его теперь. С этим Абрамом многие имели дела в Петербурге, и между прочим у него в руках уже было несколько расписок графа Литты за деньги, ссуженные под большие проценты.

— А, это ты! — кивнул ему граф. — Ты не видел, прошел мимо тебя сейчас высокий... старый...

Абрам открыл широко глаза и, видимо, не мог взять в толк, что ему говорили.

— Граф присылали за мной, — заговорил он, — и вот я тут. Графу нужна моя служба, я услужу графу...

Литта не стал расспрашивать его дальше. Несмотря на свое шестилетие пребывания в России, он еще плохо владел русским языком, и столкнуться ему с Абрамом было затруднительно, когда дело не касалось денежного вопроса.

— Ступай! — сказал он ему и повел к себе в кабинет. Придя сюда, он приблизился к бюро, отложил в сторону крест, на блеск бриллиантов которого так уставился Абрам жадными глазами, и, сев в кресло, быстро проговорил: — Мне нужны деньги...

Он знал, что Абрам будет сначала вздыхать и охать, но потом все-таки даст и сдерет проценты вперед. Но, к его удивлению, Абрам кивнул головою и, хитро прищурившись, проговорил:

— Я знаю это. Как меня пришли сегодня звать к господину графу, я уже знал, что графу деньги нужны теперь.

— Откуда же ты знал это? — сдвигая брови, спросил Литта.

— Я все знаю... Мне многое известно, господин граф. Сколько же вам нужно?

— А сколько ты можешь дать?

— А если граф не будет скупиться, то сколько он пожелает.

Литта принялся пересматривать счета, подсчитывать и, наконец, в двадцатый раз, убедился, что меньше пяти тысяч ему не обойтись на первое время.

— Пять тысяч теперь и через две недели еще столько же, — проговорил он.

— Много, много денег! — не утерпел-таки вздохнуть Абрам. — С собою у меня нет столько — я принес только три тысячи... Если господину графу угодно... — И он, опустив руку в карман, вынул оттуда пачку билетов и выложил их на стол, после чего добавил: — Остальные будут доставлены.

Литта с каким-то словно омерзением поглядел на эту пачку.

«А не бросить ли это все? Зачем, к чему это?.. Разве нельзя продолжать жить, как прежде? — пришло ему в голову. — И почему этот Абрам вдруг так охотно старается всучить мне свои деньги сегодня? Смотрит и боится только, чтобы я не отказался от них, и ждет расписки на двойную сумму, с причислением процентов?.. Как все это гадко!..»

И в то же самое время Литта уже брал бумагу, сгибал ее пополам и, взяв перо, нес его к чернильнице. Его взор нечаянно упал на отложенный в сторону крест, вдруг особенно блеснувший в эту минуту. Вероятно, угол света, под которым лежал теперь крест, был особенно благоприятен для игры камней.

Но в этом случайном блеске было еще как будто что-то странное. Узор маленьких камешков, окружающих большие бриллианты, точно составил четыре буквы. Это был один миг, но Литта прочел в них латинское слово: «cave!» — «берегись!». Однако он

моргнул глазами, окунул перо в чернильницу и стал писать расписку.

Абрам взял ее, когда она была готова, оставил деньги и ушел.

«Что это? Показалось мне или на самом деле так?» — подумал Литта и, взяв крест, стал внимательно рассматривать его. Но как он ни поворачивал его, под каким углом ни смотрел, — ничего особенного нельзя было заметить. Это была теперь простая ювелирная вещь — очень тонкой работы, правда, и только. «Однако ж он не сказал мне даже цены, — вспомнил Литта, — и не оставил адреса». Но, осмотрев футляр, нашел на внутренней стороне его адрес Шульца, который жил на Морской, и тут же решил, что сегодня же пойдет к нему и заплатит хоть что-нибудь из полученных от Абрама денег.

VII. Le petit boudoir

Беспокойному дню, начавшемуся так тревожно, не суждено было кончиться отдыхом, на который рассчитывал Литта вечером.

Пред обедом ему принесли записку от баронессы Канних; она была составлена очень ловко, на самом изящном французском языке. Баронесса звала его к себе вечером и давала понять, что если он откажется, то это будет принято за выражение гордости с его стороны и за пренебрежение, с которым-де он отнесется к прежним и старым друзьям своим. Словом, выходило так, что если не отправиться к этой Канних, то это будет служить подтверждением возникших догадок: «Вот, мол, я какой! И знать вас больше не хочу!».

Как только стемнело, Литта оделся и пешком пошел отыскивать лавку Шульца. Он нашел ее не без труда, но она оказалась запертою снаружи очень плотно железными ставнями. Литта решил не стучать, подождать до завтра, когда лавка будет днем, по всем вероятностям, открыта, и направился к баронессе.

Здесь его сейчас же приняли. Он думал, что у Канних вечер, что он застанет у нее много народа, но в сенях толкались только домашние лакеи и шуб на вешалках не было.

— Баронесса одна? — спросил Литта у швейцара.

— Пожалуйте-с! — крикнув, ответил тот, кланяясь и величественно простирая руку к лестнице.

Граф поднялся по мягкому красному ковру, в котором так и тонула нога, прошел пустой зал, помпезную комнатку и очутился в большой красной гостиной, где бывал обыкновенно у баронессы. Гостиная оказалась пуста. Литта остановился в ожидании хозяйки.

— Это — вы, граф? — послышался ее голос. — Войдите сюда...

Баронесса, вся в кружевах и в лентах, сидела на софе, выставив как бы случайно из-под пышной оборки узенький носок, обутый в атласную туфлю.

— Здравствуйте! — встретила она Литту, протягивая ему руку. — Садитесь... Я уж думала, что вы не приедете!

— Я к вам не надолго, баронесса, — проговорил он, — я сегодня ужасно устал, да и вы, может быть, кого-нибудь ждете еще? — добавил он, как бы не желая принимать на свой счет розовый полусвет будуара и кружевной наряд хозяйки.

— Я вас ждала одного, — протянула она и посмотрела прямо в глаза Литте.

Он невольно опустил свои глаза.

— Отчего же не надолго? — продолжала она. — Вы останетесь до тех пор, пока вас не отпустят. Вы знаете, власть женщины иногда бывает сильнее воли мужчины.

«Что же это? Вызов на состязание? Ну, хорошо

же!» — подумал Литта и ответил:

— Не всегда, баронесса. А впрочем, кто будет жить, тот увидит...

— И кто захочет, тот всего достигнет! — в тон ему продолжала Канних.

Между ними начался тот обычный в то время разговор полунамеков, недосказанных фраз и ответов, которым в особенности баронесса придавала какой-то тайный, сокровенный смысл, будто бы понятный только ей и ему. Все это было давно известно, в моде, и даже, так сказать, выработано практикой в очень узкую форму; но во всем этом — и в разговоре, и в этой обстановке полумосквитинского, пахнущего курениями будуара с нимфами и пастушками, и в красивой женщине, пред которой сидел Литта, — было что-то опьяняющее, нежное, соблазнительное и манящее к себе...

Литта чувствовал в себе теперь какое-то недовольство собою, точно сделал что-нибудь дурное. Он раскланялся с баронессой и скорыми шагами, почти бегом, вырвался от нее с тем, чтобы никогда больше не вернуться сюда.

VIII. Аудиенция

О полученном им приказании от двора явиться на аудиенцию по поводу дел ордена Литта послал подробное донесение на Мальту и, уверенный, что там это будет встречено сочувственно, стал готовиться к приему во дворце.

Императрица приняла мальтийского кавалера в кабинете, у того самого столика, у которого выслушивала доклады своих сановников. Но наряд на ней был не тот, в котором она обыкновенно слушала эти доклады. Теперь на ней был парчовый молдаван, опушенный мехом и застегнутый у горла драгоценною пряжкой, а напудренные волосы были собраны кверху...

— Здравствуйте, граф, — проговорила она, когда Литта целовал ее руку. — Сядьте здесь... Поговорим! — И она показала на стул.

Литта сел.

— Итак, — начала Екатерина, — ваша Острожская ординация теперь находится в моей земле. Я много слышала о мальтийских рыцарях и всегда считала их достойными людьми. Мое всегданнее желание было видеть их на своей службе; познакомьте же меня поближе с вашим уставом и с организацией ордена.

Во всем этом разговоре и в последовавшем затем, в течение всей аудиенции, не было сказано ни слова, не касавшегося дела, и, несмотря на это, все было так живо и интересно, как будто это был простой разговор, душевный и самый приятный.

На прощание Екатерина опять протянула Литте руку и сказала: «До свиданья»...

IX. Отец Грубер

Когда Литта оставил баронессу Канних в ее будуаре и его поспешно удаляющиеся шаги замолкли в зале, обделанная под стену небольшая дверь отворилась, и на ее пороге показался гладко выбритый человек в сутане. Он сложил на груди руки и, качая головой и посмеиваясь, смотрел на баронессу, все еще сидевшую на своей софе.

— Ну что? Ведь говорил я вам, предупреждал вас, что ничего из вашей затеи не выйдет! — сказал он сквозь смех.

— Бегство не есть еще победа! — повторила баронесса последние сказанные ею Литте слова. — Вы слышали, отец, я это сказала ему. Так как же быть?

Грубер самоуверенно улыбнулся и, приподняв наискось правое плечо, скромно ответил:

— Действовать!... До сих пор я оставлял в покое

мальтийского кавалера, но теперь пора приняться за него...

— И вы приметесь?

— А вот посмотрим.

Х. Кондитерская Гидля

Выйдя из дворца, Литта сел снова в свою золотую карету; дворца хлопнула, лакей вскочил на козлы, и карета тронулась.

Внутри кареты, несмотря на холод, было очень уютно и приятно, она мягко покачивалась на своих упругих опрессорах. Литта невольно огляделся с удовольствием.

«Что это?» — мелькнуло у него, и он, высвободив из-под шубы руку, взял с бархатной подушки возле себя сложенную в несколько раз бумажку, бросившуюся ему в глаза.

Бумажка была сложена очень аккуратно и, видимо, нарочно подброшена так, чтобы ее заметили.

Граф развернул ее с тою ничего, собственно, не значащею улыбкою, с которою люди обыкновенно встречают всякую таинственность.

Это была записка, писанная левой рукой. Литта знал, что почерк левой руки у всех людей одинаков.

«Сегодня вечером Вас ждут в кондитерской Гидля», — стояло в записке, и затем была подпись: «Ajaks Norbaks»*.

Записка была на французском языке. Литта разорвал ее и бросил. Какое было дело ему до того, что какой-то таинственный «Аякс» сообщал кому-то, что его ждут в кондитерской Гидля? Сам Литта почти не бывал в этой — впрочем, модной — кондитерской и не принял на свой счет приглашения, решив, что оно случайно попало к нему в карету, может быть, даже по ошибке. И он стал думать про разговор с государыней и про свое назначение послом при ее дворе.

Дома камердинер, торопливо перебирая своими мягкими туфлями и слегка отогнувшись назад, принес ему на серебряном подносе два хрустальных графина с белым и красным вином, стаканы, хлеб, кусок холодной ветчины, телятины, паштет и вазочку икры, которую Литта очень любил.

Граф при виде подноса почувствовал, что он голоден, и, подойдя к столу у бюро, на который камердинер поставил поднос, начал стоя есть. Он налил себе вина в стакан и хотел его выпить, но вдруг, не донеся до рта, снова поставил на поднос и поспешно схватил с бюро лежавшую там записку. Его взор нечаянно упал на эту записку, когда он хотел выпить вино, и случайно он прочел стоявшую на ней подпись «Ajaks Norbaks» от правой руки к левой, то есть наоборот. Вышло: «Skabronskaja»**.

Литта вышел из дома в шесть часов, сообразив, что достаточно уже поздно, чтобы считать это время «вечером».

Придя в кондитерскую, он осмотрелся, выбрал свободный столик, спросил себе чашку шоколада и невольно начал приглядываться к окружавшей его публике, желая узнать, кому из нее было дело до него и кто же наконец призвал его сюда таким странным образом. Но все, казалось, были заняты сами собою и никто не обращал на него внимания...

Наконец сам толстый швейцарец Гидль приблизился к его столу и учтиво проговорил:

— Может быть, графу угодно отдельную комнату? Там будет покойнее.

«А, он меня знает!» — удивился Литта и, решив, что, вероятно, ему нужно послушаться хозяина, встал со своего места.

Гидль повел его по длинному коридору, минуя, однако, комнаты, где бывали обыкновенно гости. Они прошли весь коридор, потом повернули в какой-то закоулок, совсем темный, и, наконец, Гидль отворил дверь и впустил Литту в просторную горницу, убранную совсем не по-трактирному.

От стола навстречу Литте поднялся одетый в черное патер, и граф сейчас же узнал в нем Грубера.

— Прежде чем вы скажете мне что-нибудь, — остановил он иезуита, слегка прикасаясь рукою к его руке, — прошу вас об одном: та записка, по которой я вызван сюда, написана вами?

— Да, мною, — кивнул головой Грубер.

— Подпись, которая стоит под нею, взята вами случайно или вы имели какое-нибудь основание подписаться так?

Грубер медленным и долгим взглядом посмотрел прямо в глаза Литте и, поджав свои тонкие, бескровные губы, ответил:

— Совершенно случайно!..

Граф не поверил ему, но решил, что во что бы то ни стало будет знать истину.

XI. Во славу Божию

— Я не сомневаюсь, — начал Грубер, близко пригибаясь к Литте и засматривая ему в лицо, — что вы, как мальтийский рыцарь, есть и всегда будете верным сыном католической церкви.

— Я тоже не сомневаюсь в этом, — проговорил Литта, — я всегда останусь в той религии, которую исповедую, в которой родился и которой служу как член ее воинствующего ордена.

— Аминь! — подтвердил иезуит. — Об этом и говорить нечего. Но мы с вами находимся теперь в чужой стране, окруженные темными людьми, на пользу которых готовы поработать, так? Не лучше ли нам действовать сообща, граф?

— Наша деятельность слишком различна, — возразил Литта, — я не знаю, на чем же мы можем сойтись...

— Я вам говорю о том могуществе, которое имеет наш орден везде. Весь земной шар в нашей власти, нет государя сильнее нас и нет человеческого могущества больше нашего. Меня с вами столкнула судьба в России, соединитесь же здесь, и я вам обещаю такое могущество, о каком вы и не мечтали никогда.

— Мне его не нужно, — тихо проговорил Литта и сделал шаг к двери.

Грубер не выказал ни малейшего движения удерживать его. Он стоял со скрещенными на груди руками, освещенный сверху светом лампы, и своими быстрыми карими глазами следил за движением Литты. Наконец снова произнес:

— Граф, я обещаю вам могущество, силу, все, чего вы только пожелаете.

Литта, сморщив лицо, направился к двери.

— Граф, подпись на записке не была случайная! — вдруг произнес Грубер, и Литта, вздрогнув всем телом, вернулся и снова подошел к столу.

— Да! — протянул патер. — Графиня, вероятно, скоро вернется в Петербург.

— Как в Петербург? Зачем в Петербург?! — воскликнул Литта, не помня уже себя.

— Я знаю, что она уже давно в дороге сюда... Как только схоронила мужа.

— Схоронила мужа! — повторил Литта машинально, по инерции, слова Грубера.

— И вы и этого не знали? — удивился тот. — Но ведь Скавронский умер уже год тому назад.

«Так она вдова, свободна и едет сюда!» — думал Литта, но все-таки сознавал, что сам он был по-прежнему связан, и счастье было невозможно.

* «Аякс Норбакс».

** «Скавронская».

— Граф, я обещаю вам брак с графиней Скавронской,— услышал он снова голос Грубера.

Все вертелось в глазах Литты, ходили какие-то круги, и казалось, уже не Грубер говорил это, а чей-то голос звучал совсем с другой стороны.

— Какой брак? — проговорил Литта, не узнавая и своего голоса. — Какой брак?... Разве это возможно?

— Для вас ничего невозможного нет,— ответил Грубер с расстановкой. — Примкните к нам, и графиня будет вашей женой... Хотите заключить договор на этом условии?

— Да как же это? — не поверил Литта.

— Хотите заключить договор? — повторил Грубер.

— Да нет же, нет!

Не мог он продать свою душу и, продав ее, перестать быть рыцарем, перестать быть достойным той, которую любил! И Литта бросился к двери.

Грубер как молния кинулся за ним и схватил его за руку.

— Приди сюда, верный сын наш! — зашептал он каким-то протяжным, торжественным шепотом, таща Литту от двери. — Приди сюда и знай, что ты выдержал иску, что отныне братство Иисуса будет доверять тебе и если ты захочешь вступить в него, то примет тебя... Ты с честью выдержал иску! Он был тяжел для тебя, но ты выдержал его. Приди же... Дай обнять тебя!

И не успел Литта опомниться, как патер Грубер уже обнимал его, прижимал к своей груди, усаживал и поил из появившегося откуда-то в его руках стакана.

Через несколько времени Литта вышел от Гидля измученный, усталый, изнеможенный, но вполне примиренный с Грубером и с его братством.

ХП. «Она»

Первое представление пьесы или дебют новой актрисы, да еще иностранной знаменитости, были такими редкими явлениями в Петербурге, что считались целыми событиями, о которых заранее кричали на всех углах и на которые собиралось все общество, наполняя театр битком.

Хотя трагедия «Федра» Расина не была уже новостью, но выступление в ней артистки Шевалье возбуждало сильнейший интерес.

Литта стоял, опершись на рампу, спиной к оркестру и оглядывал зал в свой лорнет.

С тех пор как он узнал, что графиня Скавронская, год тому назад овдовевшая, должна появиться в Петербурге, он стал чаще бывать на общественных собраниях. Он не мог не признаться себе в слабости, что причиной этого было желание увидеть ее. Раз не совладав с собою, не справившись со своим сердцем в течение шести лет и допустив в себе эту большую слабость, он допустил и меньшую, то есть искал случая увидеть Скавронскую хотя мельком, издали, с тем, чтобы потом скрыться, уехать куда-нибудь, исчезнуть, но один раз, один только раз ему хотелось взглянуть на нее. И так как ему очень хотелось этого, то он сейчас же нашел и оправдание этому. Ведь он не должен был искать встречи с любимой женщиной тогда, когда она была не свободна, замужем; но теперь дело другое, теперь она ничем не связана и только он должен блюсти свой обет рыцаря. И Литта решил, что, поймав ее раз издали, он удовлетворится этим навсегда.

Он бывал в последнее время на катаниях, в театре, ходил по Летнему саду, но нигде еще не встретил графини Екатерины Васильевны. Теперь он стал и внимательно осматривал ложи; некоторые из них еще не были заняты, так как приезжать к первому действию считалось не в моде. Но многие уже собрались.

К Литте то и дело подходили вновь объявившиеся друзья его; они здоровались с ним, жали ему руку и старались заговорить. Он отвечал рассеянно, желая поскорее отбояриться. Это принимали за напускаемую им на себя важность и оттого делались еще почтительнее. Баронесса Канних упорно лорнировала его из второго яруса.

О его аудиенции у императрицы и даже о поклоне на лестнице с Zubовым, который был замечен дежурным камер-юнкером, знали уже и тоже перешептывались.

Вдруг зал пришел в движение. Пустые ложи стали быстро наполняться, хлопая дверьми. Генерал-полицеймейстер с озабоченным лицом пробежал по дорожке партера, несколько человек засуетилось и, похватав свои шляпы, тоже направилось к выходу, и как по команде в одно мгновение весь партер поднялся.

Государыня в сопровождении свиты вошла в свою ложу. Она села впереди, с тремя придворными дамами. Сзади остались мужчины, среди которых Zubов блеснул своими бриллиантами.

Литта, оторвав взор от царской ложи, повел его вдоль первого яруса и в тот же миг почувствовал, что сердце его словно упало и ноги подкосились: она, Скавронская, была здесь! Она сидела в ложе со своей сестрой, графиней Браницкой.

Оркестр заиграл. Нужно было сесть на место. Литта, вероятно, ни за что не сделал бы этого, если б его сосед по креслу не задел его, садясь, и не извинился.

Литта опомнился и сел. Он уже не видел, как пластично шагала Шевалье по сцене, не слышал, как выпевала она свою роль; он ничего не видел, ничего не слышал и ни о чем не думал.

Так провел он весь вечер, и то казалось ему, что Скавронская видит его и только нарочно делает вид, что не замечает, то, наоборот, он был уверен, что она и не подозревает о его присутствии здесь; и он не мог разобрать, что для него лучше: и то, и другое казалось одинаково тяжело.

Но вот занавес опустился в последний раз. Толпа неистово захлопала, вызывая актрису. Публика партера повалила к выходу. Литта смешался с ее потоком.

У крыльца стояли шум и гам, которые обыкновенно сопровождали разъезды многолюдных собраний. Кареты исчезали в темноте, преследуемые бранью и криками отставших кучеров.

ХПІ. Столкновение

Одна карета особенно рвалась вперед. Это была золоченая, богатая карета на тяжелых, крепких колесах. Форейтор ее, не обращая решительно ни на что внимания, отчаянно стегал лошадей, и своих, и чужих, и кричал громче всех.

— Пади, пади! — раздавался его неистовый крик, и не успевшие посторониться рисковали быть задавленными.

Литта отошел несколько от подъезда вперед, чтобы найти свой экипаж, но богатая карета загородила ему дорогу.

Что-то задержало ее сзади. Она задела задним колесом за санки, в которых сидел какой-то купец, беспомощно, с испуганным, бледным лицом махавший руками. Однако это был один миг. Карета рванулась вперед, санки опрокинулись, и купец, барахтаясь, исчез где-то внизу. Карета двинулась и с размаха сшиблась с другою; что-то крикнуло, треснуло. Кузов кареты, на которую наехала первая, качнулся; оттуда раздался женский крик испуга.

Литта был в эту минуту у самых лошадей. Он, не рассуждая, выхватил шпагу и, нервно ударив ею несколько раз по соединению калыка с дышлом, перере-

зал его. Передние лошади цуга с форейтором, почувствовав свободу и испугавшись бившихся у них по ногам постромок, понеслись вперед. Карета остановилась. Кучер, выпустив вырванные из его рук вожжи, едва усидел на козлах и в голос кричал страшную брань. Литта, не обратив на него внимания, хотел обойти карету, но вдруг в ее окне увидел высунувшееся искаженное злобой лицо Зубова.

Граф, разумеется, не ушел, вовсе не желая скрываться перед Зубовым, и, как только тот обратился к нему, он, приподняв шляпу, спокойно проговорил, называя себя:

— Граф Литта... Если вы почитаете себя обиженным, князь, я к вашим услугам.

Вслед за тем Литта повернулся и пошел, не заботясь уже о князе Зубове и о том, чем кончится это столкновение.

Графиня Скавронская, опомнившись от первого испуга, после того как ее карета чуть не опрокинулась, столкнувшись с тяжелою каретою Зубова, дрожа всем телом, схватила сидевшую с ней рядом сестру за руку и едва выговорила:

— Саша, что же это?

Скавронская чувствовала, как нервно билось ее сердце. Было ли это от испуга или оттого, что она видела, кому они обязаны избавлением, — она боялась признаться себе.

— А ты знаешь, кто нас спас? — спросила Браницкая после долгого молчания.

«Не знаю», — хотела ответить Екатерина Васильевна, но не решилась: голос сразу выдал бы ее.

— Это был граф Литта, — продолжала Браницкая, видимо, не боявшаяся говорить на морозе, — мальтийский рыцарь... Ты, верно, встречала этих рыцарей в Италии, они там где-то поблизости, кажется; про них рассказывают чудеса, и цесаревич очень интересуется ими.

Однако, не встретив в сестре сочувствия к разговору, она замолчала.

Карета поехала тише, пробираясь по ухабам Большой Морской.

— Сначала, — заговорила опять Браницкая, как бы думая вслух, — я испугалась за него. Ведь карета, которая зацепила нас, была Зубова, а этот не станет церемониться... Но теперь думаю, что граф Литта отлично знал, что делал; недаром говорят, что итальянцы очень хитры... Зубов, пожалуй, уже и не опасен ему. Однако, значит, он сильно уверен в своем успехе.

— В каком успехе? — спросила Скавронская.

— Ха, это целая история!.. Вот уже сколько времени, как ходят разные толки, это самые последние у нас новости... Началось все на последнем балу у Безбородко. С тех пор только и разговоров что про графа Литту.

— Каких разговоров? — протянула Скавронская, отклоняясь вперед.

— Ждут его «случая».

— Ждут... его... случая? А... он? — переспросила Скавронская, не заботясь уже о том, что ее голос дрогнул и что сестра может заметить это.

— А он, кажется, очень рад, — ответила та. — По крайней мере говорят так, да к тому же, видишь, он не побоялся даже оскорбить самого Зубова. Значит, рассчитывает уже на свою силу...

Браницкой показалось, что в это время с той стороны, где сидела ее сестра, послышалось сдержанное всхлипывание. Она поняла, что с нею делается что-то неладное.

— Катя, что с тобой? — забеспокоилась она. — Что ты? Неужели еще не пришла в себя от испуга? Да полно...

— Нет, не может этого быть... не может! — силилась между тем выговорить Скавронская. — Не может быть... я... знаю его...

— Кого ты знаешь? Литту?.. Что с тобой?..

— Знаю... там... еще в Неаполе... И вдруг теперь... Боже мой!.. Это было бы так ужасно!.. Нет. Неужели это правда? — И в холодной темноте кареты Скавронская вдруг прижалась к плечу сестры и сквозь слезы шепнула ей: — Саша... я... люблю его... Потом расскажу все...

XIV. Эрмитаж

Зубов взволнованно ходил большими шагами по своему кабинету. Его секретарь Грибовский сидел у особого столика с пером в руках и внимательно следил за ним, провожая его глазами.

— Пиши! — проговорил Зубов и начал диктовать: — «Орден Мальтийский есть орден католический, и посему...» или нет, «понеже...». — Зубов подошел к окну, побарабанил пальцами и, быстро обернувшись к секретарю, проговорил: — Нет, не так... Начни снова! «А по силе законов российских, — диктовал он, — тоlikовое распространение безверия и сжизмы...»

Часы пробили половину восьмого. Грибовский, которому давно надоела вся эта история, поднял голову и с некоторым удовольствием взглянул на часы.

— Осмелюсь доложить, ваша светлость, что уже половина восьмого, — проговорил он. — Сегодня эрмитажное собрание назначено.

Зубов поморщился, как будто ему не было дела до этого собрания.

— Может быть, — продолжал Грибовский, — ваша светлость, вы поручите мне составить бумагу?

Он понимал, что это будет ему гораздо спокойнее.

Зубов подумал с минуту и наконец сказал:

— Хорошо... попробуй... напиши... я посмотрю. А мне в самом деле пора в Эрмитаж.

Грибовский торопливо собрал со стола бумаги и с облегченным вздохом поспешил уйти, прислав вместо себя камердинеров князя, которые стали одевать последнего к вечеру.

Зубов долго возился со своим туалетом, так что, когда появился в Эрмитаже, там почти все приглашенные были в сборе.

На эрмитажных собраниях всякий этикет забывался — все приезжали, когда хотели и делали что кому вздумается.

Зубов, войдя, увидел, что государыня играла уже в карты с Нарышкиным и Пассеком. Его не дождался. Однако князь сделал вид, что вполне примиряется с этим, и беззаботно, стараясь казаться очень в духе, здоровался со сгибавшимися пред ним со всех сторон придворными и поклонился дамам, между которыми в числе приглашенных была Скавронская. Сестра последней постоянно была приглашаема на эрмитажные собрания. Зубов сел у карточного стола и начал следить за игрою.

Вдруг его словно толкнул кто, и он почти непроизвольно взглянул на дверь. На пороге появился граф Литта.

«Уж это чересчур», — мелькнуло у Зубова, и он в первый раз вместе со злобою к этому человеку, которого уже считал соперником, почувствовал робость пред ним и страх за свое собственное положение.

Одетые маски выходили в зал, где уже играла музыка и составлялся импровизированный костюмированный бал.

Литта тоже вошел в своем домино, когда зал был почти уже полон...

Остановившись у двери, он теперь испытующе следил из-под своей жаркой и душной маски глазами за мелькавшими пред ним феями и пейзажами, стараясь разглядеть, которая из них Скаврнская.

Кто-то бесцеремонно просунул руку ему под руку сзади. Он обернулся; рядом с ним было красное домино. Литта невольно сделал движение отдернуть руку. Но домино не выпустило ее.

— Пойдем! — проговорил из-под красной маски чей-то измененный голос, настойчиво, почти приказывая...

«Неужели это она?» — мелькнуло у Литты, но он сейчас же отогнал эту сумасшедшую, как ему казалось, мысль.

— Пойдем! — повторило домино еще настойчивее. И Литта пошел.

Они прошли пустую гостиную, потом другую, попали каким-то образом в недооконченную еще отделкой, нетопленную комнату со стенами, не вполне увешанными картинами, часть которых лежала на полу в раскупоренных ящиках, с торчащею по углам соломою, потом очутились в проходном коридоре.

Сделав по каменным плитам коридора несколько шагов, они вошли в затянутую ковром глухую комнату. Здесь на столах и на мебели в беспорядке были разбросаны куски материи, тюль, части костюмов, ножницы и нитки.

— Теперь вы — мой! — проговорило домино, запирая дверь на ключ.

Литта теперь только решил, что все это ему очень не нравилось. И что это за домино и кто она такая?

— Узнаете меня? — спросила его спутница, снимая маску.

Это была баронесса Канних.

— Вы останетесь со мною, я так хочу.

Литта покачал головою.

— Напрасно, баронесса!

Канних постояла с минутой как растерянная, потом, крепко, до боли кусая нижнюю губу, прошла несколько раз по комнате взад и вперед, словно забыв, что она не одна, и, наконец, остановившись пред Литтой, протянула ему ключ, говоря:

— Ступайте, но только помните, что ни одна женщина не простит вам никогда того, что вы делаете.

Литта, выйдя в коридор, отыскал прямой ход в комнату, где они переодевались, и, скинув там домино, уехал домой, не заглянув в зал, откуда слышалась музыка и где бал еще продолжался.

XV. Сестры <...>

XVI. В Гатчине

«Нет, конечно, довольно, нужно разом решить все это», — думал Литта, сидя в санях, гладко скользивших по дороге в Гатчину.

Ждать Литте пришлось очень долго...

Наконец за дверью послышались быстрые, сердитые шаги, и Павел Петрович вышел в приемную, слегка подергивая плечом на ходу.

Литта успел уже приготовиться и стоял, почтительно вытянувшись. Цесаревич оглядел его с ног до головы, близко, совсем близко подошел к нему и, не здороваясь, резко проговорил:

— Чем могу служить?

Графу показалось, что Павел Петрович нарочно заговорил по-русски, чтобы резче подчеркнуть свое неудовольствие. Он сделал низкий поклон и подал цесаревичу сложенную вчетверо бумагу, которую держал в руках, по-русски же ответил:

— Прошу у вашего высочества милости.

Павел Петрович нервно почти выхватил бумагу из рук Литты, развернул ее и стал читать.

И вдруг, к своему удивлению, граф увидел, как по мере чтения менялось сердитое выражение лица Павла Петровича. Пробежав бумагу до конца, он совсем иными — ласковыми — глазами взглянул на мальтийского рыцаря и со своею доброю улыбкой, при которой углы губ опускались у него, тихо проговорил:

— Вы просите отставки?

— Так точно, ваше высочество.

— Зачем?

— Думаю уехать. По многим причинам мне бы не хотелось дольше оставаться в Петербурге. Я бежал в Россию от того же самого, от чего теперь приходится бежать мне отсюда. Шесть лет назад, в Неаполе...

И Литта рассказал, что было с ним в Неаполе и почему он явился в Россию.

Цесаревич слушал, не перебивая.

— Теперь она здесь? — спросил он, когда Литта кончил.

— Да, — тихо ответил тот.

Павел Петрович положил ногу на ногу и задумался.

— Теперь она свободна, — заговорил снова Литта, — но я... я связан по-прежнему.

— А она... продолжает к вам относиться все так же?

Литта ничего не ответил. Вчерашний взгляд Скаврнской, которым она встретила его в Эрмитаже, живо вспомнился ему.

— Да, — сказал Павел Петрович, — другого выхода нет, вам нужно ехать. Нужно, чтобы она забыла вас, чтобы вы совсем исчезли для нее, умерли... И медлить нельзя... Вы когда думаете ехать? — спросил он вдруг, по своей привычке никогда не откладывая принятого раз решения.

— Конечно, как можно скорее, — ответил Литта, — как только выйдет отставка.

— Об этом позабочусь я сам, — перебил Павел Петрович, — это не задержит.

— Потом я жду денег из Италии, у меня здесь долги, нужно рассчитаться с ними.

— Хорошо. Так, пока устроитесь, можете переехать сюда и житье в Гатчине вплоть до отъезда. Я буду очень рад.

XVII. На пути

Очутившись снова в санях по дороге из Гатчины в Петербург, Литта почувствовал, что ему дышится легче, чем утром. Было ли это оттого, что разговор с цесаревичем облегчил его душу, или утомление от бессонной ночи достигло того высшего предела, когда тело начинает ослабевать и в нем появляется сонная, успокоительная истома, или, наконец, просто оттого, что он, долго не бывавший за городом, дышал теперь свежим воздухом поля, покрытого чистым снегом, но только Литта чувствовал эту легкость в груди и, прислонившись к спинке саней и закутавшись в шубу, думал: «Да, уеду теперь, и все будет кончено». И он мысленно уже прощался с этим снегом, к которому успел привыкнуть и который ему не суждено будет, вероятно, скоро увидеть, и с этою лихою ездой на тройке, и со всем, что он оставил в Петербурге...

Сани стали возле маленького домика, потонувшего в снегу, с покосившимся крылечком и с освещенными окнами.

«Станция! — догадался Литта, взглянув на столб с надписью на приколоченной к нему доске. — Лошадей менять будут».

С другой стороны саней подошел почтовый староста и, тоже сняв шапку, проговорил, видимо, привычным голосом, не в первый раз в жизни повторяя свои слова:

— Придется обождать маненько — лошадок-то нетути...

Литта нахмурился, но, зная по опыту, что при таком известии всякие разговоры со старостой напрасны, молча вылез из саней и, приказав позвать к себе смотрителя, поднялся по ступенькам крылечка в холодные сени, слабо освещенные сальным огарком в помещенном на стене фонаре.

Эта роскошь была несколько необыкновенна.

— Милостивый государь мой, сударь, — остановил Литту неизвестно откуда появившийся теперь возле него смотритель, — не угодно ли вам уже здесь скинуть шубу, потому что там, — он показал на комнату для приезжих, куда хотел войти Литта, — придворная княгиня, так холода им нанесете... Позвольте, я сам помогу вам... и шубку к себе отнесу, — расторопно суетился смотритель, заметив богатую одежду Литты.

Граф, нагнувшись, вошел через низкую дверь в тесную комнатку станции.

На диване, под наклеенными на стене лубочными картинками, сидела старушка в белом чепчике, а против нее у стола спиною к двери та, которую смотритель назвал «княгиней».

Но Литта сейчас же узнал эти светлые золотистые волосы, эти плечи под красной шелковой косынкой, манеру ее, руки... Это была «она», живая, прекрасная, милая.

Они оба, решив сегодня ночью уехать как можно скорее из Петербурга, казалось, сделали все от них зависящее, чтобы не встретиться: он возвращался из Гатчины, куда ездил хлопотать об отставке, она отправлялась в свою пригородную мызу Старово, чтобы ждать там себе дозволения переехать в Москву, — и вот именно потому, что они сделали все, чтобы не видаться, они и сошлись, встретились лицом к лицу, так что отступление было невозможно.

Скавронская повернула голову и почему-то встала при виде Литты. Она сделала торопливое движение, как бы ища выхода, куда скрыться из этой комнаты.

И вдруг графу пришла ужасная мысль, что она может подумать, что он ехал за нею по пятам и что назойливо искал с ней увидаться.

— Графиня, — заговорил он, подходя, — я не ждал этой встречи... я не мог думать, что увижу вас. Я возвращаюсь из Гатчины, от генерал-адмирала, которому возил свою просьбу об отставке...

Это было первое, что ему пришло в голову, и он говорил это, чувствуя, что нужно было говорить ему.

Старушка няня в белом чепце тоже привстала со своего места и, испуганно взглянув на Литту, узнала его, метнулась из стороны в сторону и, часто заморгав своими слипающимися старческими глазами и умигивая наворачнувшиеся слезы, как тень проскользнула мимо Литты и вышла из комнаты.

Он и Скавронская остались одни. Литта смотрел и ждал, что ответит Екатерина Васильевна, что скажет она; все его обеты, борьба и покорность пред испытаниями исчезли и улетучились: жизнь зависела теперь от нее.

— Отставка? — силилась она понять его слова. — Вы подаете в отставку?.. Как же это? Я слышала, что, напротив, вы должны получить повышение... награды...

— Какое повышение? Кто вам сказал это? Ложь все!.. Я завтра же уеду отсюда, я поселюсь в Гатчине... пока, до отъезда... Ложь!.. Я люблю вас... одну только вас... в вас мое счастье... радость моя... вся жизнь для меня — вы одна...

Екатерина Васильевна снова опустилась на стул и слушала его, вбирая в себя, ловя его слова, и, закрыв лицо руками, все ниже и ниже нагибала голову... Счастливые слезы стали душить ее, и она заплакала.

— Так это неправда? Все еще любите?.. Не забыли? — заговорила она сквозь слезы и протягивала ему руки и, улыбаясь, опять говорила...

Литта, испытывая неизъяснимую жалость к ней, любовь, восторг и радость, пригнулся к земле и, опустившись на колено, поймал руки любимой женщины и стал целовать их. Но вдруг на его груди слегка звякнула его мальтийская цепь.

Литта вздрогнул и поднялся с колен. Ноги его тряслись, глаза горели. Он схватился за голову, приходя в себя.

— Нет, графиня, — проговорил он, — вы знаете, я связан... Я не свободный человек... Мы не должны любить друг друга...

Скавронская встала со своего места, пошатнувшись, сделала два шага к нему и опустила руку ему на плечо.

— Ну, прощайте, — проговорила она. — Прощайте! Мы не увидимся с вами?

— Нет, графиня... лучше...

— Да, лучше, — ответила она, — уезжайте... уезжайте... скорей!..

И снова, не совладав с собою, граф вдруг охватил молодую женщину, прижал к себе, и на один миг счастье вернулось к нему.

— Прощай навсегда! — шептал он.

Крючок у двери стукнул, и распорядительный смотритель влетел в комнату, заявляя, что лошади готовы.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I. Курьер из Италии

О приезде итальянского курьера в Гатчине узнали в тот же день (цесаревичу были привезены тоже некоторые вещи), и Литта очень обрадовался этому известию. Он сейчас же подумал, нет ли для него у курьера каких-нибудь пакетов. Важные бумаги, весьма естественно, боялись доверять почте и обыкновенно ждали okazji для их пересылки. Документ на получение по переводу на банк или просто деньги были в данную минуту очень важны для Литты, и он почти был уверен, что с приехавшим курьером пришло если не это, то, во всяком случае, какое-нибудь извещение о деньгах. Он доложил цесаревичу о причине своей отлучки из Гатчины и отправился в Петербург, с тем чтобы побывать только у курьера.

Литта застал Мельцони в номере гостиницы. Тот встретил своего старого неаполитанского знакомого графа довольно равнодушно, но Литту в первую минуту неприятно поразила необходимость снова столкнуться с этим человеком, который ему был не по душе теперь. Он не знал, что курьером прислан именно Мельцони, и, зная это, просто написал бы из Гатчины; поехал же Литта лично, чтобы повидать человека, прибывшего из Италии, родной его страны... И вдруг этим человеком оказался Мельцони.

— Вот мы снова встретились с вами, граф, — заговорил Мельцони, здороваясь с Литтою. — Садитесь! Как вам живется здесь? Я ведь знал, что вы тут... хотя, помните, после нашей дуэли вы как-то исчезли очень скоро из Неаполя.

Мельцони, как бы с полною готовностью сделать Литте всякое удовольствие, встал, достал ключи, вытащил из-под постели большой чемодан, отпер его и начал рыться в нем.

— Вот, вот, — наконец проговорил он, доставая несколько пакетов, и, подойдя к Литте, подал их ему.

Граф стал быстро распечатывать полученные им пакеты.

— Что, граф, интересные новости получили? — спросил Мельцони.

— Да, очень, — ответил Литта и стал собирать свои бумаги.

— Узнали что-нибудь о ваших бывших имениях? — опять спросил Мельцони так равнодушно, как только мог это сделать.

— О моих бывших имениях? — переспросил Литта. — Что это значит?

Мельцони улыбнулся, заранее предвкушая удовольствие, какое ему предстояло сейчас, так как он берег для Литты очень интересную новость.

— Очень просто! — проговорил он. — Декретом Французской республики, только что изданным, все поместья Северной Италии, принадлежащие дворянству и монашеским орденам, отняты у прежних владельцев и объявлены собственностью народа.

Литта сразу понял теперь тот покровительственный тон, которым считал себя вправе разговаривать с ним Мельцони. Но он понял также, что он, за минуту пред тем считавший себя богатым человеком, стал теперь нищим, потому что все его родовые командорства находились в Северной Италии и он лишился сразу всего состояния.

Как, однако, ни было ужасно для него это известие, как ни вглядывался Мельцони в его лицо, чтобы уловить хоть тень, хоть малейшее выражение волнения, лицо Литты осталось совершенно спокойно, как будто дело вовсе не касалось его.

— Благодарю вас за известие, — сказал он, вставая, — до свидания, — и, поднявшись во весь рост, с особенным достоинством поклонился итальянцу, удивленно смотревшему на то, как он принимает известие о внезапной потере своего состояния, а затем, выпрямившись, направился к двери. — Вы мне позволите, — обернулся он к Мельцони, уходя, — прислать вам какой-нибудь подарок в благодарность за привезенные пакеты?

Мельцони, потеряв уже свой дерзкий, покровительственный вид, невольно поклонился ему ниже, чем хотел сделать это.

II. Зачем приехал Мельцони?

В коричневой комнате с распятием в задней стороне кондитерской, куда Гидль ввел Мельцони, было уже много народа. Все сидели за столом и поднялись навстречу Мельцони. Сидевший на главном месте Грубер подошел к нему, спрашивая:

— Синьор Мельцони?

Итальянец отсалютовал низкий, почтительный поклон и подал Груберу сложенную в три раза бумагу, которую уже заранее вытащил из кармана.

Грубер стал знакомить его с присутствующими: Бжозовский, Вилли, Эверанжи, Вихерт, называл он, и Мельцони каждому низко кланялся и получал такой же ответный поклон. Они сели. Грубер указал Мельцони место против себя.

— У вас есть бумаги? — спросил он.

Мельцони вынул несколько запечатанных писем и передал иезуиту.

— Ну что, как идут дела? — заговорил тот снова. — Что, его святейшество все еще не решается гласно восстановить наш орден?

— Кардинал Консальви прилагает все старания, — ответил Мельцони.

— Ну что ж, дождемся, а пока будем и так работать.

Иезуиты говорили по-латыни.

— Одно из самых важных сообщений, которые я привез, — начал Мельцони, — это, вероятно, появление в России перфектибилистов.

— Все-таки! — не удержался один из иезуитов, ударив по столу кулаком.

— Не перфектибилистов, а иллюминатов... иллю-

минатов, — повторил Эверанжи, обращаясь к Мельцони. — С тех пор, как мы добились изгнания их из Баварии под этим именем и разгрома их шайки, пусть они так и называются.

Тайное общество перфектибилистов было основано Вейсгауптом с целью противодействия иезуитам.

— Не в этом дело! — перебил Грубер, кусая ногтею. — Я уже имею сведения — мне казалось, по крайней мере, что они тут устроили свое гнездо...

— Да, — продолжал Мельцони, — у нас стало известно, что они направились сюда... и даже сам Adam Vetus* должен быть здесь...

Он знал, какое впечатление должно произвести на отцов-иезуитов это имя.

— Adam Vetus! — шепотом повторило несколько голосов.

Только Грубер и Бжозовский казались спокойны. — Я верю, что при помощи Божией и этот человек нам будет не опасен; может быть, мы справимся и с ним, — произнес первый.

Но его лицо стало все-таки беспокойно. Видимо, сообщенное Мельцони известие было гораздо неприятнее ему, чем колебание папы восстановить орден иезуитов.

— Однако нужно принять меры; но что сделать? — спросил Эверанжи. — Главное, нет такого человека, которого они подпустили бы к себе.

— У меня, пожалуй, найдется такой человек, — процедил сквозь сжатые зубы Грубер. — Еще что? — обратился он к Мельцони.

— Затем наши отцы находят, что пора вам приступить к деятельности, более открытой в России, пора свергнуть Сестренцевича**.

— Всеми бы силами души желали этого, — вздохнул Грубер, — да рано еще. Впрочем, об этом я сам напишу подробно. — И он опять вопросительно взглянул на Мельцони.

— Еще, — продолжал тот, — в Италии желали бы знать, как идет дело о склонности графа Литты к русской графине, которая вернулась сюда.

В Италии, собственно говоря, не особенно желали знать это, потому что там были дела и поважнее любви Литты, но Мельцони самому хотелось получить эти сведения. Грубер с улыбкою глянул на него и произнес коротко, не вдаваясь в объяснения:

— За этим следят.

Мельцони почувствовал себя слегка неловко.

— Относительно склонности русского наследного принца к Мальтийскому ордену тоже немалый интерес возбужден в Италии, — опять заговорил он, как бы желая переменить разговор. — Вот, кажется, все главное, а частности еще узнаете из писем.

Грубер стал распечатывать письма и, по мере того как просматривал их, передавал другим. Впрочем, некоторые он оставлял у себя, не показывая.

— Ну, а теперь, — заговорил он, покончив с письмами, — докажем нашему брату из Италии, что мы тут не бездействуем и тоже имеем кое-какие сведения! — И, говоря это, он отыскал в лежавших пред ним на столе бумагах небольшой листок, весь исписанный очень мелко. — Собрание иллюминатов, — прочел он, — назначено на двадцать пятое число вечером. Они соберутся в доме графа Ожецкого...

— Но ведь самого графа нет в Петербурге, и с тех пор, как он уехал за границу, дом его стоит заколоченным, — заметил кто-то.

— Иллюминатам отпрут его, — проговорил Грубер. — Они соберутся в доме графа Ожецкого, — повторил он, — и один из наших братьев проследит, кто

* Древний Адам.

** Богуш Сестренцевич (1731—1827 гг.) — митрополит всех римско-католических церквей в России, противодействовавший иезуитам.

будет входить в этот дом, а для того, чтобы узнать, на чем решат они, от нас будет там человек, от которого мы выведаем все нужное. Вот видите, синьор Мельцони, и мы тут знаем кое-что...

Итальянец почтительно слушал, невольно удивляясь предприимчивости и предусмотрительности Грубера.

— Дело наше в России в опытных руках, я вижу теперь, — произнес он вслух.

Грубер самодовольно улыбнулся.

Когда они наконец разошлись, Мельцони вышел из кондитерской задним ходом вместе с Грубером. Они сделали круг и вышли на Милльонную.

— Ну, теперь вы найдете дорогу? — спросил Грубер.

— Да. А вы куда?

— Я к графу Литте. Мне нужно повидаться с ним.

— А вы с ним в хороших отношениях? Вы видите? — спросил Мельцони.

— Конечно... Да, в хороших отношениях, — подтвердил Грубер, прощаясь с ним.

И они разошлись.

III. Лавка бриллианщика

Старик Шульц встретил Литту очень приветливо. Небольшая, низкая, но чистенькая и опрятная лавка была очень уютна и походила скорее на обыкновенную комнату с зеркалом, простым круглым столом и креслом с высокою спинкою у окна. Только небольшая витрина с ювелирными вещами в углу говорила о профессии жившего тут хозяина. Шульц встал со своего кресла навстречу Литте, улыбнувшись ему, как желанному гостю.

— Не думайте, что я приехал к вам с деньгами, — произнес граф. — Напротив, я приехал сообщить вам, что их у меня не только нет, но и не будет.

— И не будет? — переспросил Шульц.

— Да. Я только что получил известие, что лишен всех своих земель и всего состояния. Мои командорства конфискованы правительством Французской республики. И вот я приехал к вам, чтобы покончить со своим долгом. Вот, видите ли, там мною заплачено уже тысяча рублей, а теперь все, что я могу сделать, — это вернуть вам цепь с крестом, предложив эту тысячу рублей вам в виде платы за то, что я пользовался вашей вещью.

— Хорошо, — проговорил Шульц, — я приму вещь обратно и верну вам вашу тысячу рублей.

— Нет, на это я не соглашусь, — перебил его Литта. — Зачем же? Пусть деньги останутся у вас.

— *Poursuivre des biens pénissables, c'est se vouer à l'éternité de la mort**, — проговорил вдруг Шульц на совершенно чистом французском языке.

— Лагардин-Нике! — воскликнул Литта, узнав старика.

Тот поднял голову и спокойно ответил:

— Да, я, тот, кого вы знали в Неаполе под именем Лагардина-Нике.

Граф почувствовал как будто какое-то смущение.

— Что же это значит? — спросил он.

— Это значит, что я, открывшись вам, надеюсь на вашу скромность. Вы видите теперь, что я приехал в Петербург не с одним делом скромного бриллианщика. Впрочем, мы, вероятно, еще увидимся с вами, и скорее даже, чем вы думаете. А пока позвольте передать вам. — И он, достав из конторки пачку билетов, подал их Литте.

— Зачем бы вы ни приехали сюда, можете быть покойны, что я не стану выдавать вас, — ответил Литта. — А теперь, если уж вы непременно хотите

вернуть мне деньги, то дайте за них какую-нибудь вещь; мне нужно послать подарок тут одному приезжему...

— Если вам это будет угодно, — ответил бриллианщик, подходя к витрине, и, вынув несколько вещей, разложил их на столе. — Если вам угодно, я даже сам пошлю вещь по адресу, — добавил он. — Ведь вы хотите послать ее?

— Да. Тут приехал курьер из Италии, его зовут Мельцони, он остановился в гостинице. Мои слуги в Гатчине; если вы пошлете, буду очень благодарен.

— Вот пошлите эту вещь, — показал старик табакерку из какого-то особенного, совершенно черного, как уголь, сплава, с широкою плоскою крышкой, на которой посередине был вделан большой бриллиант, ярко блестевший на черном фоне.

Литта отложил эту табакерку и, повторив еще раз, кому ее следовало послать, написал благодарственную записку Мельцони, чтобы отправить ее вместе с вещью, простился и вышел.

Может быть, в другое время его больше заинтересовало бы это неожиданное для него появление в России старика, которого он видал в Неаполе и который сделал ему когда-то странное предсказание, но в настоящую минуту он слишком был занят своими мыслями.

В самом грустном, отчаянном положении заехал Литта в свой городской, занимаемый им в Петербурге дом, чтобы осмотреть, что можно было продать там, и, к удивлению своему, застал у себя Грубера.

«И что ему надо еще от меня?» — подумал Литта.

А Грубер между тем уже ласково здоровался с ним и стал объяснять свое появление тем, что случайно узнал, что граф в городе, и спешил ему засвидетельствовать свое почтение, имея, между прочим, в то же время и дело к нему...

IV. В старом доме

Груберу важно было лишь одно — чтобы Литта попал как-нибудь на собрание перфектибилистов, или иллюминатов, как называли их иезуиты. Он выбрал именно его, зная, что у иллюминатов существовали известные степени посвящения и что Литта, достигший в Мальтийском ордене высшего звания, может быть принят у них как один из посвященных уже. Была также вероятность, что известные честность и прямотушность мальтийского моряка откроют ему свободный доступ в их среду, на что ни сам Грубер, ни один из иезуитов не могли рассчитывать. Иллюминаты знали их всех наперечет. И вот Грубер надеялся, что, как бы Литта ни был принят ими — как друг или враг, — впоследствии можно будет выпытать у него нужные сведения. Лишь бы только Литта попал на собрание.

И в самом деле расчет иезуита, казалось, оправдывался.

Заколоченный, неприветливый, старый, необитаемый дом графов Ожецких был расположен на отдаленном берегу реки Фонтанной, почти за чертою города. Широкий диск луны освещал этот дом с заколоченными окнами, казавшийся погруженным в глубокую таинственную тишину, когда Литта, оставив свой экипаж далеко позади, подошел к нему пешком. Он приблизился к воротам ограды. Они не были заперты. Он перешел двор, ярко освещенный луною, и скрылся в тени подъезда. У двери он стукнул особенным образом, как научил его Грубер, и, к удивлению его, она отворилась.

Собственно говоря, до сих пор граф не особенно верил еще, что тут есть в самом деле что-нибудь. Но теперь, при виде отворившейся ему двери и стоявшего

* Преследовать преходящие блага — это значит обречь себя на вечную смерть.

пред ним старого слуги, он начал невольно интересоваться, что будет дальше с ним и в какой вертеп его заведут.

«Если это ловушка, тем лучше для меня, — решил Литта и сказал слуге условленный пропуск, когда же тот молча поклонился ему и повел по лестнице, подумал: — Он не запирает, однако, двери... Странно!..»

Пройдя несколько комнат и, между прочим, большой танцевальный зал, они подошли к двери, ведущей, вероятно, в бывший кабинет хозяина.

В комнате, освещенной восковыми свечами, сидело человек пять. Двух из них Литта знал: это были Александр Федорович Лабзин и старый бриллианщик с Морской улицы.

— Вот видите ли, — заговорил старик, вставая ему навстречу, — я говорил, что мы увидимся с вами, так и вышло. — И он, видимо, довольный приходом Литты, подошел к нему, протягивая руки.

— Лагардин-Нике... господин Шульц... — путаясь, забормотал Литта, не ожидавший ни этой встречи, ни того приема, который делали ему.

— Называйте меня здесь прямо: Vetus; брат я для вас теперь Ветус, и больше ничего.

— Позвольте, — несколько оправившись, остановил его Литта, — вы меня встречаете, точно заранее ждали меня.

— Конечно, ждали!, — спокойно ответил Ветус. — Неужели вы думаете, что мы пустили бы к себе человека, которому не следовало бы быть среди нас? Мы, давая сведения через известное нам лицо отцу Груберу, знали, что он выберет именно вас, по крайней мере, рассчитывали так, и это было ему подсказано. Мы никогда не собираемся здесь, а знак и пропуск, открытые вам Грубером, фальшивы. Если бы он сам вздумал явиться к нам или выдать нас, тут никого не нашли бы. Впрочем, Грубер слишком хитер для этого.

— Но мне было сказано, что я иду к врагам своей церкви, — перебил Литта.

— Враги церкви! — усмехнулся Ветус. — Вы увидите, какие мы враги церкви... Нет, граф, не мы враги церкви, и сегодня же вы убедитесь в противном, если захотите. — С этими словами старик подошел к столу, взял с него знакомую уже Литте цепь с мальтийским крестом и, приблизившись к нему, снова заговорил: — Вы знаете, какая это цепь? Эта цепь и этот крест — один из трех, принадлежавших великому магистру Лавалетте. — Вместе с этим Ветус сделал рукою знак высшей мистической власти и обнял Литту левою рукою, приставив свою ногу к его ноге, колено к колену и грудь с грудью, причем шепнул ему на ухо: — Он жив в сыне!

Литта понял знак, прикосновение и слова. Теперь он верил Ветусу и обязан был хранить в тайне все, что увидит здесь и узнает.

— Вы уже носили эту цепь с честью, достойный брат, — продолжал старик, — наденьте же ее снова; она принадлежит вам по заслуженному праву.

Литта стал на одно колено, и Ветус надел на него драгоценную древнюю цепь Лавалетты.

После этого он вернулся на свое место и, указав графу на стул, ударил три раза в стол с ровными промежутками, последний раз — сильнее.

— Собрание открыто, — произнес он.

— Сегодня должен быть приведен к нам обличитель, успели ли вы, брат, сделать все, что было необходимо? — спросил один из сидевших у Ветуса.

Тот вынул из кармана часы — дорогой прекрасный хронометр — и, посмотрев на них, ответил:

— Да, в эту минуту, вероятно, все уже сделано. Можно начать...

Вслед за тем, встав, он обернулся в сторону города и, сосредоточив всю силу своей воли и весь как-то напрягшись, прошептал несколько слов.

— Иди! — расслышал через несколько времени Литта снова повторенные стариком слова.

— Иди! — приказывая твердым, сильным голосом, повторил Ветус и сделал движение руками, как бы приглашая к себе кого-нибудь.

Подождав еще несколько минут, он вздохнул, вернулся на свое место и сел с закрытыми глазами.

Все молчали, наступила полная тишина. Казалось, все ждали чего-то, и Литта, подчинившись общему настроению, тоже стал ждать и инстинктивно взглядывал на дверь.

Прошло много времени, но оно как-то не тянулось совсем. Ожидание было нетрудно. Наконец Ветус открыл глаза, склонил голову в сторону двери и прислушался.

В пустынном зале раздались шаги, слышавшиеся все яснее. Они постепенно, ровно приближались к двери... Вот они затихли. Дверь растворилась, и на пороге ее показалась тощая, маленькая, нервная фигурка Мельцони.

V. Обличитель

Старик бриллианщик послал выбранную по его указанию Литтою табакерку Мельцони с запискою графа.

«Примите эту вещь в благодарность за Ваше беспокойство по доставлению мне пакетов, — написал Литта, — и верьте, что, если я смогу быть Вам полезным когда-нибудь, Вы можете обратиться ко мне, заранее будучи уверены, что Ваша просьба будет исполнена».

Мельцони пробежал записку и, развернув принесенную ему вещь, не мог с искреннею, неподдельною радостью не удивиться щедрости Литты. Бриллиан сиял чудным блеском, как звезда, так и переливаясь, так и играя всеми цветами радуги.

У итальянца невольно разбежались глаза, и он стал любоваться подарком. Он придвинул свечи, поворачивал из стороны в сторону табакерку, улыбался, вглядывался и заставлял еще ярче светиться драгоценный лучистый камень. Вода в нем в самом деле казалась дивною.

«Однако откуда он мог достать это? — соображал Мельцони. — Ведь вещь не дешевая. Значит, у него не все еще потеряно. Да, впрочем, и по виду его нельзя было судить».

И он снова принимался смотреть на блеск камня. А между тем вделанный в черную поверхность бриллиан постепенно, но верно делал свое дело. Мельцони не заметил, как его мелькание утомило сначала его глаза, потом почувствовал какое-то смешанное чувство не то усталости, не то совсем особенной бодрости во всем теле, и утомление глаз перешло в его мысли, в мозг... Еще минута — голова его качнулась вперед, и он остался недвижимым на своем месте. Он спал.

Прошло несколько времени. Вдруг какая-то чисто внешняя сила, которой Мельцони не мог сопротивляться, толкнула его, заставила выпрямиться, подняться, надеть на себя верхнее платье и идти на улицу, вперед, туда, куда звала его эта сила. Он повиновался и шел с открытыми, но бессознательно уставленными в одну точку глазами, шел твердым, поспешным шагом, поворачивая из улицы в улицу и выбирая самый короткий путь к заколоченному снаружи дому графа Ожецкого. Он сразу нашел дверь, которая осталась не запертою, поднялся по лестнице, прошел зал и очутился на пороге комнаты, где его ждали.

Ветус, удовлетворенный, кивнул головою, затем встал и протянул руку по направлению к Мельцони. Тот послушно остановился. Глаза его по-прежнему были открыты, руки бессильно опущены, во всей его фигуре были видны покорность и подчинение. Старик

чувствовал свою власть над ним и заставлял его повиноваться.

— Можешь ли ты говорить? — спросил он.

Мельцони сделал усилие шевельнуть губами.

— Отвечай! — приказал Ветус.

— Да, могу, — вздохнул Мельцони.

Он тяжело дышал и говорил с большим трудом. Старик приблизился к нему и положил руку ему на голову. Мельцони стал дышать ровнее.

— Можешь ли ты видеть себя наяву? — спросил опять Ветус. — Ты едешь в Петербург, въезжаешь в заставу. Что ты везешь с собою? Ты видишь это?

Лицо Мельцони сделалось осмысленнее, и он проговорил:

— Да.

— Что же ты везешь?

— Письма.

— Кому адресованы самые важные из них?

— Отцу Груберу.

— А! — произнес Литта, внимательно следивший за каждым словом.

Ветус движением руки остановил его и снова обернулся к Мельцони:

— Тот, кто посылал тебя, давал тебе словесные поручения?

Мельцони опять не ответил, и лицо его опять стало безжизненно.

— Ты стоишь теперь пред кардиналом Консальви, — сказал старик, — что он приказывает тебе?

Фигура Мельцони сейчас же приняла подобострастный вид, и он, как будто слушая, склонил голову.

— Синьор Консальви говорит мне, чтобы я поторопил братьев.

— Каких братьев? — перебил его Ветус.

— Иезуитов, — ответил Мельцони, словно недовольный тем, что его перебили, — чтобы я поторопил братьев в Петербурге начать действовать. Он говорил мне, что я увижусь с ними в кондитерской Гидля. Пора им действовать, пора им свергнуть митрополита Сестренцевича и самим занять его место.

— Теперь ты в Петербурге, в кондитерской Гидля, — проговорил Ветус, — окружен своими и рассказал им о приказании. Что отвечает Грубер?

— Он отвечает, что и сам рад бы действовать, но еще не время.

— Знает ли отец Грубер, что митрополит Сестренцевич вполне достойный человек, что это истинный пастырь своего стада, который заботился о нем, не ищет для себя никакой выгоды и не хочет вмешиваться в мирские дела, заботясь лишь о духовных?

Мельцони, видимо, делал усилие повиноваться.

— Да, знает, — наконец проговорил он.

— А остальные его братья?

— Тоже, — ответил Мельцони.

— И все-таки хотят зла этому человеку, хотят уничтожить его?

— Да.

— Чего же ищут они для себя?

Мельцони сделал новое усилие и с большим трудом проговорил:

— Власти!

Литта сидел, закрыв лицо рукою, изредка только отнимая ее и взглядывая пред собою. Ему казалось ужасным, непростительным то, что он узнавал теперь.

— Они ищут этой власти для себя, пользуясь без разбора всеми средствами? — продолжал спрашивать Ветус.

— Всеми средствами, — повторил Мельцони.

Старик грустно покачал головою.

— А где теперь Грубер? — спросил он вдруг.

Мельцони не ответил.

— Посмотри вокруг этого дома... На дворе никого нет?

— Никого.

— Иди дальше.

Мельцони стал покачиваться, как будто со вниманием высматривал что-нибудь, и наконец широко улыбнулся.

— Вижу! — сказал он.

— Где же он?

— Тут, вблизи ворот, стоит в тени. Он закутался. Ему холодно.

— Хорошо, — сказал Ветус, — ты выйдешь другою дорогою: из зала повернешь направо, пойдешь по коридору и спустишься в сад; там есть тропинка; по ней выберешься далеко от того места, где стоит Грубер. Слышишь?

— Да! — сказал Мельцони и повернулся.

— Погоди! Ты придешь домой, ляжешь в постель и проснешься завтра, совершенно забыв, что с тобою было сегодня вечером, и завтра принесешь продавать подаренную тебе табакерку бриллиантнику Шульцу, в Морскую, и спросишь за нее тысячу рублей. Ступай!

Мельцони опять повернулся и пошел тем же размеренным шагом, каким появился здесь.

VI. Исповедь баронессы

Исповедовавшихся было не много. Баронесса Канних ждала своей очереди. На ней было простое черное платье, густая вуаль скрывала ее лицо.

Грустно сидела она, опустив голову, в ожидании, пока церковник сделает ей знак идти. Вот наконец он кивнул головою. Баронесса почему-то вздрогнула, кровь бросилась ей в лицо, и она быстрыми, частыми шагами пошла за колонны.

Тут сумрак сделался как будто гуще. Канних опустилась на колени на покатуку скамеечку у маленького решетчатого оконца.

— Главный грех мой, — начала баронесса давно уже обдуманные и несколько раз повторенные себе слова, — главный грех мой в том, что я люблю, — она запнулась, — да, я люблю, — повторила она, — и боюсь, что эта любовь преступна... Я вдова.

— Любовь твоя разделена? — спросил голос.

— Нет. И в этом вся беда моя. Мало того, она отвергнута.

— Почему?

— Не знаю и боюсь думать об этом.

Она замолчала, опустив голову.

За решеткой тоже молчали.

— Он ссылался на свои обеты? — вдруг послышался голос оттуда. — Он говорил, что не свободен?

— Да, — подхватила она в приливе какого-то вдохновения, — да, он связан обетом, но не на него ссылался он. Он просто прогнал меня, дерзновенно попрали ногами мое чувство...

Она старалась говорить возвышенно, чтобы идти в тон с торжественностью минуты, и начала прерывающимся голосом подробно рассказывать все происшедшее на балу в Эрмитаже, не щадя ни себя, ни Литты.

— Да, ты виновата, — послышалось в ответ, когда она кончила, — ты виновата, но он еще виновнее тебя... Он не должен был идти за тобою, не должен был вовлекать твою слабость во грех.

— О, я знаю свою вину и раскаиваюсь в ней! — вздохнула баронесса. — Но простится ли она мне?

— Смотри по тому, что ты намерена будешь делать теперь.

— Бросить, бросить навсегда, очиститься, — затопилась Канних, делая даже руками движение, будто стряхивая с себя что-нибудь.

— И простишь ему, и оставишь безнаказанным его оскорбление?

Баронесса задумалась. Она боялась ответить, боялась солгать.

— Тяжело думать об этом, тяжело говорить, — произнесла она наконец и робко, как бы ища возражения, добавила: — Разве нужно простить, разве это было бы справедливо?

— Это было бы малодушно и непростительно! — произнес голос.

Баронесса вздохнула свободнее.

— Он виноват в своем грехе и должен понести кару за него, — продолжал голос. — И ты должна быть орудием ее. Такова воля справедливости. Твоя вина до тех пор не искупится, пока ты не покроешь ее его наказанием.

— Так что же делать? — с отчаянием шепотом произнесла баронесса.

— Прежде всего прервать с ним всякие сношения.

— О, всякие!.. — подтвердила баронесса.

— У него есть твои письма?

— Пустые записки... ничего не значащие.

— Всякая записка есть документ, и всякий документ значит очень много. Тебе нужно вернуть их назад.

— Но как же я получу их?

— Для этого прибегни к власти.

— К чьей? К какой власти? — не поняла баронесса.

— Поищи, подумай! У него, вероятно, есть враги из сильных мира сего... обратиться к ним.

«Зубов!» — мелькнуло у баронессы, и она, точно осененная свыше, тихо прошептала:

— Зубов, князь Платон...

— Небо внушило тебе это имя! — послышался ответ.

VII. Цель и средства

Грубер обещал на собрании иезуитов, что один из членов ордена будет послан им к дому графа Ожецкого, проследить, кто явится туда на заседание иллюминатов; но он никому не доверил этой важной обязанности и сам продежурил все время в тумане и сырости петербургской весны. Он вернулся домой после этого дежурства простуженным; голос его охрип, у него сделались насморк и кашель. Это было вдвойне досадно, потому что из наблюдений ничего не вышло. Он ничего не узнал или, пожалуй, узнал многое, хотя вовсе не то, что было ему нужно.

Он видел из своего темного угла за воротами, как пришел в дом Литта и как его туда пустили. Но, кроме графа, никто не входил. Грубер долго ждал. Наконец показалась какая-то фигура, и, когда она вошла в освещенную площадь двора, иезуит узнал Мельцони. В первую минуту он хотел остановить его, но сейчас же решил, что остановит итальянца потом, когда тот выйдет назад, и что это будет гораздо лучше. Теперь от Мельцони ничего нельзя было добиться, а тогда он будет пойман на месте.

И вот Грубер ждал, ждал долго и терпеливо, но ни Мельцони, ни Литта не вышли из дома и, кроме них, никто не входил туда.

Далеко уже за полночь иезуит решил обойти дом и, рискуя быть пойманным, пробрался в сад сквозь развалившийся забор, провалился несколько раз в снег и нашел наконец тропинку, которая вывела его к горю, далеко от самого дома. Тогда Грубер понял все: те, за которыми он следил, ускользнули от него по этой тропинке.

Он вернулся домой совсем больной, в отчаянии, что не узнал то, что его интересовало.

Он сидел с обвязанным горлом и с горчицей на спине, когда ему доложили о приходе Абрама. Грубер велел впустить его, поспешно снял свой горчичник и, приведя в порядок свой туалет, сел спиной к двери.

Абрам вошел и поклонился. Иезуит даже не обер-

нулся в его сторону, но остался сидеть, как был, не устаивая Абрама взглядом. Он всегда говорил с ним отвернувшись и шепча в это время молитвы.

— Вы звали меня? — спросил Абрам.

— Да, я звал тебя... Пять расписок графа Литты у меня; где шестая?

Абрам весь как-то съезжился, скорчился и ответил не сразу.

— Все расписки у вас, — проговорил он наконец, — по всем деньгам, что вы давали...

— Знаю, но ты взял еще расписку вместо отсрочки. Граф Литта подписал тебе еще три тысячи.

Робость и страх мелькнули в выражении лица Абрама. Он как бы машинально полез в шапку, вынул оттуда тряпицу и, развернув ее, достал расписку, склонился, почти ползком приблизившись к столику у кресла Грубера, положил документ и отскочил назад, к двери.

Иезуит не шелохнулся. Абрам ждал.

— Хорошо, — наконец проговорил Грубер, — ступай, возьми свою долю на камине!

Абрам кинулся к камину, схватил лежавшую там завернутую в бумагу стопку золотых и скрылся за дверью.

Как только он ушел, Грубер надел перчатки, осторожно двумя пальцами взял оставленную Абрамом расписку и стал окуривать ее ладаном, а затем приказал вошедшему на его зов слуге:

— Карету мне!

Когда ему подали карету и он, закутавшись потеплее, сел в нее, кучер спросил, куда ехать.

— К графу Литте, — приказал Грубер.

Литта сидел целыми днями у себя, и Грубер застал его дома.

— Не принимать, сказать, что я болен, — приказал граф камердинеру, но тот, несмотря на это приказание, все-таки ввел о. Грубера и на сердитый взгляд Литты ответил испуганным, недоумевающим взглядом, как будто не понял приказа графа.

— Ну, вот я приехал поговорить с вами, хотя совсем нездоров... простудился, — сказал Грубер, кашля и оглядываясь с приемами домашнего человека, которые он удивительно умел усваивать себе, куда бы он ни попадал.

Литта невольно догадался, где мог простудиться Грубер, и насмешливая улыбка мелькнула у него на губах. Иезуит принял эту улыбку за приветствие.

— Что же, граф, — начал он снова, — были вы тогда в этом доме? Узнали, увидели?

Литта понял, что иезуит приехал выпытывать у него, и прямо и откровенно ответил ему:

— Напрасно будете стараться; от меня вы ничего не узнаете.

— Неужели вы поддались их соблазну? — воскликнул Грубер, всплеснув руками и поднимая глаза к небу.

«Я заставляю тебя говорить!» — подумал он, стискивая зубы и зло посмотрев на Литту, и вдруг, резко повернув разговор, вынул из кармана шесть расписок графа и, развернув их, стал разглаживать рукою на столе.

Литта удивился, откуда они попали к нему.

— Есть одна возможность, — снова заговорил иезуит. — Я знаю, заплатить вы не можете, потому что ваше состояние потеряно; но, если вы захотите... если вы станете снова нашим другом, таким другом, что не будете иметь тайн от нас, тогда с этими расписками можно будет кончить очень легко.

Литта ничего не сказал, но так взглянул на Грубера, что тот сейчас же смолк и потом рассыпался хихикающим тихим смехом.

— Это, конечно, шутка, я шучу, граф, — подхватил он и, вдруг снова сделавшись серьезным, добавил: —

А, впрочем, от шутки до дела недалеко; часто и из шутки дело выходит.

Граф смотрел на него с таким выражением, которое яснее слов говорило, что он ждет только, когда Грубер уйдет, и что сам он уже с ним разговаривать не станет.

VIII. Чему учил пастор <...>

IX. Одиночество

Графиня Скавронская после своей встречи с Литтой на станции недолго прожила в Старове. Она захворала там и, боясь разболеться совсем, вернулась по настоянию няни снова в Петербург, не дожидаясь отпуска своего в Москву. Однако остановилась она теперь не у сестры, но поселилась в собственном своем, отделанном заново доме на Милльонной...

Среди этого однообразия, тоски, одиночества и скуки, на которые обрекла себя Скавронская, вдруг ворвался к ней Мельцони.

Он явился в ее дом с неотступным требованием, чтобы его пустили к графине, потому что у него есть важное дело до нее, не терпящее отлагательства...

Дело оказалось, в сущности, самым вздорным: Мельцони придрался к каким-то денежным счетам по Неаполю, уверив, что будто бы хозяин палатца, в котором жили там Скавронские, поручил ему переговорить. Однако Мельцони делал это с таким серьезным видом и так деловито, что графиня действительно поверила, что ему необходимо было видеть ее...

Она не могла знать, что она составляет давнишний предмет страсти для Мельцони, который из-за этого еще в Неаполе чуть не покончил с Литтой при помощи отравленной шпаги, и что до сих пор он мечтает и думает лишь с ней и невыразимо счастлив тем, что сидит теперь с нею и говорит и смотрит на нее. В его худеньком теле текла все-таки южная кровь, и, казалось, он на все был способен теперь, чтобы только назвать своею эту чудную «северную красоту», как он окрестил в своих мечтах графиню Скавронскую.

Узнав, что она больна, Мельцони стал просить позволения привезти эликсир, который у него есть и который делает чудеса, вылечивая, как китайский корень женьшень, от двадцати двух болезней.

Насилу Скавронская отделалась от него. Но Мельцони уехал с твердою уверенностью, что получил позволение привезти свой чудодейственный эликсир.

X. Обыск

Литта лежал у себя на постели и ворочался с бока на бок, напрасно сясь заснуть. Сон не шел к нему, и граф, думая об одном и том же, чувствовал, как устала его голова и усталость эта переходила во все тело. И предшедшую ночь он тоже не спал. Он слышал, как пробило полночь, потом час. Было уже около двух. И вдруг Литте показалось, что к двери его осторожно, на цыпочках кто-то подошел.

Литта спустил ноги с кровати, отыскал ими туфли и, надев на плечи халат, на цыпочках подошел к двери, ведшей в его кабинет, и приложил ухо. В кабинете был кто-то. Тогда Литта быстро распахнул дверь и остановился на пороге.

Кабинет был освещен. Свечка стояла на бюро графа, и ее заслоняла широкая спина наклонившегося над бюро человека, тень которого падала широкою половою на часть комнаты.

Литта узнал своего камердинера, возившегося над его бюро и гремевшего ключами.

— Что вы тут делаете? — спросил Литта.

Камердинер смутился и в первую минуту не знал, что ответить.

— Я... эчеленца... — начал он, — я хотел убрать здесь.

— В два часа ночи? — переспросил граф.

— Да, но я думал... я не знал... — бормотал камердинер.

Графа долгое время уже интересовало, кто мог тогда подложить ему в карету записку, приглашавшую его в кондитерскую Гидля. Теперь ему стала ясна связь ночной работы, за которою он застал итальянца, с этой запиской.

«Так вот оно что!.. Патер Грубер чисто ведет свои дела!» — подумал он и, приблизившись к бюро, бегло осмотрел его.

Он вспомнил, что, по счастью, все бумаги, более или менее важные, были у него в Гатчине и камердинер не мог ничего найти у него здесь.

В первую минуту, застигнув слугу врасплох, граф хотел было заставить его говорить и сознаться, но потом ему так стал противен этот итальянец, испуганно стоявший пред ним, что он мог только сказать ему:

— Ступайте прочь, ступайте — и чтобы завтра же вас не было у меня! Я вас не стану держать.

Литта долго просидел на диване, наконец почувствовал, что кто-то осторожно трясет его за плечо. Он открыл глаза. Пред ним стоял выездной лакей и будил его.

— Ваше сиятельство, — говорил он, — ваше сиятельство, там вас спрашивают. Приказали доложить вам сейчас же... по делу, говорят.

— Проведите меня прямо в кабинет графа и просите их сюда! — услышал в это время Литта за дверью, и вслед за тем к нему вошел Грибовский в сопровождении двух полицейских. — Ничего, не беспокойтесь, — бесцеремонно сказал он Литте, видя его в халате, — ничего... Я явился к вам по именному повелению.

Литта сделал знак людям выйти и, решительно не понимая появления у себя в доме зубовского секретаря с полицейскими, обратился к нему с вопросом:

— Что же вам угодно?

Грибовский подал ему бумагу, добавив:

— А вот, не угодно ли прочесть...

В бумаге стояло, что полковнику Грибовскому поручается потребовать у графа Литты письма баронессы Канних, а буде он воспротивится тому, то произвести обыск и отобрать письма.

— Что за вздор! — не удержался Литта. — Какие тут письма? У меня нет никаких. Правда, были какие-то записки, и если я найду их, то отдам, пожалуй.

— Кому как! — ответил Грибовский. — Для вас, может быть, вздор, а для баронессы это очень важно.

«Еще новая гадость!» — мелькнуло у графа.

— Послушайте, ведь все это не имеет же смысла, — сказал он. — У меня, правда, были записки, но я их уничтожил.

— Если вы будете упорствовать, мы примем должные меры, — возразил на это Грибовский.

Литта видел, что ему только хотелось приступить к этим «мерам».

— Позвольте в таком случае ключи, — добавил Грибовский, стараясь казаться равнодушным.

— А, если так, — произнес Литта, вставая, — то я вам скажу, что делать у меня обыск вы не имеете права. Иностранные резиденты и послы не подлежат обыскам. А я имею честь состоять уполномоченным державного Мальтийского ордена. Вот мои верительные грамоты. — И, достав из бюро доставленный ему Мельцони пакет, Литта передал его Грибовскому.

Тот задумался на минуту, просмотрел грамоты, а затем, протягивая их обратно, спокойно ответил:

— Да, но эти грамоты еще не вручены русской правительственной власти, не приняты еще, а потому здесь вы не признаны послом, и я имею полное право произвести обыск согласно данному мне приказанию.

Начнемте! — кивнул он одному из полицейских.

Тот сейчас же вытащил из кармана связку отмычек и, как хозяин, как привычный человек, стал возиться с ними у ящиков бюро.

Но вот дело дошло до того ящика, у которого ночью хозяйничал камердинер. Полицейский раскрыл его и вынул оттуда связку бумаг.

Литта вздрогнул. Он помнил, что ящик должен был быть пуст. Лицо Грибовского оживилось. Он с радостью схватился за бумаги.

— Что это такое? — спросил граф, подходя к нему и останавливая его за руку.

— Это мы у вас должны спросить, граф, — пожал плечами Грибовский. — А впрочем, там видно будет — мы разберем.

— Эти бумаги, — проговорил Литта, — подложены сегодня ночью моим камердинером, которого я застал здесь.

— Это — обыкновенное оправдание, — перебил Грибовский. — Мы увидим. — И, отстранив Литту, он передал бумаги полицейскому.

Грибовский перешарил весь его кабинет и спальню. Литта оставил его делать, что ему хотелось.

XI. В собственных сетях

Мельцони ехал в Петербург с готовыми планами, с самыми сложными надеждами и предположениями.

При встрече с Литтою Мельцони понял, что подойти к нему не так легко, как казалось, и искать темного закоулка напрасно; но относительно графини у него были совсем другие мысли.

Пробравшись к ней под вымышленным им предложением и поговорив с нею, он окончательно потерял голову. С этой минуты красавица графиня постоянно была у него пред глазами. Она нездорова; он просил позволения привезти ей эликсира; следовательно, ополить ее одним из тех одуряющих составов, которые были у него в ящичке, казалось возможным. И, не соображая, какую гадость он затевает, Мельцони представлял себе, как это все будет или — вернее — может быть.

И картины, которые рисовались итальянцу при этом, были так заманчивы, что он готов был решиться, но именно в тот момент, когда решался, прятал своей пузырек обратно в ящик и запирает его.

В одну из минут такого колебания на пороге его комнаты появился о. Грубер. Мельцони сделал вид, или на самом деле так было, что очень обрадовался его приходу. Грубер был серьезен и важен.

— Я знаю, что вы были в доме графа Ожецкого на собрании иллюминатов, — начал Грубер. — Конечно, вы сделали это в видах пользы нашего ордена... Я вполне одобрил бы вас, если бы вы предупредили меня. Зачем вы сделали это тайно?

Мельцони смотрел на иезуита большими удивленными глазами, как будто спрашивал: он ли сам сошел с ума, или о. Грубер.

— В доме графа Ожецкого? — повторил он. — Да я никогда не был там!

— Молоды вы, чтобы провести людей опытнее вас!.. — вспыхнув, крикнул Грубер, ударив по столу кулаком. — Я сам, слышите ли, сам видел, как вы входили туда.

Мельцони опять еще удивленнее прежнего посмотрел на него и отрицательно качал головою.

— Не может этого быть! — проговорил он, стараясь понять, зачем Груберу понадобилось взвести на него это обвинение.

— Неужели вы были там как изменник? — нагибаясь к нему и засматривая ему в лицо, прошептал с каким-то злобным, неестественным шипением Грубер. — Признайтесь же! Ведь вы знаете, что всякое

слово заpiresательства только усугубит вашу вину.

Подбородок Мельцони затрясся, колени его задрожали, он был жалок.

Но этот жалкий вид, казалось, только больше сердил Грубера.

— Негодный лжец! — крикнул он, вставая. — Я заставляю тебя сознаться!

Еще минута — и он, казалось, ударит несчастного, перепуганного Мельцони.

— Боже мой, — почти плача, забормотал тот. — Да откуда же это, как, за что?

Грубер резко отвернулся и с ужасом схватился за свою старую, умную голову. Впервые в жизни ему приходилось видеть измену иезуита своему ордену.

— Так чтобы сегодня же, сейчас, сию минуту тебя не было здесь! Слышишь? Ты соберешься и уедешь назад, а я дам знать о тебе, и там разберут твой проступок... Я сам видел... сам...

— Отец, выслушайте!.. Отец, я не лгу, — уверял Мельцони, но Грубер не дал ему говорить:

— Ты слышал, что приказано тебе?

Неповиновение было страшным проступком для иезуита, и Мельцони покорно склонил голову.

XII. Правда и кривда

Литта оставил Петербург и снова поселился в Гатчине. Делать ему в Петербурге было больше нечего. Вокруг него образовалась теперь такая паутина, по-видимому, ее плели со всех сторон так хитро и ловко, что сразу, одним ударом разорвать эту паутину, на что только и был способен Литта, казалось невыполнимым. Нужно было терпеливо и усердно, по ниточке, начинать расплетать ее, хитрить, пожалуй, уклоняться и высматривать. Литта чувствовал, что не в состоянии сделать это. Стараться нанести вред тем людям, которые искали случая погубить его, то есть противопоставить зло злу, он тоже не мог. И вот он, долго обдумывая, что делать, и не находя выхода, наконец нашел то, что именно теперь требовалось от него, — это было просто и ясно: ничего не делать.

С такими мыслями и чувствами уехал Литта в тихую Гатчину и поселился там на все лето, в маленьком отведенном ему доме...

Мучительнее всего для него было полное незнание того, что сталося с графиней Скавронской. Он ни с кем почти не видался, а в редких разговорах с приближенными Павла Петровича боялся слишком ясно справляться о ней.

Дело Литты между тем тянулось в судебных инстанциях. С него взыскивали полностью по распискам; о результатах обыска не было никаких сведений, хотя Литта еще в Петербурге написал подробную записку с объяснением, что не знает, какие письма были найдены у него, потому что они были подброшены в ночь пред обыском его камердинером.

XIII. Доносчик открыт

— Извините, ваше сиятельство, что обеспокоил вас, — входя в комнату Литты, произнес человек в простом мещанском платье.

Граф обернулся от стола, за которым сидел (он писал свои записки), и, посмотрев на вошедшего, спросил, что ему нужно и кто он такой.

— Вольноотпущенный человек графов Скавронских, — ответил тот с поклоном. — Имею честь доложить вашему сиятельству...

При произнесенном им имени Литта встал со своего места и, подойдя к посетителю, переспросил:

— Графов Скавронских? Ты прислан...

— Нет-с, я сам пришел, по собственной, так сказать, воле, пешком... Слава Богу, что отыскал-то вас.

— Я, ваше сиятельство, все время с покойным графом за границей был и по-итальянски несколько не только понимаю, но и говорить могу, а после, как умер граф, так ее сиятельство всем служившим при них волюнную дала.

— Что ж тебе? Ты служишь где-нибудь?

— В кондитерской Гидля, там очень хорошую цену дают, особливо кто иностранные языки понимает.

Литта стал внимательно прислушиваться.

— Да. Так что же ты ко мне-то пришел? — спросил он снова.

Посетитель притворил дверь и, приблизившись к нему, таинственно заговорил:

— В той самой кондитерской есть, ваше сиятельство, совсем назади, надо вам сказать, комната... Постоянно она бывает заперта, и ключ у самого хозяина...

— Знаю! — перебил его Литта.

Тот недоверчиво взглянул, как бы сомневаясь, что граф действительно знает, но все же продолжал:

— Так вот, давно хотелось мне узнать, что там есть в этой комнате... Надесь вечером это пробрался я коридором к самой двери. Темно было... только щелка маленькая, и из нее свет идет в темноту-то ко мне. Приложил я глаз... и вижу: стол, а у стола сидят двое: один пишет, а другой ему говорит... Тот, что пишет, переспрашивает и опять пишет... и все в тетрадку заглядывает... И только, слышу я, говорят они про вас.

— Про меня? — переспросил Литта.

— Видит Бог, про вас... граф; говорят: «Джулио Литта».

— Откуда же ты знаешь меня?

— Да как же мне не знать? — засмеялся человек. — Разумеется, знаю. И вот говорит один по-итальянски. А я-то ведь понимаю, а потому приложил ухо и слушаю. «Граф Литта, — говорит, — наш враг теперь навсегда, и ничего мы с ним не поделаем. Коли деньгами давить, так это ему ничего... А вот письма его насчет сношения с Польшей, так это дело будет другое».

— Как с Польшей? — удивился Литта.

— С Польшей... Один даже по-русски сказал — Варшава. «Их, — говорит, — у него нашли, а оказались они у него благодаря камердинеру; так теперь нужно его научить, что говорить...» Только слышу третий голос там. Посмотрел в щель — вижу, подошел к ним такой, и впрямь камердинер...

— Довольно, — остановил его Литта, — довольно!.. Теперь я понимаю... все понял.

«Гадость-то людская, — подумал он, — гадость-то!.. А ведь вот, однако ж, совсем чужой человек пришел — предупреждает... Как это все сплетается!»

XIV. Доклад императрице <...>

XV. Тревожный день

На другой день к гатчинской рогатке подсказал на взмыленной, усталой, загнанной быстрою ездой тройке Николай Zubов, родной брат князя Platона. Шлагбаум загородил ему дорогу. Вышедший из караульного домика офицер подошел к саням и, узнав фамилию ехавшего, остановил его и стал расспрашивать, зачем он едет, к кому, по какому делу и вообще, что ему нужно в Гатчине.

— Я — Zubов, граф Николай Zubов, — горячился тот, думая, что офицер не расслышал его имени.

Но на гатчинского офицера это имя производило совсем другое впечатление, чем в Петербурге. Чем больше горячился приехавший и чем настойчивее уверял он, что его зовут Zubовым, тем все менее и менее любезен становился офицер и яснее выказывал неже-

лание подымать шлагбаума.

Наконец Zubов наклонился к самому его уху и произнес два слова, как крайнее средство, на которое он решился, вынужденный к тому упорством офицера. И, как только он произнес эти слова, офицер махнул стоявшему у рогатки часовому и крикнул: «Подвысь!» Шлагбаум поднялся, и тройка поскакала дальше.

У ворот дворца опять пропустили Zubова те же два магических слова.

Он вбежал на ступеньки крыльца и, тяжело дыша, вошел в сени.

— Его высочество, — заговорил он, — его высочество... где?... Доложите скорей!..

Другой офицер встретил его и, видимо, также не желая ни разделять его тревогу, ни выказывать особенную расторопность перед ним, спокойно ответил, давая понять, что здесь не Петербург и что Zubов для него решительно ничего не значит:

— Его высочество изволят быть на мельнице, они кушают там... Их видеть теперь нельзя...

— Доложите! — начал было опять Zubов.

— Если вам угодно, то пожалуйста завтра утром, а теперь нельзя, — перебил офицер.

Но Николай Zubов опять сказал ему два слова, пропустившие его так быстро сюда, и офицер, изменившись в лице, вдруг выскочил вон, сам побежал за лошадей и, едва опомнившись, поскакал на мельницу к великому князю.

Эти два чудодейственных слова Zubова были:

«Государыня кончается».

Павел Петрович приехал в Петербург между шестью и семью часами.

Императрица без сознания лежала на тюфяке, разостланном на полу, за ширмами. Комната была слабо освещена. Вопли женщин сливались с предсмертным хрипением государыни.

XVI. Забота няни <...>

XVII. Неожиданное посещение <...>

XVIII. В Зимнем дворце

Огромный аванзал Зимнего дворца, вблизи зала, где на помпезном катафалке стояли тела Екатерины II и Петра III (последнее по воле Павла I было перенесено из склепа Александро-Невской лавры), был полон народом. Как и все передние покои, этот зал был густо убран трауром и затянут флером.

Но, несмотря на это печальное убранство, лица собравшихся здесь, казалось, были оживлены надеждою на предстоящее благополучие. Из старых вельмож почти никого не было. Новые люди, по преимуществу гатчинские, проходили, здоровались и переговаривались между собою. Несколько человек, приехавших из провинции, вызванных новым императором, тоже были тут.

Старомодные гатчинские мундиры времен Семилетней войны горделиво косились на щегольскую форму рослых екатерининских гвардейцев, оттертых теперь на задний план...

Один Литта из числа всех собравшихся в зале спокойно стоял в стороне у окна и, скрестив на груди руки, безучастными глазами следил за этою страшною, алчущею толпою...

Требование баронессы Канних о возвращении переписки бросало на него тень, от которой едва ли можно было очиститься: всегда найдутся люди, готовые уколоть давнишнюю французскою поговоркою «Нет дыма без огня». Наконец эти подкинутые письма и клевета насчет его сношений с Польшею...

Дело теперь на первое время, очевидно, остано-

вилось, но вскоре перейдет из рук Зубова в другие руки и будет, вероятно, доложено государю... Но как доложено, кем? Павел Петрович, доступный для Литты в Гатчине, когда был наследником, будет ли доступен так же, как прежде, став теперь императором могущественной России? Помимо всего этого, Литте было невыразимо горько, что этот человек, которого он привык глубоко и искренно уважать, может составить себе о нем дурное, невыгодное представление.

В это время стоявшие у дверей во внутренние покои часовые стукнули своими карабинами. Двери широко распахнулись, и камергер в расшитом золотом мундире торжественно провозгласил в сторону аванзала:

— Государь!

Литта вздрогнул и вместе с притихнувшею толпою склонил голову навстречу показавшемуся в дверях императору Павлу.

XIX. Как это произошло

Старик бриллианщик Шульц принес к баронессе Канних продавать несколько драгоценных вещей. Она внимательно, с видом настоящего знатока и ценителя осматривала их, не решаясь, которую выбрать.

— И фермуар хорош, и колье, — говорила она. — Как по-вашему?..

— Что вам больше нравится, то и возьмите, — отвечал Шульц, с улыбкою глядя на нее. — Это ожерелье сделано по точному образцу легендарного колье маркиграфини Шенберг; оно в строгом средневековом вкусе.

— Вы говорите, «легендарного», — перебила баронесса. — Почему это?

— Тут рассказывают целую историю... Разве вы никогда не слыхали про замок Шенберг?

— Нет, не слыхала, — покачала головою Канних.

— Говорят, будто маркиграфиня была влюблена.

— Ну, это всегда в легендах!

— Разумеется, — подтвердил Шульц, укладывая в футляры разложенные им вещи. — И вот оказалось, что человек, которого она любит, питает склонность к другой... Он отверг ее любовь, и она поклялась отомстить ему.

Канних невольно задумалась о себе, и ей вспомнилось письмо, которое она написала Зубову.

— Она написала письмо герцогу, — продолжал старик бриллианщик.

«А говорят, мое письмо имело действие», — мелькало в это время у баронессы.

— И оклеветала его.

— Что вы сказали? — слегка двинув плечами, спросила Канних: слово «оклеветала» резко поразило ее.

— Я говорю, что маркиграфиня оклеветала ни в чем не повинного человека, — повторил Шульц.

— Ах, да, что в легенде! — вспомнила баронесса.

— Да и в настоящей жизни это бывает, — вздохнул старик.

Канних искоса посмотрела на него. Ей казалось, что он будто намекает на что-то.

— Но разве ее письмо была клевета? — спросила она.

— Да, клевета, — продолжал Шульц. — Она так распространена среди людей, что поддаться ей очень легко, и блажен тот, кто раскается вовремя и сумеет поправить ее. Маркиграфиня не пожелала сделать это. И вот один старый бриллианщик приходит к ней — так говорит легенда — и приносит на выбор драгоценные вещи. Маркиграфиня колеблется, не знает, что ей взять, и выбирает вот такое ожерелье. Оно ей очень нравится, и она покупает его... Бриллианщик взял деньги и ушел. Маркиграфиня надела свое колье и вдруг чувствует, что оно душит ее, ей тяжело дышать... Она начинает снимать ожерелье, но не может сделать это и не может вздохнуть, точно свинец у нее

на шее; напрасно она зовет служанок — никто не в силах расстегнуть запер.

— Какая сказка! — перебила Канних.

Грудь ее подымалась неровно, и она с усилием переводила дух.

— Да, сказка, но она не так глупа. Почти все наши немецкие легенды имеют свое объяснение, так и тут аллегория. Приход бриллианщика — это проснувшаяся совесть: ожерелье — ее угрызения, которые тяжелее всякого свинца. Как видите, легенда не без смысла. Так прикажете оставить колье? — добавил Шульц, поворачивая в руках вещь и заставляя ее играть светом камней.

— Да, — ответила Канних, — хорошо... я возьму его. Я сейчас вам вынесу деньги. — И она довольно нетвердыми шагами прошла в соседнюю комнату.

Старик Шульц долго ждал ее возвращения. Наконец баронесса появилась, держа деньги в руках, и ему показалось, что ее глаза были краснее, чем прежде.

— А скажите, что же в вашей легенде произошло с тем человеком, которого любил маркиграфиня? — спросила она, вручая деньги.

— Клевета, как всякая неправда, вышла наружу, — ответил Шульц, — и он в конце концов остался невредим.

И, раскланявшись с баронессой, старик ушел не спеша, оставляя по себе странное впечатление в душе смущенной баронессы...

И к вечеру того же дня Канних была уже вне себя. Мысли ее работали по тому направлению, какое дала им легенда Шульца, и она, уже окончательно расстроенная и растроганная, ждала и не могла дожидаться утра, чтобы загладить свою вину.

XX. Помощь

Во всех трудных случаях жизни баронесса Канних обращалась к своей дальней родственнице Лафон, директорше Смольного института.

Все было в движении в Смольном, когда подъехала туда Канних. Новая императрица только что приезжала сама объявить в монастырь, что институт по воле государя переходит в полное ее ведение. Лафон получила при этом случае назначение статс-дамою и портрет императрицы. Благодаря этому она встретила баронессу, которую вообще не особенно жаловала, в самом лучшем расположении духа.

По дороге от швейцарской до квартиры Лафон баронесса уже успела разузнать все новости и ушла к старушке с приветствием и поздравлением на устах.

— Поздравляю, поздравляю вас от души! — сказала она, целуя старушку Лафон в обе щеки, которые та подставляла ей, стараясь не смять своего тюлевого чепца и торчавших из-под него по сторонам двух седых бучлей.

— Благодарю вас, — ответила Лафон. — А у нас только что была ее величество и изволила объявить, что наш несравненный государь...

— Знаю, знаю, — перебила ее баронесса, — вы, кажется, ожили совсем?

Лафон была больна в последнее время.

— Да, слава Богу, — подняла она взор к небу. — Мне теперь так хорошо, и я так рада!..

— А я к вам по делу, по очень серьезному делу, — начала баронесса и, как бы боясь отнимать у дирек-



трисы время, дорогое для нее ввиду ее сложных обязанностей, прямо приступила к рассказу.

Таинственным шепотом, с жалостным наклоном головы Канних рассказала, что имела неосторожность обратиться к князю Зубову по поводу своей переписки с графом Литтою и теперь боится, как бы из этого не вышло каких-нибудь неприятностей.

Лафон, отлично зная через своих бывших воспитанниц все, что делалось при дворе, при имени Литты насторожила уши и сделалась очень внимательна. Она сразу стала лучше относиться к баронессе, услышав, что та имеет дела с такими людьми, как мальтийский кавалер, к которому Павел Петрович всегда относился благосклонно.

— Да, это очень серьезное дело, — проговорила она. — Спешите, мой друг, — она впервые в жизни теперь назвала так баронессу, — спешите поправить... Сама я не могу помочь вам в данном случае, но укажу вам путь, который приведет вас к цели.

Лафон дернула сонетку. В комнате появилась горничная девушка.

— Узнайте, — приказала директриса, — можно ли видеть Екатерину Ивановну?

Девушка, ответив: «Слушаю-с», — ушла.

— Это Нелидова? — спросила Канних.

— Да, мой друг, фрейлина Нелидова*. Ах, это такое идеальное существо! Она живет теперь у нас в Смольном, бывшая наша институтка. Государыня и государь связаны с нею самою чистою, искреннею дружбой. Да, это такая девушка, которой нельзя не полюбить! Впрочем, вы увидите сами. Я попрошу вас пройти прямо к ней, вы передадите ей ваше дело и потом придете ко мне рассказать о результате. Впрочем, я уверена, что он будет благополучный... Я вам сейчас напишу несколько строк.

Записка была готова, когда вернулась горничная и доложила, что Екатерина Ивановна «просят».

Маленькая, чистая комната, где жила Нелидова и куда ввела горничная баронессу, была так проста, как монашеская келья. Все изящество ее состояло в удивительной чистоте, которою все тут дышало.

Сама Нелидова была невысокого роста и некрасива, однако с первого же взгляда казалась личностью до того симпатичною и светлою, что всякий, кто разговаривал с нею, навсегда оставался под обаянием этой симпатии и света.

И баронесса сейчас же почувствовала к ней особенное доверие и любовь.

— Мама** говорит, что у вас есть дело ко мне? — спросила своим чудным голосом Нелидова, пробежав записку, которую подала ей Канних.

Баронесса, собравшаяся было разыграть пред фрейлиной светскую барыню, сразу увидела, что тут всякое жеманство неуместно, и мало того — ей как-то самой было легко стать простою и искреннею: такое впечатление произвела на нее Нелидова. И вот она начала говорить сдержанно, сдерживая себя и стараясь придать делу наиболее для себя выгодный оборот, но мало-помалу незаметно становилась все более и более откровенною.

Баронесса волновалась и невольно тоже забывала, что говорит с совсем чужой женщиною, и увлекаясь высказывалась, и ей самой становилось легче. Она

начала о письмах, потом как-то само собою перешла на рассказ о костюмированном бале в Эрмитаже и даже на последний разговор свой с Литтою у себя в будуаре. Когда она кончила, то к своему удивлению заметила, что передала не только внешние факты, но и состояние своей души, связанное с этими фактами, словом, рассказала все, не утаив ничего.

— Очень благодарна вам за доверие, — проговорила Нелидова, прощаясь с нею, — вы увидите, — я по крайней мере надеюсь, — что не ошиблись во мне и не раскаетесь, что рассказали мне все без утайки.

И Канних почувствовала, что действительно не жалеет этого.

— Да это не человек, не женщина, — сказала она Лафон, придя к ней от Нелидовой, — это волшебница какая-то!.. Она просто очаровала меня.

— Я вам говорила, мой друг, что это ангел, ангел! — ответила Лафон, подымая взор к небу и опирая свой тюлевый чепец.

Канних уехала из Смольного с облегченною душою.

XXI. Маленький ужин

Граф Литта получил приказание явиться во дворец к семи с половиною часам вечера и ровно в назначенный срок вошел во внутренние покои, где оказалось весьма немного народа.

Появление вечером во дворце Литты, не имевшего придворного звания и не принадлежавшего к особам первых трех классов, возбудило невольную тревогу и перешептывания. Растопчин встретился с Литтою очень дружелюбно, Куракин ласково поклонился ему, стоявший с Куракиным какой-то вельможа — кажется, князь Репнин, — которого Литта встречал прежде мельком и который относился к нему довольно надменно, теперь подошел первый и, сказав несколько общих слов и любезностей, вдруг задушевым голосом спросил Литту:

— А зачем государь приказал вам приехать сегодня? Наверно, по делам ордена?

— Право, не могу вам ничего сказать, — пожал плечами Литта. — Я знаю не более вас.

Он действительно ничего не знал; в приказании не было сказано, зачем его требовали.

Ужин кончился. Все снова перешли в другую комнату, но здесь уже стеснения не было. Всякий говорил, с кем хотел и как хотел.

Литта подошел к Павлу Петровичу. Государь ласково взглянул на него и, отводя его несколько в сторону, положил на его плечо руку, а затем с улыбкою проговорил:

— Я смотрю на ваш красный супервест и думаю об одном странном совпадении: красный цвет вашего ордена — защитника и поборника монархии — избран, как нарочно, цветом французской революции.

— Может быть, это признак, что она погибает, — заметил Литта.

— Она должна погибнуть, — подхватил Павел Петрович, — должна потому, что только самодержавная власть может быть истинною и справедливою, хотя бы вследствие только того, что самой ей желать нечего... А вы, — добавил он вдруг, — кажется, любите ваш красный цвет?

— Я его ношу по установленной форме, — ответил Литта, удивляясь вопросу. — Впрочем, наш супервест очень красив...

— И красное домино тоже, — сказал Павел Петрович как бы вскользь.

«Красное домино? — подумал Литта. — Что же это, на что он намекает? Или он все знает?»

И, давно изучив характер Павла, он понял, что с ним можно говорить только прямо и откровенно, и потому сразу ответил:

* Екатерина Ивановна Нелидова (1756—1839 гг.) — камер-фрейлина императрицы Марии Федоровны. Еще в бытность Павла I великим князем и наследником Е. И. пользовалась его особенным благорасположением; но так как последнее обстоятельство вызвало двусмысленные толки при дворе, то Нелидова в 1793 году поселилась в Смольном монастыре и жила там до восшествия на престол Павла I. Со дня восшествия Е. И. вновь появилась при дворе и до 1798 года пользовалась неограниченным могуществом. В 1798 году появилась Лопухина, и Е. И. снова удалась в Смольный монастырь.

** Мамаша. Все институтки, хотя и кончившие уже курс, звали так госпожу Лафон.

— Ваше величество говорите о красном домино баронессы... Канних?

— Да, кажется, так ее фамилия. Я все знаю, мой друг! Вот, видите ли, когда я раз чувствую доверие к человеку, оно может подвергаться долгим испытаниям, пока я не разуверюсь. Вас я всегда знал за достойного рыцаря, и этого довольно.

— Я думаю, и на этот раз ваше величество видели, что я остался тем же братом ордена...

— Говорю вам, я все знаю, — перебил его государь. — У Зубова в числе переданных бумаг было и ваше дело...

Литта опустил глаза и спокойно, молча ждал, что будет дальше.

— Оно было разобрано генерал-прокурором.

— Какая все это была гадость! — продолжал Павел Петрович, горячась и повторяя не раз приходившие в голову Литты слова. — Какая гадость!.. Ваш камердинер сознался, что подложил письма, и повторил точь-в-точь все, как было, и согласно тому, как изложено в вашей записке. Это — полное доказательство вашей невиновности, в которой, впрочем, я и не сомневался. — Государь протянул Литте руку.

— Не знаю, как благодарить ваше величество, — ответил тот.

— Не благодарите, не за что! — перебил Павел Петрович (по мере того, как он начинал волноваться, он говорил все отрывистей, бросая отдельные фразы). — Мы виноваты за наши порядки, что держали вас так долго в незаслуженном подозрении... Я должник ваш теперь...

— Ваше величество, я вознагражден уже возвратом вашего доверия.

— Вы лишились ваших земель в Италии? — спросил Павел Петрович, сдвинув брови, как бы не замечая слов Литты.

Граф печально опустил голову.

— Я вам даю у себя командорство с десятью тысячами рублей годового дохода. Вы представите мне свои верительные грамоты, как посол Мальтийского ордена. Для решения вопроса об Острожской ординации и для заключения конвенции о ней с вами я уже назначил князя Куракина и графа Безбородка. Эта ординация поступит в ваше ведение... Довольны вы?..

Литта тяжело вздохнул и еще ниже опустил свою красивую, мужественную голову. Его осыпали милостями, делали его снова богатым человеком, но к чему все это было для него?

Павел Петрович знал причину его грусти и следил за выражением его лица, и то, что на этом лице не показалось и признака радости при получении этих вещественных благ, видимо, доставило ему еще большее удовольствие. Он снова стал весел и, снова ласково положив руку на плечо Литте, тихо спросил:

— Скажите, вы все еще любите ее?

Невольная дрожь пробежала по всему телу Литты. Он не знал, что ответить.

Государь отвел его еще дальше в сторону и еще тише заговорил с ним, так, чтобы никто не мог не только слышать, но и догадаться, о чем они говорят.

XXII. Приглашение ко двору

Графиня Браницкая приехала навестить больную сестру, у которой бывала почти каждый день.

Скавронская сидела в большом кресле с высокою спинкою, протянув свои маленькие ножки на низкую подушку бархатного табурета. Рядом на столике стояли банки и склянки с лекарствами. Няня с вечным своим чулком сидела поодаль.

— Ну, здравствуй! Как ты себя чувствуешь? Лучше? — спросила Браницкая, целуя сестру. — Ну, ниче-



го,— протянула она успокоительно, глядя в бледное, похуевшее личико графини Скавронской,— обойдется, Бог даст...

Няня в это время украдкой сделала у себя на груди крестное знамение.

Браницкая, видимо, старалась подбодрить больную, и Скавронская грустно улыбнулась, как бы понимая это старание ее.

— А это что у тебя? — меняя тон, вдруг спросила та, показывая на лежавший на столике билет.

— Приглашение от двора — явиться в среду к завтраку... К высочайшему столу.

Браницкая с некоторым удивлением взяла билет. Это было действительно приглашение статс-даме графине Скавронской.

— Ты поедешь? — спросила она.

— Нет, где же мне! — вздохнула Скавронская.

— И не думай отказываться,— замахала на нее руками Браницкая,— и не думай! Ты знаешь, это особенная честь, и, если только тебя там не будет, я не знаю, что из этого выйдет... Нынче такие строгости.

— Да ведь я же больна совсем.

— Хоть бы при смерти была,— перебила ее Браницкая.

— Господи, да зачем я им? — раздраженно протянула Екатерина Васильевна.— Зачем?

— Ну, уж многое нынче делается, и не поймешь зачем, хотя, правда, всегда так выходит, что почему-нибудь оно и нужно. Но только не ехать тебе нельзя... Да ведь ты и не умирающая еще, слава Богу!

Скавронская в это время начала пристально всматриваться в лицо сестры.

— Саша! — произнесла она, вдруг привставая.— У тебя что-то есть, ты неспроста приехала сегодня ко мне, ты словно готовишь меня к чему-то.

Сестра кивнула головою.

— Ну, ну, говори,— вдруг оживилась Екатерина Васильевна,— говори! Что?

— И очень хорошее! — ответила сестра.— Не могла ж я тебе так сразу бухнуть. Государь...

— Что государь? — повторила графиня.

— Желает вашего брака,— докончила Браницкая.

Екатерина Васильевна снова откинулась беспомощно на спинку кресла и, слабо махнув рукой, проговорила:

— Все-таки этого нельзя, это невозможно!

— Возможно,— сказала Браницкая.

Она боялась, что с сестрою сделается обморок или еще хуже что-нибудь.

Но Скавронская вдруг закрыла лицо руками и прошептала отрывисто, нервно, нетерпеливо:

— Говори, говори же, не мучь!

— Слушай! Государь призвал его вечером во дворец к маленькому ужину. Ты знаешь, они видались в Гатчине, и там государь узнал его. Он давно уже рассказывал ему все... И вот государь призвал его к себе, после ужина отвел в сторону и заговорил с ним. Он будет принят посланником. Потом ему дают командорство в десять тысяч рублей ежегодного дохода, потом государь напомнил ему один параграф их статута — государь отлично знает этот статут,— по которому в орден могут быть приняты и женщины.

XXIII. Несчастье с баронессой <...>

XXIV. Завтрак

Торжественно в своей золотой карете въезжал граф Литта в Петербург из Гатчины, куда несколько месяцев назад уехал почти беглецом, едва не опозоренный опутавшей его клеветой. Во дворце его ждала аудиенция, во время которой он должен был вручить свои



верительные грамоты посла державного Мальтийского ордена. Но, кроме почета царской милости и возвышения там, в этом дворце, его ждала теперь жизнь его, радость и счастье. Он знал, что увидится сегодня с «нею» и увидится как нареченный жених.

Было довольно холодно, но Литта не чувствовал этого. Напротив, он распахнул шубу и при этом вспомнил о своем кресте и о цепи. Крест ла Валетты блестел на его груди чудною игрою дорогих бриллиантов.

Скавронская приехала во дворец едва к назначенному часу. Подъезжая, она видела у большого подъезда золотую карету, в которой, вероятно, явился новый мальтийский посланник. Графиню провели на половину государыни, где она должна была представиться ее величеству и великим князьям. Она еще была очень бледна и болезненно худая, но признаков расстройства ее уже не было. С самого разговора с сестрою она словно вся ожила, стала другим человеком.

Когда представление кончилось, графиня, сопровождая государыню и великих князей, вместе с дежурною фрейлиною направилась в столовую. Оказалось, что она была приглашена к интимному завтраку царской семьи. Никого из посторонних, кроме нее, не было; мало того, ей сказали, что она на сегодня назначена дежурною статс-дамою.

И тут-то сердце Екатерины Васильевны сжалось — вдруг она не увидит Литты, вдруг эти долгие минуты, которые кажутся ей часами и которые она считает с нетерпением, протянутся еще дольше, и его не будет за завтраком, он не будет приглашен.

Но в это время двери с противоположной стороны столовой распахнулись, и своею быстрою походкой вошел государь. За ним следовали великий князь Александр, Кутайсов и граф Литта, который после аудиенции был приглашен к завтраку.

Он не мог подойти к Скавронской, она не смела двинуться к нему — этикет, связывавший их, не позволял сделать это; но поклон, которым они обменялись издали, но выражение их лиц в эту минуту были замечены всеми. Вся царская семья знала, что присутствует при зарождающемся счастье двух людей, которых государь дарует это счастье и радость.

Сели за стол.

Ни Литта, ни Скавронская ничего не ели. Они, казалось, не замечали ничего — были не здесь, не на земле. Государь несколько раз взглядывал на них с улыбкою.

— Я пью за вас,— проговорил он,— и за ваше будущее счастье, устроить которое я беру на себя...

Прошло два года. Граф Литта был уже женат: папа дал разрешение на его брак, его долгие ожидания наконец сбылись и несчастья кончились.

Свадьба была отпразднована торжественно, в присутствии царской фамилии и всего Петербурга. Графиня Браницкая была посаженной матерью сестры. Но больше всех, искреннее всех радовалась счастьем графини ее старушка няня. Конюх оставил свою службу в кондитерской Гидля и, вспомнив свое старое дело, поступил снова в кучера к графу. Нужно было видеть, с каким торжеством и величием сидел он, сияя радостью, на козлах, когда вез «молодых» из-под венца.

«Молодые» поселились в бывшем богатом доме Скавронских, на Милльонной. Литта снова вступил в русскую службу и стал одним из приближенных императора Павла.

Судьба Мальтийского ордена сильно изменилась. Достойный старец Роган умер, и на его место был избран великим магистром барон Гомпеш, в котором орден думал найти опору против враждебной республиканской Франции. Но вместе с тем орден приобрел могущественного покровителя в лице русского императора. Государю были поднесены титул протектора и знаки высшего креста. Вместе с этим получили орденское звание и некоторые из русских вельмож.

В 1798 году Мальта была взята Наполеоном, отправлявшимся в экспедицию в Египет. Причиной этого были малодушие и неумение барона Гомпеша.

Все тайные бумаги, архив ордена и его библиотека были взяты Наполеоном, но на судне, на котором помещалось все это, произошел взрыв порохового склада, и все бумаги погибли, а вместе с ними и мистическое значение ордена.

Однако император Павел не пожелал уничтожения этого ордена. Русские и иностранные рыцари ходатайствовали о принятии им звания великого магистра, и он принял этот титул 24 ноября 1798 года. Весь корпус кавалеров торжественно поднес ему корону и регалии нового сана. Император ответил особым актом, прочтенным князем Безбородком (ему было пожаловано уже княжеское достоинство). Затем все кавалеры приблизились к престолу с коленопреклонением и принесли новому гроссмейстеру присягу в верности и повиновении.

Новый орден был возложен на великих княгинь и княжен, а также на некоторых придворных дам, в числе которых была и молодая графиня Литта. Декларацией, обнародованной в Европе, дворяне всех христианских стран приглашались ко вступлению в орден. В Мальту же, которая должна была опять сделаться достоянием ордена, император назначил коменданта и русский гарнизон из трех тысяч человек.

Русский самодержавный монарх видел в принятом им под свое покровительство Мальтийском ордене оплот против вспыхнувшего во Франции революционного движения. Само собою разумеется, сам он не мог вступать в мелочи управления дел ордена, и вот явилась надобность в человеке опытном, умном и энергичном, которому бы он мог поручить эти дела. Потребовался вождь — и таковым явился граф Литта, назначенный теперь наместником великого магистра.

Литта сидел за составлением записки по приказанию Павла о допущении в орден лиц, выдвинувшихся на общественном поприще своими личными заслугами. Таких людей желательно было привлечь в орден, в который до сих пор могли вступать только лица, имевшие за собою определенное число лет дворянства в своем роду.

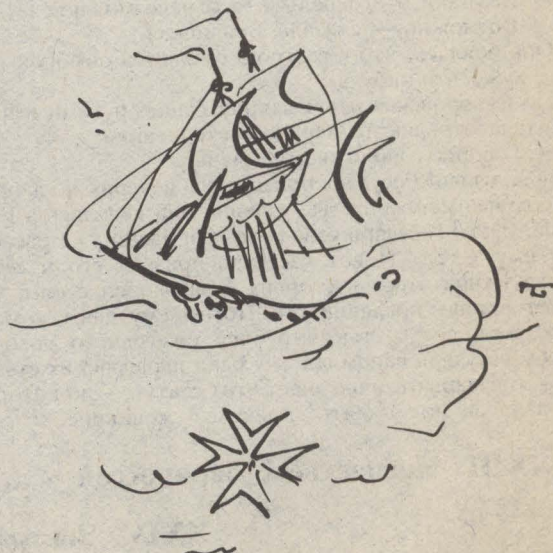
Литта составлял подобную записку об этом. Он сидел один в своем кабинете. Жены не было дома.

Она приходила проститься с ним, веселая, счастливая, и уехала куда-то. Литта сел заниматься.

Он долго писал, согнувшись над своим бюро, потом встал, достал из книжного шкафа книгу и, развернув ее, стал отыскивать цитату, которою хотел подкрепить свои соображения. Книга была Саллюстия, о Югуртинской войне. Граф быстро перелистывал знакомые страницы и наконец нашел XXXV главу. Там Марий говорил, между прочим, про дворян, гордившихся своими предками и искавших в их заслугах своего благородства:

«Теперь посмотрите, как они несправедливы: то, что они присваивают себе благодаря заслугам других, не хотят предоставить мне в силу моих собственных заслуг. И все это потому, что я не имею изображений предков и благородство мое ново. Но не лучше ли заслужить это собственною доблестью, чем запятнать своим поведением благородство, полученное от предков?»

Литта делал эту выписку и вдруг в это время почувствовал, что его «она», любимая им жена, приблизилась к нему маленькими шагами своих маленьких ножек, чуть слышно ступавших по ковру. Она приблизилась и смело, как власть имеющая, не обращая внимания на его занятие, охватила его голову и прижалась губами к его волосам...



107-я медитация

(мысли Пилата)

В простейших раскладах вязнет сознание,
И выше крыш только небо,
Жаль что не видно звезд...
Плоскость - не эталон мироздания,
Мне больше нравится эллипс - форма старых колес.
Полнолуние не обеспечило укрыться от смеха в спину,
Где ты, ветер-наездник, где серебро твоих глаз?
Где ты, дающий взаймы только время,
Чтобы стрелы промчались мимо?
Помоги мне справиться с ними,
это в последний раз...
В стране разграбленных пирамид у красной реки.
Миновала четвертая стража, светлеет...
Сейчас смертью будет наказан святой,
Позабывший вчера про свой долг, позаботься,
Чтоб с него не снимали одежду, ибо тот пожалеет,
Кто уже дал обет за ошибки свои
заплатить непредвзято...
А ты помнишь у скифов, что за песни!
Какие мечи нам дарили люди в красных плащах
из Карфагена...
Пусто, то крылатая смерть в виде стай саранчи.
Все известно. Но так и должно, как ни крути,
Ты вином не заменишь пшеницы.
Грустен каменный лев у красной реки...
Эллипс прост, но прямая еще примитивней,
Простучат по мосту эллипсоидные колеса, и стихнет
Пульс усталых коней из четвертого легиона.
Под пустыней проложат метро, но, как и прежде,
Будет запах печали у красной реки,
С тех времен и поныне.

Апельсиновый сок

"Андалузский пес - это реальная жизнь".
Сальвадор Дали.

Покрасили зеленый апельсин,
Чтобы созрел быстрее,
А после сок давили...
Чтобы купить вишневый лимузин
На деньги тех, кто этот сок купили.
Зеленый сок привозят в магазин,
Гремят бортами, разгружая споро -
Пятьсот галлонов апельсиновых мин,
Пятьсот миллионов кислых разговоров.
Был куплен сок,
и выпит, как бензин,
И тысячи желудков пострадали,
Но знаком свыше ночью лимузин
Зеленые тинейджеры украли...
Случилось так - ответом на вопрос
Хозяину подкрашенных плантаций
Игриво улыбнулся странный пес
В одном из снов, в одной из медитаций...

☆☆☆

Сент Женеьев де Буа, здравствуй, кладбище!
А Париж, он все так же красив, согласись...
Только что-то звенит бубенцом меж доплатками,
Сент Женеьев де Буа, наша жизнь, наша жизнь...
Пахнет прелой листвой и мокрыми кленами,
И нездешние здесь, как мрамор далеких земель...
Их надгробий читаю страницы, запоминая фамилии,
И становится ясным количество давних потерь.
Петербург и Москва, они еще не оплакали -
Что до жизни в России - там она нелегка,
Сент Женеьев де Буа, ты по сути то же Ваганьково,
Только чувства другие, и рядом другая река...
А бубенчик звенит с каждым днем все отчетливей,
Метрономом слагает в стихи эту хронику дней.
И кто знает, быть может, парижское кладбище
К себе примет моих еще совсем юных друзей.

Желание

Я собираю корни для хмурого гомеопата,
Для уже заряженных морфием
вспыльчивых психопатов...
Но только жасминовый чай за это мне будет зарплатой -
Чего мне еще желать? Мне большего и не надо.
Я подсчитаю звезды для замкнутого астролога,
Для тех, чьи судьбы в конъюнкции
с усмешками старых волхвов...

За это я получу приют у звездного полога,
Чего мне еще желать, мне даже и это дорого,
Я зажгу по свече каждой душе опечаленной,
Всем, кто обижен был намеренно или нечаянно -
За это я попрошу вашего же раскаяния -
Чего мне еще желать на этой земле отчаяния?

☆☆☆

На броне асфальта -
Мутные пятна.
На ладонях неба -
Птиц грустная нега.
На старых пластинках -
Калинки-малинки...
На этих улицах
Давно не целуются.
Здесь носят штаны
Из подлости и темноты -
Живи, но лишь до тех пор,
Пока не стреляют
В упор...
Здесь плывут,
Покуда не тонут,
Стены молчат
Пока их не тронут,
А в мыслях - бардак,
Здесь давно уже так...
А в папиросах, увы, не табак.
Здесь...

Город

Наклонились
Громады домов,
Смотрят молча,
Исподлобья,
Смотрят вниз -
Туда, где спует
Рода человеческого
Отродье...
Смрадом дышит
Толпа в миллион
Человеческих глоток,
Разноцветный парад
Пешеходов живет -
Мыслями гениев,
Кокетством уродок.
Подземка
Уносит тех,
Кто продал
Свои опустевшие души,
За пятак -
Радость и смех,
За гривенник -
Еще лучше...
Бьется пульсом в мозг
Алгоритм,
Интегралом -
Очередь магазинов.
Ты можешь?
Нет, я не могу -
Над вокзалами
Запах паленой резины...
Темнеет.
Небоскребы глядят,
Напрягаясь,
Глазами окон.
День уже скомкан,
Смят.
Кварталы домов
Скручены в кокон.
Ближе к ночи -
Дым сигарет,
Холлы гостиниц,
Лифты отелей...
Деньги качает
Город из вас,
Улыбаясь губами
Метрдотелей.
После -
Гостиничные номера,
Женщины-куклы
С большими красными
Ртами,
Так до утра,
А пока -
Вперед, проходными
Дворами...

Герман
ВИТКЕ





Фото А. Дашкевича и Л. Шимановича

КАЛИНИНГРАД + КЕНИГСБЕРГ...

Мог ли вообразить Юра Иванов, «второй малый барабан» музыкально-похоронной команды в Кенигсберге 1945 года, что будет когда-либо получать дружеские письма от графини, представительницы шестисотлетнего рода? Он пережил блокаду в Ленинграде, хоронил ребят, погибших в штурме «гнезда прусского милитаризма». Что мог наш советский подросток испытывать к врагу, кроме ненависти и презрения? И еще — мстительного удовлетворения при виде вражеских развалин. Через год умер «всесоюзный староста», его имя было присвоено «гнезду», что общественность встретила с большим удовлетворением. Мог ли Юра Иванов предполагать, что пройдут годы и он станет ратовать в печати за возвращение городу его исконного имени?

...Мы сидим с ним в его офисе — отделении Российского фонда культуры, он рассказывает о наведении мостов с германскими университетами и академиями, учеными и предпринимателями. Все это уже существует: контракты, договоры о намерениях, обоюдные визиты. Все это после памятных августовских дней обрело реальный смысл, получило некое ускорение. Как будто запруды прорвало. Вот уже и свободная экономическая зона «Янтарь» существует не только на словах, а получает практические очертания. В сентябре в Гданьске состоялась учредительная конференция Союза балтийских городов. Туда приехали мэры Киля, Любека, Копенгагена, Хельсинки, Таллинна, Санкт-Петербурга, Калининграда — всего из сорока городов и десяти стран. Задача — сотрудничество в экономике и культуре, решении экологических проблем. Был принят устав, избран исполнительный совет, куда вошел и калининградец. В сентябре же, после сорокашестилетнего перерыва, прибыл прямой поезд Берлин — Кенигсберг, который, кроме испытывающих ностальгию туристов, привез деловых людей. Большая делегация ученых местного университета побывала в Ост-Академии Люнебурга, участвовала в конференции «Через взаимопонимание — к сотрудничеству». Все три доклада на тему «Кенигсберг — вчера, сегодня, завтра» оказались на должном уровне и снискали калининградцам уважение коллег.

В октябре между морским портом и балтийской межрегиональной универсальной биржей «Альянс» подписано соглашение о передаче ей знаменитого в городе белого здания с колоннами и львами у входа на набережной Прегеля — бывшей ганзейской биржи. Его восстановили и использовали в качестве ДК моряков. Биржа строит для ДК новое здание. Состоялась презентация «Альянса» в старинном здании. Уже поистине «и невозможное возможно», как писал Александр Блок: в бывшем органе обкома партии печатается «Брокерская клятва» 1797 года, содержание которой исчерпывается девизом: «Честь превыше всего». Или с главой администрации, назначенным Борисом Ельциным, встречается «антисоветчик №1» Збигнев Бжезинский, один из больших знатоков нашей тоталитарной системы. Совет, который он дал, заслуживает внимания — не упустите свой шанс первопроходцев.

«Из всех в России у вас наибольшие возможности быть в составе Большой Европы...»

Можно перечислять и перечислять факты, называть все новые контакты, расценивать перспективы совместных с Германией начинаний. Фирма «Архитект Карл Лоренцен», например, намерена наладить межбиржевые связи «Альянса» с Гамбургом и Франкфуртом, организовать строительство отеля, обувной фабрики, создать несколько образцовых крестьянских хозяйств на основе современной технологии, современную службу занятости населения, совместную фирму для реставрации старых немецких особняков. А еще — участвовать в международном конкурсе на застройку центра города.

Центр города — болевая точка. В 1949 году, когда я впервые приехал в этот город, и трамвай, угрожающе кренясь на узкой колее, кружил по средневековым улочкам, мне трудно было определить странное двойственное чувство, которое внушал город. Громадная башня Королевского замка с обрушенной верхушкой, стены городских фортов в пробоинах от снарядов, памятники прусским королям и рыцарям, готические кирхи, многоэтажные дома без крыш... Все напоминало о чужой древности, о неведомой истории. Это чувство со временем усиливалось. Парки, бульвары, сады, скверы. Озера, каналы, пруды — все соединены протоками. Полутораметровой толщины дубы. Каштаны, акации, клены. Ботанический сад, несравненный полуразрушенный зоопарк, целые улицы с пустыми коробками зданий, зелень, живописно прикрывшая руины. Клады, которые выкапывали кому не лень: фарфор, бронза, серебро, мебель, кастрюли. Новенький мотоцикл в подвале. И женский скелет (судя по истлевшим тряпкам) на лестничной площадке. Чужая жизнь, чужой быт, чужая беда, куда непрошено вторгся. Словно бы и что-то похожее на вину вдруг пугающе возникало. С другой стороны: враги, фашисты, гитлеровцы. Да и главные разрушения, мы знали, вызвал не наш штурм, а «ковровая бомбежка» в две августовские ночи 44-го, когда над Кенигсбергом висело сразу 600 английских машин. Это называлось «бомбардировкой возмездия». За Ковентри. Ну, все так, но ведь война уже кончилась, какую ненависть можно испытывать, скажем, к ботаническому саду?

Легенда говорит о том, что бронзовый памятник Шиллеру (у которого назначались в пятидесятых все свидания), пробитый кое-где пулями, сохранился благодаря тому, что какой-то остроумный лейтенант из студентов повесил надпись: «Шиллер — пролетарский поэт». Другая история связана с памятником великому кенигсбергеру — Канту. Спасая его от бомбежек, графиня Марион Денхофф (см. начало) перевезла скульптуру в одно из своих загородных имений. Официальной версии дальнейшей судьбы памятника нет. По неофициальной — какие-то переселенцы из Заволжья, поселившись там, пропивали «бронзового мужика», сдавая по частям, как металлолом, благо водка стоила тогда совсем

дешево! За достоверность не ручаюсь — за что купил, за то и продаю...

Есть отрадная новость: все та же графиня для нашего Фонда культуры собрала сто тысяч марок на восстановление памятников Кенигсберга. Сейчас по сохранившейся у нее модели в Германии отливаются копия бронзовой фигуры. В апреле — в день рождения философа — предстоит торжественное открытие памятника, который встанет на прежнем своем пьедестале (о нем — дальше).

...Руины центра исчезали постепенно. Их уничтожали планомерно — смахивали все подряд. И то, что вполне подлежало восстановлению. Душа моя болит по Альтштадтской кирхе XII (!) века, что стояла неподалеку от Королевского замка и на колокольню которой я, помнится, легко взлетал тогда, в пятидесятых, чтобы увидеть город далеко-далеко. Нет, название это я прочел недавно, а тогда это была просто церковь с колокольной. Дольше всех держался замок — говорят, что и во время штурма он сдался одним из последних. Судьбу его решило одно движение указующего перста: кто из высших партийных шишек, проезжая по городу, готовящемуся, подобно Москве, стать образцовым коммунистическим («боровшемуся» за это счастье), вдруг увидел «недобитый фашистский замок» и махнул: снести! Местная партийная шишка повторила жест. Не помогли протесты архитекторов, художников, ученых, писателей, статья в «Литературке». Не помогло и разъяснение, что замок-то построен в древности, когда еще никаких фашистов не было. Шел славный юбилейный год — Пятидесятилетия Великого Октября...

Я видел фотографии поэтапной гибели. Это тяжелое зрелище. Старинная кладка (на яичных белках) держалась и тогда, когда рассыпался добротный прусский кирпич.

И что в результате? На опустевшей площадке заложили Дом Советов — двадцатипятиэтажную бетонную тумбочку. Два десятилетия шла стройка, она не кончена и ныне (как не вспомнить аналогичную историю строительства гигантского московского Дворца Советов, с памятником Ильичу, голова которого предназначалась под библиотеку). Стоит серый безжизненный монстр и поныне — сейчас уже не знают, для чего приспособить.

В результате многолетней развальной акции от старого центра осталось одно полуразрушенное, но законсервированное здание Кафедрального собора.

Еще одним неожиданным, но естественным результатом разрушений стал крах внедрявшейся в сознание жителей области идеи, что история здесь началась в 1945 году. Тут сыграла роль и ее полная абсурдность, и то, что жили в городе люди, которые уже давно осознали, что он не может существовать без исторических и культурных корней, иначе это просто скопище домов и магазинов. Суета сует. Кроме уже названного Ю. Н. Иванова, упомяну еще двоих из тех, с кем мне довелось познакомиться. Один — Леонид Александрович Калинин, доктор философских наук, профессор местного университета, президент Российского Кантовского общества, созданного в прошлом году на IV Кантовских чтениях (десятки наших кантоведов, около десятка зарубежных, в том числе из пастернаковского Марбурга, где сейчас хранится архив философа).

— 22 апреля 1974 года, — рассказывает он, — исполнилось 250 лет со дня рождения Канта. Мы приурочили к этой дате Первые Кантовские чтения, студенческую конференцию. Местные власти встретили это решительным сопротивлением. Город был наглухо закрыт для иностранцев и в таком упакованном виде вполне устраивал всех. А тут они усмотрели подкоп под основы: Кант привлечет ненужное внимание Запада, что вызовет непредсказуемые последствия. Ход рассуждений нетрудно восстановить.

Запретили. Помог «обходной маневр»: завкафедрой профессор Д. М. Гринишин использовал свое личное знакомство с тогдашним завотделом науки ЦК. Тот спустил бумагу в обком, это решило дело. В те же годы создавался музей Канта. Вернее, воссоздавался, ведь таковой был при старом университете Альбертина в старом Кенигсберге, но погиб в бомбежке.

Музей существует при университете. Я видел в нем прижизненные издания «Критики чистого разума» — дары наших ученых и немецких жертвователей. Опасения обкомовцев тем самым начали оправдываться. Работы Канта и о нем, бюсты Канта и Фихте, присланная из Японии копия картины художника Хашимото, на которой собраны выдающиеся моралисты всех веков: Будда, Конфуций, Сократ, Кант... Вариант этой картины висел в упомянутом довоенном музее.

Счастливым случаем была находка летнего загородного дома, который в XVIII веке лесничий и государственный советник Вобстер, весьма ценивший кенигсбергского философа, построил специально для его летних вакаций. Дом после войны был, как водится, превращен в коммуналку. Сейчас он после борьбы с чиновниками постепенно обретает первоначальный вид. Другой находкой оказался обнаруженный на чердаке дорожный сундук Канта. Кто-то срезал старинную кожу, но опознать сундук удалось по довоенным фотографиям. Наконец, третьей находкой оказалась библиотека Валленроде, принадлежавшая университету Альбертина, где, как известно, Кант преподавал. Библиотека была вывезена из Германии в качестве трофея и пролежала неразобранная в церкви известного подмосковного имения «Узкое» долгие годы. Часть книг уже вернулась в Кенигсберг...

— Леонид Александрович, интерес к Канту в последние десятилетия все усиливается. Почему?

— Оказалось, что Кант — философ не XVIII, а XX, даже XXI века. Он предвидел многие трудности и беды человечества. Мы начали изучать логические идеи Канта — они вполне приемлемы для современной логики. Гносеология Канта используется сейчас для создания программ компьютеров последних поколений...

Кстати, о старом пьедестале памятника. О его судьбе рассказывал мне Виктор Васильевич Денисов, председатель горисполкома в 1972—1984 годах. Он был «белой вороной» среди тогдашних властей, почему в конце концов и был «съеден». Сейчас Виктор Васильевич получил приглашение новой администрации занять пост советника по культуре. Пьедестал он сумел законсервировать — на нем долго стоял весьма неудачно выполненный бюст Тельмана (кто у нас на чужом месте только не стоял!). Денисов поведal мне о хитростях, которые приходилось применять, чтобы хоть что-то из культурного наследия сохранить от воинствующего невежества и агрессивной косности. Так, было в свое время издано правительственное постановление: строить только жилье — жилья не хватает. Никаких клубов, дворцов, театров. Никаких «колонн и портиков!» Гуманно? Слово бы и да: вправду и быту. Но это постановление сразу обрело весь материальный фундамент культуры на деградацию. Результаты перед нашими глазами.

Так вот, Виктор Васильевич был из тех немногих руководителей, кто, как он сам признается, не сразу, постепенно осознал пагубность большевистского пренебрежения культурой. Из тех он был, кто правдами и неправдами, с риском для карьеры и благополучия восстанавливал старинную архитектуру, привлекая средства крупных городских предприятий, приумножал парки и скверы, пытался как-то смягчить тотальное наступление стандартной застройки на такой нестандартный город. Перечислю лишь главные его победы. Полностью восстановленный и реконструированный зоопарк. Спасенный от разрушения и законсервированный до лучших времен Кафедральный собор XVI века. Заново построенная под видом магазина картинная галерея, а под видом школы (их разрезали) — Дворец пионеров. В одной из разрушавшихся кирк органнй зал — как его называли в верхах, «причуда Денисова». Восстановленная могила знаменитого кенигсбергского астронома Фридриха Бесселя. Наконец, вставший из руин бывшего Штадтхалле — «Городского зала» — и открывшийся нынешней осенью великолепный историко-художественный музей. Уже сегодня он экспонирует выставки живописи старых кенигсбергских художников, полотна из Германии, Польши, Эстонии, Латвии, предметы быта и искусства жителей этого края. Еще один центр духовного общения горожан и гостей из-за рубежа, множество нитей, которые потянулись на Запад.

Кроме Иванова, Калининкова, Денисова, я мог бы назвать еще немало горожан, воссоздающих и укрепляющих корневую систему культуры на этой земле, ставшей им родной.

Можно, кроме издателя крупнейшей германской газеты «Ди Цайт» графини Марион Денхофф или архитектора Карла Лоренцена, назвать много ученых, художников, предпринимателей, которые осуществляют «встречное движение». Кенигсберг сегодня не только интереснейший город, но и мост, который все надежнее соединяет нас с Германией, с Западом. И наводится этот мост с двух сторон.

Николай НОВИКОВ

От переводчика

Работа над книгой стихов кенигсбергских поэтов (она готовится к выходу в Калининградском издательстве на двух языках) увлекла меня, потому что они жили на земле, где живем сейчас мы, она их вскормила, влила соки жизни в их поэзию. Для меня нет сомнений в том, что мы должны восстановить прерванную связь времен, стать наследниками того лучшего, доброго, светлого, что было на этой земле до нас.

Иногда при помощи искусства перевода удается остановить мгновение. Так мне посчастливилось встретиться с историческим прошлым нашего края, где, как писала Марина Цветаева, «... все еще по Кенигсбергу проходит уколиций Кант».

Сэм СИМКИН

Летели однажды
пять диких лебедей

(восточно-прусская народная песня)

Пять летели лебедей, диких, белых и прекрасных.

«Пой, пой, что случилось?»

— Ищем в небе их напрасно.

«Ну, пой, пой, что случилось?»

— Ищем в небе их напрасно.

Пять березок молодых зеленели у ручья.

«Пой, пой, что случилось?»

— Их в цвету не вижу я.

«Ну, пой, пой, что случилось?»

— Их в цвету не вижу я.

Пять отважных, гордых буршей проводили мы на бой.

«Пой, пой, что случилось?»

— Не дождались их домой.

«Да, пой, пой, что случилось?»

— Не дождались их домой.

Пять тоскуют юных дев возле Мемеля*-реки.

«Пой, пой, что случилось?»

— Не плывут по ней венки.

«Да, пой, пой, что случилось?»

— Не плывут по ней венки.

Симон ДАХ
(1605 — 1659)

Один из самых известных немецких поэтов XVII века, с 1619 года жил в Кенигсберге, окончил университет, а в 1656 году избран его ректором. Вдохновитель поэтического кружка «Ревнителю бренности», куда входили многие поэты и музыканты. Был он также талантливым скрипачом.

☆☆☆

Счастья Вам, зеленые деревья,
пойте песни, рифмами звеня.
Здесь кончаются мои кочевья,
Ваша корона — крыша для меня.
Продолжайте,

заставляйте листья
приносить мне радость и покой!
Я присяду здесь, и будет литься
свет небесный в роще над рекой.
Кто проходит мимо — оглянитесь,
чтоб покой на сердце обрести.
Не ленитесь, птицы, не ленитесь,
мягкий ветер западный, свисти!
Я же со своею легкой скрипкой
под ветвями Вашими пою
вместе с Вами. Этой ночью зыбкой
ставлю действо про судьбу мою.

Старинное название Немана.

Все в ролях участвуют без грима,
даже преподобный Адерсбах *.
Русский парус проплывает мимо,
соловьи безумствуют в кустах.
В домике на Прегеле застолье,
он на весь прославлен Кенигсберг!
Вам всегда, деревья, жить на воле
и всегда, всегда тянуться вверх,
чтобы каждая на ветке птица
не смолкала и без всякой мзды
свято дело герра Адерсбаха
до последней славил звезды!

Гертруда МЁЛЛЕРИН
(1637 — 1705)

Создала волнующие «Духовные и светские песни». Ее называли «Пастушка Прегеля». Вышла замуж за профессора Альбертины Мюллера, родила десять детей. После кончины была торжественно похоронена на средства короля в Кафедральном соборе.

Две вещи правят миром,
вновь и вновь
устами повторяется моими:
святая бескорыстная любовь
и та корысть,
которой деньги имя.

Иммануил КАНТ
(1724 — 1804)

Великий кенигсбержец, философ. Родился в семье шорника, никогда не выезжал из Восточной Пруссии. В Кенигсбергском университете изучал философию, теологию, математику и естественные науки. В 1756 году стал приват-доцентом, в 1770-м — ординарным профессором философии. Нам известно только одно стихотворение Канта.

Февраль

Есть в каждом дне своя забота.
Их тридцать в месяце. Вот квота.
Так ясен счет. Но очень жаль:
Февраль недодает нам что-то,
И мы сбиваемся со счета.
И все ж прекрасен ты, февраль!

Иоганн Готфрид ГЕРДЕР
(1744—1803)

Родился в Морунгене (Восточная Пруссия), детство прошло в бедности и нужде, в 18-летнем возрасте приехал в Кенигсберг, слушал лекции Канта. Известный философ.

Прекраснее цветов

Цветы, которые цветут вокруг,
вы — первая песнь юности. Не вдруг,
не сразу столь великодушным стал,
что доброту возвел на пьедестал
поэзии, и сравниваю с хлебом
мечту, мне предназначенную небом,—
и человечность я воспеть готов,
которая прекрасней всех цветов.

* Адерсбах — советник при курфюрсте, покровительствовал кружку поэтов и музыкантов, «Ревнителю бренности», куда входили Симон Дах, Генрих Альберт и другие. Он подарил органисту собора Г. Альберту летний домик на Прегеле с садом, где собирался кружок, назвавший его «Кюрбислаубе» (беседка среди тыкв). В огороде действительно росли тыквы, поэты писали на них вымышленные имена (свои и своих подруг) и потешались, наблюдая, чья тыква вырастет крупнее.

Эрнст Теодор Амадей ГОФМАН (1776 — 1822)

Родился в Кенигсберге в семье адвоката. Учился в Альбертине, слушал лекции Канта. Классик мировой литературы. А еще был юристом, композитором (псевдоним: Крейслер), художником. Стихи помещены в тексты прозаических произведений.

Стихи из романа
«Житейские воззрения кота Мурра».

Устремление к возвышенному

Какой тревогой мой порыв ускорен
и что за трепет в сердце мне стучится?
Мой дух в прыжке отважном жаждет взвиться,
могущественным гением прищипорен.

Каким волнением я пылко болен?
В чем суть вещей? И что во сне мне снится?
Неужто лишь добычею разжиться
томит желание, как будто хвост присолен?

Влачусь я, бессловесный, безязыкий,
но просыпается инстинкт мой дикий,
освобождаясь от оков бессилья.

Не просто кот — великий чародей! —
слежу в листве зеленой — и скорей, скорей
настичь, сейчас схвачу я дичь за крылья!

Йозеф фон ЭЙХЕНДОРФ (1788—1857)

Поздний романтик, воспевал единство человека и природы. В 1824—1831 годах был советником бургомистра в Кенигсберге. В Кенигсберге его именем была названа улица.

Сумерки

Полумрак стремится поглотить холмы.
Жутко шевелятся в сумерках деревья.
Облака свершают вечные кочевья.
«Что это за ужас?» — вопрошаем мы.
Если твоя серна правится другим,
ты ее одну пастись не оставляй!
Во-о-и собак охотничьих сумеречный лай
и костров охотничьих сумеречный дым...
Да, при свете дня у тебя есть друг,
но не доверяй ему в сумеречный час.
Полумрак коварство пробуждает в нас.
Дружба вероломством обернется вдруг.
Все, что притомилось, сгибнет до утра.
Сумеркирастают. Возродится свет.
Жизнь лучом небесным шлет тебе привет,
словно милосердная мудрая сестра.

Вальтер ШЕФФЛЕР (1880—1964)

Родился в Кенигсберге. Охотно называл себя Вальтер фон дер Лаак (район Кенигсберга). Пользовался большой любовью сограждан. По праву считался поэтом-летописцем города. Автор книг «Мой Кенигсберг» и «Земля и свет».

Из цикла сонетов
«Один день с Кантом»

Прогулка

Итак, по Ланггассе идет он к Зеленым воротам,
встречается с другом, махнув треуголкой ему:
«Прости, но мне нравится быть одному».
И скроется у старой кирхи за поворотом.

Потом постоит у реки, проиграв, как по нотам,
все семь кенигсбергских мостов, словно гамму, корму
плывущего парусника провожая во тьму
и вновь возвращаясь в уме к философским работам.

О разум — одновременно и мощь, и бессилье
пред «вещью в себе»! И он трогает пальцами клейкий
листочек живой, как частичку природной красоты.

И шаг ускоряет, как будто бы выросли крылья,
и в точное время подходит к заветной скамейке.
И так кенигсбержцы по Канту сверяют часы.

Агнес МИГЕЛЬ (1879—1964)

Ее по праву называли «дочь Кенигсберга», а позднее «мать Восточной Пруссии». Одна из звезд европейской поэзии. Считается основательницей новой немецкой баллады. В 1945 году с беженцами попадает в Данию, затем живет в Германии.

Кранц*

Я помню тут себя ребенком русым.
О, как песок был мягок и горяч.
Укрытая в объятиях древней Прусы,
лежала я на склоне дюны. Вскачь
неслась упряжка пенного прибоа.
О, как сиял на белых гривах свет.
Почудилась за солнечной игрою
зеленоглазая дочь моря. Как привет
мне посылала яркие ракушки,
ныряла в волны с резким криком чайки.
Лосенок озирался на опушке.
Стрекозы зазывали в свои стайки.
Лежала я на склоне дюны белой,
мурлыкала от ласки материнской
и, жмурясь, ощущала оробело
дыхание земли, святой и близкой...

Зигфрид ЗАССНИК (1903—1971)

Известный архитектор. В числе многих домов построил в Кенигсберге здания, где ныне гостиница «Москва», холодильник, кинотеатры. В его стихах много живого народного юмора, прусского диалекта.

☆☆☆

Гумбинен** лежит на речке Писса.
Делит город, словно биссектриса,
и течет она себе вольготно.
Слово «Писса» не совсем охотно
наши дамы произносят звонко,
ведь оно противно чувствам тонким.
Чтобы избежать дурного тона,
«Наша речка», — говорят смущенно.
И тогда придумали мужчины
имечко почти из Аргентины
и реку — от устья до истока —
гордо называют «Уриноко».

* Ближайший к Кенигсбергу приморский городок.
** Гумбинен — нынче город Гусев.





Юрий ЗЕРЧАНИНОВ ПРОГУЛКИ С ПРИШЕЛЬЦЕМ

Третья

В прошлый раз я заканчивал тем, что с появлением Ольги, убежденной, что отныне мы образуем астрологический треугольник, который символизирует прошлое, настоящее и будущее, команда пришельца была окончательно сформирована, и первым делом мы решили отправиться в Нижегородскую область. «Аргументы и факты» в рубрике «Биржа «АиФ» поместили следующее объявление:

«Каждая женщина хочет быть немного ведьмой. Я предоставляю им грандиозный шанс. Около 15 лет упорного труда ушло на изготовление уникального средства, позволяющего женщине быть единственно желанной, любимой для своего избранника. Заказы направлять по адресу: Нижегородская область, Ардатовский р-н, р. п. Мухтолово, ул. Кооперативная, 86, Назарову Владимиру».

Пришельца удивляло, для какой надобности столичная газета, имеющая почти двадцатипятимиллионный тираж, бесплатно отрекламировала это «уникальное средство»? Еще в начале века, когда он впервые вочеловечивался, в его память была заложена книга: «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия». В книге этой, в частности, сообщалось: «Отчего в столицах мы не слышим о существовании колдунов и не боимся никакой порчи? Оттого, конечно, что в столицах народ развитее, гуманнее...».

Но неужто сегодня, вопрошал пришелец, эта развитость сошла на нет? Толпы порченных мечутся по Москве, а колдуны и маги тут как тут — и водичкой живой запасут, и защитят от сглаза. Но никто из них — даже Юрий Лонго, «поднимающий мертвецов», — не додумался так лихо спекулировать на нашей духовной скудости и неустроенности, сделав при этом ставку — безошибочную! — на женщин.

Пришелец желал повидать этого человека, и мы согласились отправиться в Мухтолово в середине декабря. Но то у меня появлялись спешные дела в редакции, то была занята Ольга, и уже близился Новый год, когда она вдруг объявила, что поедет одна — прикинется глупой козочкой, боящейся потерять своего игривого козлика, и все разузнает и про это самое средство, и про его создателя. А заявившись втроем, говорила она, мы вызовем подозрения, что хотим заполучить рецепт ведьмовства... И в конце концов убедила нас, что права, и 29 декабря ночным поездом отправилась в Мухтолово.

Ольга возвратилась тридцатого вечером и, позвонив, сказала, что попала, кажется, в веселенькую историю и просит через сорок минут ждать ее у кинотеатра «Космос».

А у «Космоса» явно поддатый парень в темных очках и в пальто до пят потребовал у меня сигарету. Я насторожил-

ся было, но парень снял очки, и я узнал Ольгу.

— Хороша? — весело спросила она. — Ехала на троллейбусе. В отцовском пальто. А те два амбала, которые увязались за мной, мою машину до сих пор караулят...

— Что случилось, Оля?

— Придем сейчас к Виктору — все расскажу. Он ждет нас уже. Я звонила ему.

История, которую рассказала нам Ольга, на первый взгляд столь же неправдоподобна, как и появление в Москве самого пришельца. Но разве все, что происходит с нами сегодня, правдоподобно?

Так что же случилось с Ольгой? Когда она вышла на станции Мухтолово, еще не светало. Ожидался местный поезд на Арзамас, и в маленьком станционном домике было негде приткнуться. А когда этот поезд увез мухтоловцев, спешивших в Арзамас на предновогодний базар, в станционном домике, помимо Ольги, осталась лишь броская столичная дама, слегка притомленная возрастом и нескрываемым интеллектom. Они просидели так час, другой, и Ольга не сомневалась уже, что дама эта, как и она, выжидает, когда поселок окончательно пробудится, чтобы отправиться на Кооперативную улицу. Пусть, решила, идет первой. И пересидела даму, и в половине девятого та ушла, через сорок минут возвратилась, одарила Ольгу покровительственной улыбкой и поинтересовалась у кассирши, когда ожидается ближайший московский поезд.

Ну что ж, пойду по твоим следам, решила Ольга. Дом, который она искала, оказался в дальнем конце Кооперативной улицы, тянувшейся параллельно железнодорожному полотну. Добротный деревянный дом, поделенный на две семьи. Ольга поднялась на то крыльцо, к которому вели хорошо различимые на свежем снегу следы итальянских сапожек той самой дамы, нажала кнопку звонка, предвкушая, что дверь откроет какой-нибудь длинноротый карлик, ибо нынешние чародеи и колдуны, как правило, обзаводятся впечатляющей свитой, но дверь открыла немолодая радужная женщина, которая, едва Ольга помянула об объявлении в «Аргументах и фактах», воскликнула: «Неужто и вы туда же — в ведьмы?»

Объявление это, как выяснилось, было дурацким розыгрышем, а Владимир Назаров — Ольга же познакомилась с его мамой, Майей Серафимовной — только что женился, и у него другой теперь адрес, а с ведьмовской почтой он уже свылся, любопытствует даже и вчера только мешок писем унес. Тех же, которые приезжают, Майя Серафимовна берет на себя — жалеет, образумить стремится.

— Женщина может умом, красотой, чистоплотностью взять, — говорила она Ольге, которая, оценив ситуацию, назвалась психологом. — Да, наш быт не устроен, но научись справляться, а потеряешь себя, распустишь — не удержишь мужа. И никто, и ничто тебе не поможет — никакое «уникальное средство». А все едут, едут... Вот и сегодня уже была одна — на вид такая ухоженная...

Если бы утренний поезд Томск — Москва не опоздал почти на час, Ольга бы возвратилась в Москву без всяких приключений. Но она успела на этот поезд, вошла вслед за ухоженной дамой в шестой вагон, и проводник открыл им свободное купе.

Ухоженная — она назвалась Ангелиной, — едва они познакомились, промолвила как бы невзначай:

— Ловко нас обдурили, не так ли?

— Зря съездили? — поинтересовалась Ольга.

— А вы?

— Я не зря.

— И я не зря.

Разговор иссяк. Ольга раскрыла «Дневник одного гения» Сальвадора Дали, а ее попутчица углубилась в чтение репринтного издания той самой книги об обычаях, обрядах, преданиях, суевериях русского народа, на которую — Ольга отчетливо помнила это — как раз и ссылался пришелец. Она сожалела уже, что не поддержала разговор, но ухоженная внезапно захлопнула свою книгу.

— Ведьмы-то, представляете, страстные охотницы до молока, оказывается!

— Я тоже люблю молоко, — сказала Ольга. — Но где его купишь сейчас?

— На Центральном рынке, милочка. Хоть коровье, хоть козье.

— Перезимуем, — сухо сказала Ольга.

— Вы еще учитесь? — участливо полюбопытствовала ухоженная.

Втяну тебя в доверительный разговор, решила Ольга,

и наверняка признаешься, чего ради ездила в Мухтолово. И стала рассказывать, что институт уже окончила, осталась в аспирантуре и готовится писать кандидатскую диссертацию (что, замечу, соответствовало действительности, ну а дальше, сами понимаете...). А дальше столь же доверительно Ольга поведала, что собирает материал о суевериях, продолжающих широко бытовать сегодня, что это и есть ее тема, вот почему объявление в «Аргументах и фактах» так заинтересовало ее.

— Не могу представить, как можно прожить на стипендию, даже аспирантскую и хоть вдвое, хоть втрое повышенную, при свободных ценах? — еще более участливо воскликнула ее попутчица.

— Я живу с родителями, — сказала Ольга.

— Делаю предложение, — решительно заявила ухаживающая, — примете, и у вас не будет проблем с покупкой молока на Центральном рынке, да и не только молока...

Что же предложила Ольге ухаживающая дама Ангелина? Должность научного консультанта в кооперативе «Друг вашего дома». Вот будут в Москве все квартиры приватизированы, и новоявленный домовладелец, приученный безропотно вверять себя власти имущим — как в стране, так и в микрорайоне, — примчится, доверившись на сей раз безудержной рекламе, за советом к надежному «Другу». И ему будет сказано — не мелочись, в собственном доме жизнь не налажится, пока не пригласишь домового, который проказит, если хозяин ему не нравится, но постарайся понравиться, и он будет верно служить тебе. Каждый второй, убеждала Ангелина, не устоит, захочет обзавестись домовым, а уж мы посодеем — дадим консультанта. Но если клиент, раскошелявшись на домового, будет по-прежнему сетовать, что жизнь не налаживается, ему внушат, что это козни недругов, и предложат услуги ведьмы. Домовых, как известно, никто никогда не видит, а ведьмы не столь застенчивы, и, как было сказано Ольге, кооператив уже набрал десять женщин, которые готовы работать ведьмами и для которых уже отловлены бездомные черные кошки и закуплены на Птичьем рынке черные петухи. Эти будущие ведьмы, однако, еще жалкие дилетантки, и разработать программу занятий с ними и предлагалось Ольге.

Ольга медлила с ответом, обдумывая, как устроить, чтобы прищелец повидал эту лихую компанию, и наконец сказала:

— Я хотела бы посоветоваться со своим научным руководителем. Что я смыслю в демонологии в сравнении с ним?

— Берем и вашего профессора, — сказала Ангелина. — Хороший кусок отвалим ему.

Пора заканчивать эту игру, решила Ольга, и, вспомнив, как прищелец, когда они только что познакомились, назвался американским коннозаводчиком, придумала, как осадить Ангелину:

— Мой профессор в вашем «куске» не нуждается — американский дядюшка завещал ему доходную фирму.

— Принимаю к сведению! — воскликнула та. — Создадим совместное предприятие.

Разговор этот возобновлялся до самой Москвы и завершился тем, что Ольга попросила дать ей время подумать, но ее попутчица жестко сказала, что наболтала, кажется, больше, чем следует, и в новогоднюю ночь — с двух до трех — ждет Ольгу вместе с ее профессором для полюбовной встречи с шампанским и анасами в офисе «Друга», вручила адрес и дала понять, что «Друг» не простит, если кто-либо позамысливает его беспронятную коммерческую идею. И не стала скрывать, что ездила в Мухтолово, чтобы прибрать к рукам неожиданного конкурента, и вдвойне довольна — убедилась, что и конкурента нет и что спрос на ведьмовской товар ох как высок.

На перроне Казанского вокзала Ангелину встречали двое «друзей» — четкие, пружинистые мальчишки, которые были представлены Ольге как консультанты по домовым. А час спустя со своего балкона она увидела, как эти консультанты прохаживаются возле ее машины...

Едва Ольга закончила свой рассказ, часы, стоявшие возле бюро с металлическими инкрустациями, пробили густым медленным боем одиннадцать, и прищелец попросил позволения включить телевизор:

— Я пристрастился смотреть «Вести».

Приводя последние сообщения из Минска, Александр Гурнов спешил ободрить нас, что на двадцать второй день своего существования Союз Независимых Государств не разрушился, показал, как в Тбилиси и Степанакерте по-прежнему льется кровь, и порадовал лишь судьбой поросенка, которого московский водитель Кулёв выкармливал к новому году

стола, но привязался к нему, и поросенок по имени Маша стал членом семьи.

— А мои «друзья» подали бы Машу на стол, — сказала Ольга.

И тут и я, и Ольга услышали голос прищельца, хотя, клянусь, наш Виктор Сергеевич рта не раскрывал!

— Тех двоих, которые взялись караулить машину, я уже попросил прибраться до поры до времени на тарелочку, а с остальными мазуриками разберемся в новогоднюю ночь.

Мы с Ольгой переглянулись...

— Вы ждете от меня пояснений? — спросил прищелец.

— Да, — сказал я, — насчет тарелочки.

И прищелец признался, что в последнее время им все чаще владели сомнения, что он не в силах составить безошибочный диагноз, который позволит очеловечить советского человека, и он сообщил Верховному Разуму, что типичные разновидности гомо советикс должны быть исследованы, на его взгляд, авторитетными психологами и физиологами Сообщества высокоразвитых звездных цивилизаций. И такая лаборатория оборудована в виде привычной уже для землян тарелочки и только что с его подачи — да, телепатировал, пока мы смотрели «Вести» — приняла двух первых пациентов. А в новогоднюю ночь, давал нам понять, он, быть может, еще кое-кого высмотрит.

— Но офис «Друга» находится в Сокольниках, — говорила Ольга, — как же ваша тарелочка — прямо посреди Москвы опустится? Да и тех амбалов не могу представить, как брали...

Всем своим видом, однако, прищелец (спешу сказать, что он уже откорректировался, и в нем заиграла кровь) давал понять, что удостоверимся вскоре, как это делается. Мы сговорились, что поедем в офис «Друга» втроем, а меня он представит как своего коллегу — многообещающего ведьмолога.

В предновогодний день я раздобыл редкую книгу Даля и немного поднатаскался насчет ведьм — знал теперь, что они запросто живут среди людей и отличаются от обычных баб разве что небольшим хвостиком, а стремясь зловредничать, варят в горшке травы и снадобья, перекидываются в свирепую собаку, оставляют людей без хлеба — хлеб всегда норовят похитить... Вспомнив, что к новому году столу надо как раз купить хлеба, я отложил Даля и поспешил в ближайшую булочную, но она пустовала. И до самого вечера метался по Москве, убеждаясь, как ловко сработали ведьмы, оставив под Новый год весь город без хлеба. На Пушкинской площади, в подземном переходе, находчивый мальчик, наяривая на гитаре, просил подать Деду Морозу, которого Снегурочка выставила из дома, и давал понять, что не откажется и от булки, но булок ему не протягивали...

Год между тем шел к исходу. И наконец пробили куранты, и президентствующий на «Огоньке» Михаил Задорнов пожелал всем нам не вешать нос. А без четверти два, заверив жену и дочь, что вскоре возвращусь, я вышел из дома...

Около спартаковского комплекса имени братьев Знаменских прищелец попросил Ольгу притормозить, открыл дверцу, выглянул из машины и удовлетворенно сказал: «Едем дальше». А на пустынной улице Короленко я приметил, что за нами неотступно следует желтый «лендровер». И когда мы наконец разыскали полуподвальный офис «Друга», метрах в ста от нас прижался к тротуару и этот желтый «лендровер».

Пока «друзья» высматривали нас в глазок, я продолжал наблюдать за «лендровером». И в последний момент, когда стальная дверь полуподвального офиса наконец распахнулась и Ангелина одарила прищельца обольстительной улыбкой, я успел увидеть, что водитель «лендровера» с тряпкой в руках вышел из машины, намереваясь протереть, очевидно, ветровое стекло. Он был в форме омоновца...

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К ТОМУ, ЧТО ГОВОРIT ИРИНА ХАКАМАДА



Фото Леонида Шимановича

В ее визитной карточке указано — директор научно-исследовательского института Инфоцентра, эксперт по экономическим вопросам, кандидат экономических наук, доцент. Она преподавала в институте политэкономии, пока не осознала, что обольщается, полагая, что к тридцати годам хоть в какой-то мере реализовала себя. Того же мнения был и ее давний друг Константин Боровой — тоже кандидат, тоже доцент, но занимавшийся вычислительной техникой. И он предложил Ирине заняться вместе с ним коммерцией, и это завершилось созданием биржи. Биржа эта — первая в нашей стране и самая крупная по обороту — Российская товарно-сырьевая.

Человек гуманитарного склада, Ирина Хакамада отнюдь не убеждена, что окончательно нашла свое место в жизни. Многообразная работа на бирже целиком поглощает ее сегодня, но выпадает свободный час... Вот некоторые соображения и наблюдения, которые она высказала корреспонденту «Юности»:

— Чем больше будет у нас людей богатых, тем скорее в стране все образуется. Найдется, кому подумать и о беспомощных и одиноких, и о бедственном положении образования, культуры, фундаментальной науки... Бесспорно, что среди тех, кто обретет капитал, окажутся люди, скажем так, невысокого духовного потенциала. А разве среди партийных и государственных функционеров, которые до сих пор регламентировали всю нашу жизнь, да и по сей день, пристроившись в новых структурах власти, сохраняют былые замашки, много людей духовных и бескорыстных? Но коммерсант, сторонящийся меценатства и милосердия — этих исконных российских традиций, — не найдет понимания в обществе, осознавшем себя свободным. Вопрос только в том, как скоро каждый из нас окончательно раскрепостится.

— Гуманитарии, как показала история развития рынка, могут только говорить. Даже экономисты не тянут — могут только консультировать, экспертами работать. Для того, чтобы создать предприятие, нужна деловая хватка и четкая постановка задачи, а перевода на язык технический — выработка алгоритма, как этой задаче добиться, и его реализация. Не случайно лидеры современных рыночных, коммерческих структур в большинстве своем технари.

— Настоящим коммерсантом может стать только человек, который очень любит зарабатывать деньги и которому нравятся сам этот процесс. Это как игра в карты. Выиграю — на коне, если же проиграю... А я не играю. Довольна тем, что нашла на бирже и применение своим чисто гуманитарным способностям. Работы и невротрики много, но предложи мне сейчас уйти обратно в вуз — ни за что. Для меня это уже болото. Скучно. А здесь очень многое зависит от меня самой. В принципе я достигла наконец — быть может, это самообман? — определенного уровня независимости. Ведь кто создавал коммерческие структуры? Люди, которые хотели быть независимыми. Это понятие абстрактное. Абсолютной независимости в обществе, конечно, нет. Тем более в нашем обществе — и во вчерашнем, да и в сегодняшнем.

— Еще год назад наши биржи походили на западные двухсотлетней давности. Сейчас дистанция сократилась, но мы действительно приблизились к западным биржам, как только будет введена частная собственность на всю цепь экономических структур — от земли до оптовых баз, до транспорта и так далее. А пока наша биржа выступает как торговый центр — посредничает, закупая наличные товары и продавая их по контракту. Настоящая же биржа прежде всего занимается страхованием производителя при колебании цен на его товары.

Мы у себя отводим уже небиржевой товар в торговые дома, а биржевой товар специализируется по секциям. Уже есть секции металлов, стройматериалов и топливно-энергетическая. Вот будут три основные секции биржевых товаров, и можно будет уже вводить фьючерс — стандартный контракт на продажу еще не произведенного товара. Вот пример. Фермер в августе произведет зерно, но уже в апреле стремится застраховаться от падения цены. Что же он делает? На бирже наличного товара заключает контракт на поставку в августе своего зерна. А вдруг цена упадет? И он заключает другой контракт, более дорогой, уже на фьючерсном рынке, выступая в противоположной позиции. И цена действительно падает — и на наличном рынке, и на фьючерсном. На наличном рынке он продаст зерно, проигрывая, а на фьючерсном выкупает свой контракт, выигрывая. Чисто спекулятивная в хорошем, то есть в коммерческом, смысле этого слова операция, и когда наш производитель станет частным, ему потребуется такой механизм страхования.

— А вы знаете, я бы сейчас возвратилась к преподаванию, чтобы учить специальности коммерсанта. Но в частном университете, при западной системе постановки высшего образования. Бывший институт торговли теперь называется коммерческим, но это — государственное образование. А чисто коммерческий институт создавать надо заново. Сейчас государственные структуры пытаются приспособиться, почти не меняясь, к новым веяниям. И пока что выпускник школы вынужден поступать в коммерческий институт или финансовую академию (многие институты норовят называться сейчас академиями!) и, проучившись там пять лет, получить очень слабое коммерческое и даже не коммерческое, а несколько адаптированное экономическое образование, а затем, чтобы работать в чистом бизнесе, поступить к нам на курсы.

— Западные специалисты утверждают, что быть брокером или дано человеку, или не дано — это искусство. Наши брокеры — молодые ребята, которые стремятся собственным трудом зарабатывать хорошие деньги. Первое время, правда, многие брокеры приходили из торговли, но биржа предъявляет более цивилизованные требования. У нас принят сейчас моральный кодекс брокера.

— Я родилась и выросла в России, но отец мой — японец. И когда я бываю в Японии, где утвердился цивилизованный капитализм, который и капитализмом-то уже не назовешь, то приходится выслушивать, что все наше предпринимательство — это дилетантство, былые традиции безвозвратно утеряны... Я прекрасно знаю все наши просчеты, но отчаянно доказываю, что у нас есть потенциал и этот потенциал формируется в очень трудных условиях и поэтому тем более ценен. Люди у нас таковы, что, когда, казалось бы, и то, и другое запрещено, они рискуют, и что-то у них уже получается. А чтобы у нас восторжествовал цивилизованный рынок, я бы широко открыла границы для иностранного капитала, создав гибкую экономическую систему, которая бы сохраняла национальные традиции. Если дать свободу и иностранному капиталу, и отечественному, регулируя их отношения чисто экономически, они бы уже договорились.



«Искушение Президента». Холст, масло. 1991 г.

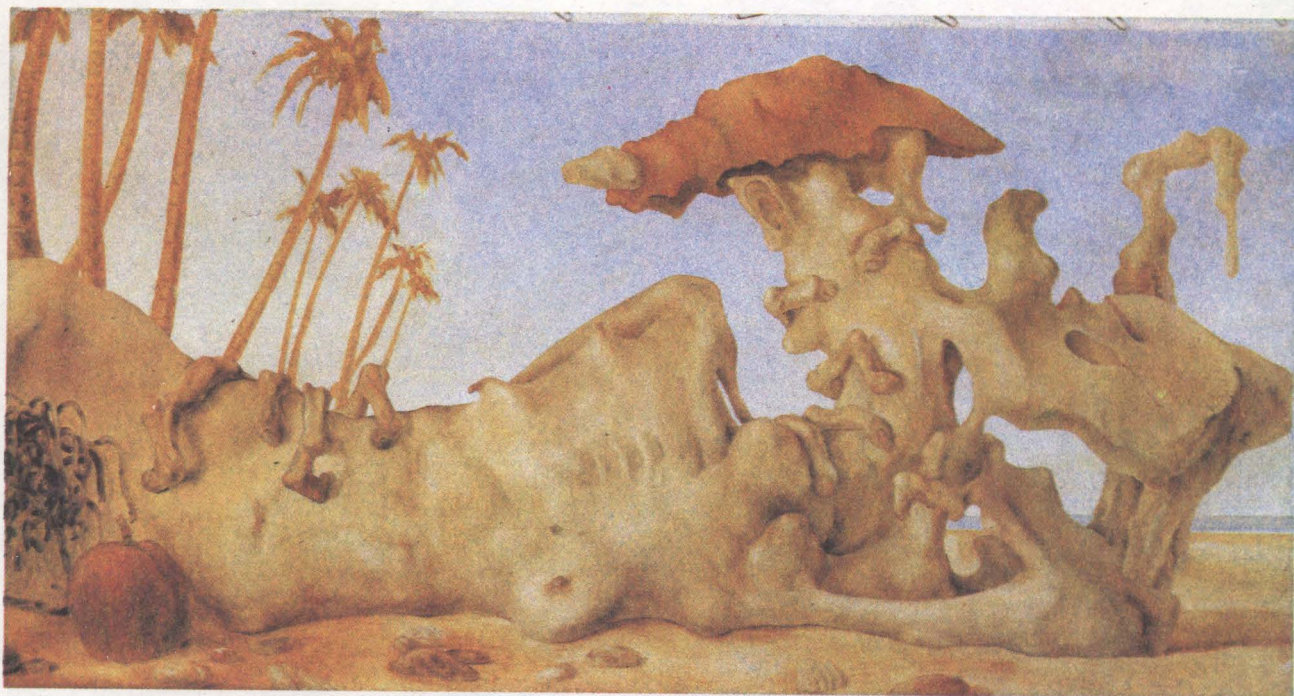
**Алексей ЗУНДЭ.
г. Тюмень.**

*Алексее Зундэ тридцать лет.
Он возглавляет в Тюмени частную фирму ОФЕРТА,
которая занимается
производством сельскохозяйственной продукции
и туристическим бизнесом.*

*Алексей — дипломированный инженер,
художественного образования не имеет. Любитель.
В выставках не участвовал.
Публикация на страницах «Юности» — дебют
талантливого художника.*



«Рождественские гадания». Холст, масло. 1990 г.



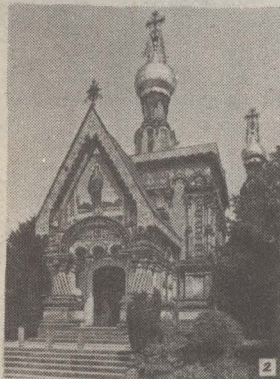
«Несколько мыслей по поводу овощей и фруктов». Холст, масло. 1990 г.

«Мутация П». Холст, масло. 1990 г.





«Путь на Голгофу». Холст, масло. 1991 г.



На снимках:

1. Церковь Рождества Христова во Флоренции.
2. Церковь св. Марии Магдалины в Дармштадте (Германия), на родине последней русской императрицы Александры Федоровны. Архитектор Л. Н. Бенуа, росписи В. М. Васнецова. Стоит на искусственном холме, насыпанном из земли, специально привезенной из всех русских губерний.
3. Успенский собор в Хельсинки (б. Гельсингфорс).
4. Церковь св. Александра Невского в Копенгагене.
5. Крестовоздвиженский собор в Женеве. Архитектор Д. И. Grimm.

5. «Юность» № 3.



«Русской экспедиции» — год!

«Русская экспедиция» — продолжается!

Альбом. Лист 9.

МЫ НЕ УХОДИЛИ ИЗ ЕВРОПЫ

Западная Европа, затаив дыхание, с ужасом ждет часа, когда падут последние оковы — и орды русских, сметая на своем пути хрупкую европейскую цивилизацию, ринутся за благами рыночной экономики. Между тем русские всегда жили, живут и будут жить в Европе, обогащая западную культуру, — свидетельство этому многочисленные луковичные главки над средневековыми европейскими пейзажами.

Заграничное русское самосознание воплотилось именно в храмостроительстве: особая привязанность к Родине, особые отношения с Богом. И ныне сердце русского путешественника, уже заполненное красотами «страны чудес», по особому затрепещет при виде родных куполов.

Православный храм в Европе — сердцевина русского «присутствия»: здесь крестят, венчают, отпевают. В истории храмостроительства отражаются важнейшие моменты зарубежного бытия. В них воплощаются союз и оппозиция «Россия — Европа».

Сильно впечатляет «национальный стиль» на традиционном католическом фоне — например, в Италии. Самая красивая русско-итальянская церковь, пожалуй, в «столице Возрождения», во Флоренции, в том самом городе, где в XV веке была с помпой подписана Уния с Папским престолом — русский представитель был впоследствии «дезавуирован». Христорождественский храм (арх. М. Т. Преображенский), по замыслу строившей его русской колонии аристократов, стал искупительным символом несчастной флорентийской Унии. Теперь, при определенном ракурсе, можно увидеть образ «торжества Православия»: восьмиконечные кресты — их в Европе называют «русскими» — доминируют над куполом флорентийского собора.

В столице католической Франции обосновалась одна из старейших зарубежных православных общин, которая в прошлом веке обзавелась прекрасным Александро-Невским храмом (арх. Р. И. Кузьмин). Церковь на рю Дарю — общепризнанный центр русского Парижа, а в 1930-х — всей русской Европы, по соседству с которым до сих пор — русское издательство, ресторан, магазин и даже консульство.

Польская столица в 1920-х годах решительно избавилась и от тяжелых воспоминаний прошлого, и от грандиозного православного собора в центре города (арх. Л. Н. Бенуа). Чудом уцелело лишь несколько мозаик, перенесенных в тогда еще польские Барановичи. Поляки, правда, поспорили в Сейме о судьбе храма: может, сохранить, перекрестив в костел? — но национальные амбиции взяли верх.

У отделившейся Финляндии, видимо, было меньше обид — до сих пор хельсинкская гавань встречает путников кирпичным Успенским собором (арх. А. М. Горностаев). Финны, правда, испортили вид на собор с воды, заслонив его модернистским зданием, и надо добавить, справедливости ради, что они поносили немало русских храмов в «очаге напряженности» — на Карельском перешейке.

Любопытен случай с копенгагенским храмом (арх. Д. И. Grimm), построенным по желанию бывшей датской принцессы Дагмары, позднее — императрицы Марии Федоровны. В 1920-х советское правительство стало претендовать на церковь как на государственную собственность и затеяло тяжбу с эмигрантским приходом. Зачем атеистической власти понадобился храм — непонятно: может, хотели его взорвать в назидание христианской Европе? Дело закончилось историческим прецедентом: в Верховном суде Дании было доказано, что советское государство нельзя считать правопреемником российского.

Разные «волны» вносили разный смысл в храмостроительство. В бельгийской столице — две русские церкви. Русские эмигранты первой «волны» воздвигли в Брюсселе величественный храм — памятник жертвам революции, а «перемещенные лица» второй «волны» посчитали его «царистским» и стали прихожанами другой церкви.

Широко расплескалась русская душа — не только до какой-нибудь европейской глубинки вроде Баварии, но и до Америки и Японии, до Палестины и Австралии. И, видит Бог, если грядущая «четвертая» волна захочет сохранить свою «русскость», если новых европейцев будут волновать не только «джинсы и колбаса», им рано или поздно понадобятся эти стены и купола — в жажде ли Царства Божиего или просто в тоске по родной речи. И, может, вдохнут они в пустующие храмы молодую жизнь, напишут их историю и даже построят свои собственные церкви — конечно же, в «национальном стиле».

С.-Петербург

Михаил ТАЛАЛАЙ



Дмитрий МАЧИНСКИЙ

ДРЕВО РОССИИ

Фото Михаила Куркова

Эта книга* пишется на исходе последнего столетия зона (знака) Рыб и в начале последнего десятилетия двухтысячелетней христианской эры (а если принять во внимание, что реально Иисус родился около 7—4 гг. до н. э., то и совсем на исходе христианского двухтысячелетия).

Последнее столетие, как ни одно предшествовавшее, воплотило многие мечтания человечества — преимущественно в области внешнего освоения и устройства жизни — и, как ни одно другое, обнажило всю мерзость, укорененную в человеческой природе, и ослабило надежды на ее преобразование. Это столетие первых мировых войн и первой системы всемирной безопасности. Россия, сыгравшая одну из ведущих ролей и в том, и в другом, на утренней заре столетия подарила миру странный цветок своего «серебряного века», уместившегося в три десятилетия, века небывалых начинаний в сфере духа и в области культуры, среди которых центральное место занимает феномен русской религиозной философии, истинное воздействие которой на широкие и глубокие пласты российского общества начинается только ныне, на исходе столетия. И та же Россия в том же столетии реализовала совершеннее и завершнее, чем кто-либо в эоне Рыб, ад на земле, его круги по нисходящей и восходящей, вплоть до самых низких и мерзостных. И... находясь на низшем круге собственного ада, вступила в противоборство с Германией, творившей свой ад в центре Европы, и — ад восстал на ад — победила ее, спасая мир от болезни более опасной, чем поразившая Россию, так как классический фашизм грозил перерождением важнейшему органу земного сознания — европейской цивилизации.

В уходящем столетии человечество совершило невероятное погружение в тайны вещественного микромира и устройства Вселенной. Но по-прежнему практически запечатаны недра земли, мы плохо знаем «внутреннюю жизнь» нашей уникальной планеты даже на физическом уровне, а тем более — на уровне Планетарного Сознания, его различных сфер и энергетических каналов, а сущность человеческой души и соотносимость ее с различными уровнями Мирового Сознания постигаются нами, пожалуй, менее глубоко, чем древними. На путях самопознания мы еще не обогнули «мыс Доброй Надежды», не исследовали всерьез грань между жизнью и так называемой смертью, не говоря уж о более дальних областях Великой Жизни Сознания.

Можно предположить, что самые великие открытия, самые смелые путешествия, полеты и погружения в ближайшие десятилетия будут совершены (а отчасти уже совершаются) на путях, ведущих в глубь человеческой души и земной

природы, к постижению различных сущностей, уровней и форм Космического и Планетарного Сознания.

Все свидетельствует о том, что человечество, впервые в середине XX века организовавшее себя как мировое сообщество, ныне, на рубеже II и III тысячелетий христианской эры, подошло к существенному рубежу в своей истории. Тонкая пленка человеческого сознания, распластавшаяся на поверхности земли, пытается пульсировать как единый организм. Из всех цивилизаций, образующих этот организм, наиболее радикальным изменениям как внутреннего уклада, так и в сфере внешних отношений подвержена ныне Российская цивилизация (а также та часть человечества, которая вольно или невольно была вовлечена в большевистский эксперимент). И суть российской метаморфозы отнюдь не только в том, что жуткий эксперимент, поставленный на российских просторах, исчерпал себя, — нет, ныне намечается и изменение некоторых принципов всей российской истории. Многие в России ныне происходят впервые всерьез за ее тысячелетнюю историю, и хотя некоторые из этих новаций для европейской и североамериканской цивилизаций отнюдь не новы, можно не сомневаться, что своеобразие российских традиций переработает общечеловеческие институты в нечто невиданное ранее.

В известном смысле в России заново начинается ее история, прошедшая через период «антиистории», начало которого отмечено обещанием «клячу истории» загнать (В. Маяковский), а весь период заслуженно получил имя — «годы безвременщины» (Б. Пастернак). Заметим, что некоторое «выпадение» России из истории Европы и Азии, а позднее и из мировой истории (отчасти связанное с ее местом на карте), имело место и ранее. Однако происшедшее в XX в. беспримерно и, хотелось бы надеяться, неповторимо. Имело место некое «нисхождение во ад» в немыслимой роли — претерпевающей муки на всех его кругах. Но если спуск происходил стремительно, то восхождение растянулось, пытку заменила растлевающая души ложь, пронизавшая почти все уровни жизни и своей системностью и всеохватностью создавшая у большей части населения ощущение стабильности и «нормальной жизни».

Но и через «выпадение из истории», через «нисхождение во ад» Россия участвовала в мировой истории, только особым, уникальным способом — вводя опыт рукотворного, земного ада в «сокровищницу мировой истории», вводя как некий противовес и общечеловеческий урок.

Ныне, в 1991 году, Россия вновь вернулась в поток мировой истории. Однако вживание в историю, новое «воплощение» в органичные государственные формы могут быть не менее мучительными, чем некоторые этапы недавнего периода.

В европейско-североамериканской и дальневосточной цивилизациях за последние полвека, упрощенно говоря, жизнь

* Готовится к изданию в Петербургском отделении издательства «Искусство». «Юность» публикует «выбранные места».

удалась. Другие — исламская, китайская — вполне нашли себя в традиционных или отчасти во вновь обретенных формах осмысления и организации жизни. В России же, после крушения большевизма, образовалась опасная пустота в экономической, социальной, политической, идеологической, культурной и духовной сферах, пустота, один из истоков которой уходит в некое «зияние», возникавшее временами в российской истории и ранее. У нас «жизнь не удалась», нам снова «нечего терять, кроме...» этой пустоты, жаждущей наполниться чем-либо. И в этом — великие возможности и великая опасность.

Навряд ли одни экономические преобразования (при всей их неотложности сейчас) надолго решат проблемы России, поскольку в ее этнопсихологии и истории есть, наряду с «экономической», некая «антиэкономическая» струя. Ортодоксальный марксизм, боготворивший экономику, блестяще доказал это, создав в России с помощью нарушения ряда законов экономики самое мощное в военном отношении государство в мире, обладавшее уникальной «морально-политической» монолитностью.

Ныне наша страна, неудержимо (как кажется) распадаясь на отдельные государства и «зоны», признает как связующую реальность лишь то, что именуется «единым экономическим пространством». Но жажда национал-демократической, национал-религиозной или национал-большевистской самостоятельности, да и просто ненависть к утомившей идее Центра, делают свое дело — и «экономическое пространство» может легко превратиться во множество отдельных государств с весьма различными политическими устройствами и ориентациями.

Идея суверенного национального государства, охватившая почти все этносы «Союза», увлекла и кое-кого из великороссов, но именно для них она, что также осознается многими, особо и опасна. Если идти по пути превращения идеи «национального суверенитета» в некую непререкаемую догму и при этом признавать нерушимыми все административные границы национальных республик, областей и округов, то окажется, что области, административно принадлежащие великороссам, образуют дырявое кружево земель от Балтики до Охотского моря, без целостного единства и географически естественно распадающегося на три (а то и более) части. Русские, и особенно великороссы, всегда были тем связующим материалом, который заполнял и цементировал, отнюдь не только экономическое, пространство Российской империи. И теперь, при разделе «по этносам», великороссы не получают компактного единого пространства, а при слабой развитости этноконсолидирующего инстинкта, утраченного в процессе разрастания империи, и при отсутствии крупных объединяющих идей вполне вероятны тенденции к образованию нескольких великорусских полугосударств. А это — путь к гибели этноса, его великой культуры и его еще великих возможностей, что, естественно, вызывает поначалу чувство протеста... Но, может быть, так и надо? Ведь распалась же Британская империя, ведь влились же потомки англичан в новые, формирующиеся нации?

* * *

Тенденция к национальному обособлению и чистоте глубоко противоречит всей истории русских и великороссов, построенной изначально на органичном и непрерывном, сознательном и бессознательном вбирании в себя разнообразных этнических компонентов, вносящих свой вклад в формирование генофонда, этнопсихологии, религиозности, социальной и т. д., — компонентов, не изменявших, однако, до сих пор природу единого «государственного стержня» русско-великоросского сознания и истории. Ныне значение краеугольного камня при строительстве новых этногосударств приобретает термин «коренная нация». Обычно имеется в виду, как полагают, исконное, а в реальности — имеющее приличную древность пребывание данного этноса на данной территории. Историки знают, сколь зыбким во многих случаях является этот принцип, когда он становится главным, и сколько крови уже было пролито во имя его.

Так вот, русские и великороссы на всей территории России (о границах которой разговор пойдет ниже), несомненно, являются коренным этносом, причем не в смысле их «большей древности» на той или иной территории, не от слова «корень», а от слова «коренной», «коренник» — центральная лошадь в упряжке.

Некогда таким «коренным» этносом на территории Древней Скифии были ираноязычные племена — скифы, сарматы и аланы, чьи этнопсихологические и социально-экономиче-

ские особенности придавали ей известное единство в глазах эллинов и римлян, затем турки и монголы, объединявшие большую часть этой же территории в рамках своих империй.

В упряжке же российской государственности русские и великороссы — коренной суперэтнос и этнос, на них приходилось основное государственное тягло, они протащили эту телегу по всем ухабам... и, могут возразить мне, завезли ее в глубокую яму!

Но все же телегу завезли в яму не кони, а те, кто управлял ими. И пора бы перестать быть конями — и в варианте гоголевской «тройки», управляемой неизвестно кем, и в варианте блоковской «степной кобылицы», летящей неизвестно куда...

Надо очеловечиться, надо остановиться, осознать, вчувствоваться. И снова придется, уже более осознанно, брать на свои плечи тяжкое тягло коренного этноса, которому-таки придется вытягивать телегу из трясины, куда она попала не без его бездумного участия. А уж потом — какие этнические или иные силы повезут ее далее, или же все разойдутся, забрав с телеги пожитки, — покажет время.

Надо смело и непредвзято вглядеться в отечественную географию, историю и культурно-религиозную жизнь, посмотреть, что же реально осталось от единства империи. Нужно постараться выявить то трудноуловимое, что стоит над и под имперским организмом, что предполагало возможность его, что направляло и руководило таинственным зарождением, ростом и крахом этого организма.

Я в отличие от многих произношу слово «империя» без ненависти или восторга. Империя есть исторически обусловленная форма государства, которая может быть омерзительна, как и любая форма государства. «Зависеть от царя, зависеть от народа — не все ли нам равно?» (А. С. Пушкин). Возможно, империя более, чем другая форма государства, может подавлять человеческую личность, но она же способна создавать своды законов, наиболее полно регламентирующих отношения личности и государства (Римская империя и кратковременная империя Наполеона). Кроме того, в империях на ограниченной, но географически связанной территории осуществлялась идея всеземного единства, мимо которой человечеству все равно не пройти. Вопрос не в том, плоха или хороша империя, вопрос в том, сумела ли она стать орудием (пусть страшным, но временно необходимым) для сил и законов высшего порядка, сумела ли она имперскими средствами поучаствовать в укоренении в земную почву новых духовных прозрений, как, к примеру, Римская империя, в недрах которой христианство сделало вселенской религией и которая погибла, оставив миру это прошедшее имперскую школу христианство. (Другой вопрос, во что обошелся этот симбиоз с империей самому христианству, во что стало сочетание кесарева с Боговым.)

Единство России (в любых формах) может быть сохранено и возрождено, да и сами эти формы могут быть выработаны лишь при неосознанной, а лучше осознанной, апелляции к крупным реалиям, идеям, образам и силам, которые предопределили имперское единство на территории, именовавшейся древними греками Скифией.

Жителям нашей страны, преимущественно великороссам, но не только им, присуще глубоко вживленное в сознание ощущение ее «великости» (пусть хотя бы территориальной). Единый социальный организм у нее не сможет существовать, не осуществляя в чем-либо — в некоем ли новом крупном понимании своей и мировой реальности, в неких ли новых формах деятельности — этой своей «великости». Без этого «архетипа великости», чувства избранности, предназначенности и «всемирности», возникшего на разных этапах в сознании объединявших это пространство этносов — тюрков, монголов и русских, — не может сложиться органичное единство ядра бывшей империи. Чрезвычайно важно, возродится ли чувство крупномасштабности и значительности всего совершающегося, в частности, в сознании русских и великороссов, которым еще в эпоху Древней Руси, еще до того, как она стала «Великой Россией», великой в территориально-военном отношении, было таинственно дано некое чувство всемирной предназначенности и святости своей земли («земля святая русская» русских былин) и которые до сих пор объективно являются связующим этнокомпонентом на большей части бывшей империи.

Чувство «великости России», в сущностном ядре которого нет ни национализма, ни шовинизма, которое может не нравиться или пугать (особенно после болезненных форм, в которые оно отливалось недавно), есть данность, нуждающаяся в наполнении реальным современным содержанием,

данность, географически коренящаяся хотя бы в том, что Россия, даже если в ней останутся лишь территории с преобладающим великорусским населением, все равно будет территориально крупнейшим государством в мире. И управляя им, исходя только из перспективы экономического процветания (которое трудноотделимо) или идеи сильной государственности ради сильной государственности, невозможно.

Быть может, тенденции к единству уже не реальны — ну что ж, тогда нет великого организма, а есть ряд государств, княжеств и ханств, непрестанно ссорящихся и мирящихся и вооруженных страшным оружием.

Все сказанное не означает, что я недооцениваю роль великих экономических преобразований, которые начинают ныне с таким трудом и с такой целеустремленностью парламент, правительство и президент Российской Федерации. Хотя я знаю, сколь трудным, тяжелым в моральном отношении и опасным физически будет в стране период восстановления частной собственности и «первичной капитализации», но через это придется пройти, в чем-то вернувшись к 1861 году, а в чем-то — к Петру и даже к Юрию. Что поделаешь — опять начинается история, история «как у людей», то есть у людей, продолжающих традиции европейской цивилизации.

Мы вновь «рубим окно в Европу», но ныне мы вступаем в «Европейское сообщество» после тотального поражения, которое потерпела Советская империя в борьбе с историей, с личностью и с Богом (если только борьба с Тем, Кто и что обозначается этим именем, не является составной частью Его самораскрытия в частном случае нашей реальности). Да и Европа уже другая. Ныне многие европейские нормы и институты охватили не только Северную Америку, но частично и Ближний Восток (Израиль, отчасти Турцию и Египет), и Индию, и Дальний Восток — особенно важна роль Японии, сумевшей сочетать своеобразие этнопсихологического склада и обычаев с европеизацией социально-политической и экономической жизни. Так что ныне мы окружены Европой в широком смысле со всех сторон, и двери (а не окна) надо рубить во всех направлениях, горько сознавая, что Япония и Южная Корея ныне во многом более Европа, чем мы.

Но тут-то и загвоздка. А относимся ли мы к Европейской цивилизации? И когда оторвались от нее, если оторвались? И что же мы делали с 1917 года? Да и что мы сделали — от Юрия? Или впрямь был прав П. Чаадаев, посмеявшийся сказать о «страшной пустоте» российской истории? Какую задачу выполняли мы, какую партию вели во «всечеловеческом оркестре»? И где ошибка — в 1917 году (в октябре или в марте?), или в 1881-м, или в 1700-м, — или изначально? И — ошибка ли? А может, мы все же выполнили необходимую миссию, выполнили страшно и странно, но кому-то же должна быть поручена в этом мире, живущем насилием, необходимая негативная роль для мирового баланса, освобождая другую часть мира для работы, условно, позитивной? «Не нам ли суждено изжить /Последние пути Европы./ Четырьмя собой предотвратить/ Ее погибельные тропы?» (М. А. Волошин, 1919 г.). И в происшедшем — что от «судьбы», от «законов истории» (или «от Бога») — а что на нашей ответственности перед Совестью (т. е. опять же перед Богом — но в нас)? И как соотносятся «Бог мирового закона», «Бог в истории» — и «Бог совести»? Может ли исполнение «закона истории» освободить от ответственности перед Совестью?

Вопрос об ответственности за совершившееся в России в XVIII — XX вв. — имперских властей, их палаческих органов, ряда партий, да и ряда обладавших высокоразвитым самосознанием сословий — уже поставлен. Но не ответственны ли мы все (все вместе и каждый в отдельности, и не только «советские» поколения) за осквернение живой души и тела природы на вверенном нам судьбой «пространстве», не ответственны ли мы за искажение и забвение бытия предков — и их земной истории, и их посмертной жизни в нас и вне нас, за нарушение существовавших ранее связей с инобытием, за разрушение наших духовных и этнических полей сознания?

Быть может, нам следует еще раз, но теперь — со всем смирением, попытаться охватить взглядом, насколько возможно, весь смысл «страшного величия» России в прошлом и приготовить себя к обретению духовных и материальных путей реализации Россией того, что Н. А. Бердяев называл «замыслом Божиим о России»...? Новое мирознание — всегда чудо, т. е. нечто сверхприродное и непредсказуемое,

к нему можно только готовить себя и молиться о нем, его нельзя искусственно придумывать или конструировать, оно явится неизвестно когда, явится как свет или огонь, или вырастет, как дерево.

Неким залогом вероятности грядущего обретения Россией новых духовных путей являются эсхатологизм (тяготение к самым глубинным, «последним» вопросам о сути бытия, к концу истории человечества и переходу в новое духовно-материальное измерение) и космизм (устремленность за пределы земли и известных законов природы) у русских мыслителей второй половины XIX — первой половины XX в. Эта устремленность России «за все пределы», выраженная в творчестве гениальных ее детей, до сих пор не воплощена в деяния, достойные их идей и прозрений, вернее, она реализована, но с другого конца: «конец истории» если и был достигнут, то не преобразованием личности и общества, а низвержением того и другого, а космизм реализован лишь технически, с игнорированием всей философии русского космизма. Не будет ли дано России в наступающую эпоху больших перемен реализовать свои эсхатологические и космические устремления на более высоких и тонких уровнях бытия?

«Имперское величие» Тюркского каганата в VI—VIII вв., Великого Монгольского ханства в XIII в., Российской империи и СССР в XVI—XX вв., как форм все более полной политической реализации природного единства нашего «пространства», ушло в безвозвратное прошлое.

Но с нами по-прежнему остались те природные связи, природные энергетические зоны, которые образовали предпосылки единства еще Древней Скифии, с нами и тот «высший замысел» о нашей земле, то смутно осознаваемое некоторыми из нас (быть может, ошибочно) великое глобальное предназначение, которое она, судя по всему, еще не исполнила в позитивной его части и на исполнение чего нам если и отпущен — то последний шанс.

Но правомерны вопросы: а что конкретно автор имеет в виду, когда говорит «Россия», и кто такие «россияне», к которым он обращается и к коим причисляет себя и, наконец, кто он сам?

Попробую ответить на эти вопросы, используя самого себя как того конкретного россиянина, который у меня всегда под рукой.

Пишущий эти строки, как значится в его дипломе, историк-археолог, автор примерно пятидесяти статей, разбросанных по не слишком заметным сборникам и периодическим изданиям, в коих на базе письменных источников, археологии, фольклора и топонимики исследуется история Скифии, Сарматии, славянства и Руси преимущественно в диапазоне XIII в. до н. э. — XI в. н. э. в аспектах географическом, этносоциальном и религиозно-мифологическом.

Чтение лекций я всегда воспринимал как продолжение древнего дела народных сказителей, и сказительство это весьма способствовало кристаллизации моих взглядов и сложению концепции.

Нынче, к печали моей, до предела заострились проблемы национальные, и национальным корням придется неоправданно всеобъемлющее значение. Впрочем, если речь не идет о самом глубинном и общечеловеческом, то национальные корни действительно могут дать ключ к пониманию многого. Посему — отрекомендуюсь и по этому пункту. Я, как принято говорить на советском сленге, — русский, а если точнее и исторически обоснованнее — этнически я великоросс (или великорус, что чуть менее точно), а на двух разных уровнях суперэтнического сознания я — русский и россиянин.

Все названные выше этнонимы, равно как этнонимы «малоросс», «русин», «белорус», образованы на базе двух родственных корней — «рос» и «русь». По наиболее вероятной и всемирно признанной гипотезе, выдвигавшейся еще Карамзиным, а всерьез обоснованной в 1844 году замечательным ученым Е. Куником и развитой рядом исследователей, названная «рос» и «русь» восходят к общему скандинавскому (северогерманскому) корню и стали в IX в. обозначением нового полиэтнического (в основе — скандинаво-славянского) военнопотребного этносоциума, сложившегося первоначально по берегам Волхова, Ильменя, Ловати, Великой. Центрами этого нового организма были поселение в низовьях Волхова, по-славянски именуемое Ладога, а по-скандинавски — Альдейгья, Альдейгьюборг (в основе обеих форм лежит финское название), и поселение у истоков Волхова, пра-Новгород, ныне именуемое «Юрьково городище». Позднее центр этносоциума сместился на юг, в Киев, сам этносоциум почти

полностью славянизировался, а его названия стали обозначением нового этноса, сложившегося в X—XII вв. на базе восточного славянства, с включением финского, балтского и тюркского населения, при стимулирующем участии сначала скандинавского этнокомпонента, а затем византийского влияния.

На Руси в XI—XV вв. было известно лишь самоназвание «русь», ставшее славянской формой этнонима, перешедшего к славянам от скандинавов через посредство финнов и образованного по той же модели, что и славянские названия балтских и финских этносов, окаймлявших восточно-славянские земли с северо-запада: корсь, жмудь, ливь, чудь, водь, емь, сумь, весь. (Финское самоназвание суоми дало славянскую форму сумь, веуси дало весь, точно так же финское название шведов — руотси /ротси закономерно дало русь.) Исконные же имена восточно-славянских племен образованы по другим моделям: типа «вятичи» и типа «поляне».

Этноним же «рос», по звучанию близкий исходному скандинавскому корню, употреблялся скандинавской частью нового этносоциума, и поскольку скандинавы, прирожденные мореходы, возглавляли мирные посольства и военные походы Руси на Константинополь, то именно в форме «рос» название нового этноса стало известно византийцам и закрепилось в их дипломатической и историко-географической терминологии (еще и благодаря ассоциации с неправильно переведенным ветхозаветным пророчеством о страшном северном народе «рос»).

Уже в середине X в. император Константин Багрянородный обозначал названием «Россия» местность вокруг Киева, а также некую область на севере Руси. И «второй Рим» бережно хранил в течение 500 лет это имя, которое после трагической гибели «Ромейской империи» в 1453 году вновь вернулось на Русь вместе с идеей единственной правоверной христианской империи, принявшей в Московии известную форму «Москва — третий Рим».

Но лишь Иван Грозный, вместе с официальным принятием титула «царя» (т. е. цесаря, императора), стал именовать свою державу «Великая Россия»; в «Чине Венчальном» царя Федора в 1584 году «Русь» и «Русия» были заменены на «Россия».

В связи с постоянной заботой московских царей Рюриковичей и митрополитов о возвращении древней столицы Киева и тяготеющей к нему области русские земли по среднему Днепру (с начала XVI в. начинающие достоверно именоваться «Украиной») получают в XVI в. в Москве, а также и у жителей самого Среднего Поднепровья именование «Малая Россия».

Отчетливое географическое, а отчасти и этнографическое значение эти названия приобретают с присоединением части Малороссии в 1654 году, когда в титуле царя Алексея появляется формула «самодержец Великия и Малыя России», с добавлением — в 1655 году, после занятия великоросско-малоросской ратью Вильны, — «и Белья России» (имеется в виду территория части нынешней Беларуси и восточной Литвы).

С ростом российского государства, с середины XVIII в. в официальных документах, а с XIX в. в научной литературе доминирует мнение, что в состав России как основные территории входят Россия Великая, Россия Малая и Россия Белая и что русские как народ состоят из трех народностей или меньших народов: великороссов (великорусов, севернорусов), малороссов (малорусов, малороссиян, южнорусов, украинцев, русинов, полещуков) и белорусов.

Что до самоназвания «украинцы», то, естественно, дело самих носителей того языка, что в XVIII—начале XX в. официально обычно назывался «малороссийским», выбирать, как называть себя. Напомню лишь, что «украинцами» (окраинами) на Руси XII—XIII вв. иногда назывались пограничные земли, в частности область на польско-русском пограничье, расположенная за Бугом, к западу от Владимира-Волынского и к северу от червонских городов. С XVI в. «Украиной» назывались юго-восточные, окраинные земли Польско-литовского государства, расположенные частично на территории Киевского и Черниговского и целиком — Переяславского княжеств XI—XIII вв., т. е. именно те земли, которые в XII — начале XIII в. и назывались в узком смысле «Русью», «Русской землей». Иногда в Украину включали и отдельную область «Запорожье», осволенную казацкой вольницей («казак», так же, как «казах», «кайсак», — тюркское слово, означающее «свободный человек»). К востоку от этой «польской», поднепровской Украины, в верховьях Сейма и Северского Донца располагалась «российская» Слободская Украина — с XVI в. южная окраина Московии, Вели-

кой России. На территории же нынешней Западной Украины — в Закарпатье, Карпатах, Буковине, Галиции, Южной Волыни и Западной Подолии — с домонгольских времен до начала XX в. в условиях онемечивания и ополячивания сохранялось древнерусское самоназвание «руси», «русины», «русские», наименование «русский» — для народа и языка и «русская» — для православной веры. Наконец, жители нынешнего Украинского Полесья преимущественно именовались полещуками. Все вместе — и украинцы, и русины, и полещуки — обычно и именовались в имперской официальной терминологии — малороссами. Как видим, корень «рус/рос» еще и в послепетровское время сохранял весь свой смысловой спектр и географическую продуктивность, что, в частности, выразилось в том, что степные земли, прилегающие к Черному и Азовскому морям и присоединенные Россией в конце XVIII в. в результате войны с Турцией, получили устойчивое название «Новороссия».

В целом система из трех родственных народностей или народов, имеющих один корень в Древней Руси и потому составляющих один народ или супернарод, была довольно стройна.

Несомненно, она могла раздражать украинцев, среди которых назревало стремление выразить себя самостоятельно и создать суверенное государство; напротив, многие русины (или русские), находившиеся под властью Австро-Венгрии (часть нынешних западноукраинцев), подчеркивали свое «русское» самоназвание и стремились воссоединиться с Россией.

Но вот грянул октябрь 1917 года, и началась непобедимая ложь во всем. Имена великороссов (-русов) и малороссов (-русов) были упразднены, видимо, из-за якобы заложенных в них оскорбительных для «интернационального» сознания шовинистических представлений о «великости» и «малости», после чего великороссам для обозначения себя было приказано использовать «украденное» у двух братских народов общее с ними имя — «русские» (чем упразднилось общее исторически обоснованное самоназвание трех народов, а вслед за этим — и общее самосознание, плоды чего мы ныне обильно пожинаем). Как сказано в Советском энциклопедическом словаре, «великороссы (великорусы) — то же, что русские», а «русские — социалистическая нация».

Великороссы утратили имя, грамматически выраженное существительным (утратив с этим нечто существенное в самосознании). Получили же имя, выраженное прилагательным, которое ранее лишь прилагалось к основному, как указатель на общие древние корни. Теперь под этим «прилагательным» именем прежние великороссы были «приложены» к жуткой внутренней и внешней политике большевистской империи, стали отчасти использоваться как орудие и связующий материал в руках у пылочной системы, перемалывавшей в единую «массу» сословия и народы, в том числе и все три русских этноса.

Одновременно с этим малороссы окончательно предпочли название «украинцы», тем более что в составе Советской Украины собственно Украина занимала большое и центральное место. С присоединением так называемой «Западной Украины» это же имя было распространено на русских и русинов этой области. В итоге всякое воспоминание о русско-русских корнях в самоназвании было здесь искоренено.

Подобные казусы возможны только в России. Древние греки без всякого ущемления для национального самосознания именовали колонизированную ими Италию «Великой Элладой», а собственно Грецию — просто Элладой, шведы в XII—XIII вв. (и ранее) именовали «Великой Швецией» Восточную Европу, освоенную скандинавскими земледельцами в эпоху викингов, а собственно Швецию — «Малой Швецией», в Польше до сих пор существует Малополяша (с центром в древней столице Кракове) и Великополяша. Только большое советско-российское самосознание могло из всей гаммы смысловых оттенков в самоназваниях акцентировать именно имперско-шовинистический и посему — упразднить сами названия. Положим, имперско-шовинистический оттенок присутствовал при употреблении этих терминов в некоторых официальных и национально-культурных кругах империи, однако — в эпоху провозглашенного «братства народов» — почему было не обратить внимания на другие, основные оттенки, на всю смысловую гамму? И тогда оказалось бы, что прилагательное «великий» в именовании части русских означает не более, чем в названии «Новгород Великий» — просто большие размеры территории и расселения, ведущую роль в воссоздании единого государства и государственного самосознания и — отско-

да — большую, «великую» меру ответственности за все, содеянное в России.

Итак, — завершая необходимый экскурс, — я (да и многие из моих читателей) — великоросс, русский и россиянин.

Великоросс — поскольку таково исторически сложившееся название этноса, к коему принадлежу, русский — поскольку постоянно ощущаю общие корни с белорусами и украинцами и твердо знаю, что это единство не исчерпало себя, россиянин — потому что принадлежу к этнопсихологическому полю того огромного, изменяющегося в границах, но неизменного в опорных точках единства, для обозначения коего не знаю более точного и общепринятого имени, чем Россия.

* * *

И здесь я подхожу к самому трудному — к определению того, чем же, по сути, является Россия и каковы границы ее — в настоящем. В тот момент, когда я пишу эти строки, Россия географическая для меня — это нечто несколько меньше Госсюйской империи и большее, чем Российская Федерация (хотя и не все территории последней бесспорно относятся к России). Но, возможно, завтра я удостоверюсь, что границы ее — иные. Потому что, при всем огромном значении для скифо-русской истории географического фактора, — Россия, в основе своей, понятие не жестко географическое, а энергетическое, меняющее свои границы с течением истории в соответствии с эволюцией самосознания, с тяготением к единству — или отталкиванием — больших масс населения. И границы политические, административные не всегда совпадают с этой реальной Россией в тот или другой период.

Ныне в России преобладает тяга к национально-религиозно-территориальному обособлению; но после того как потребности в обособлении и самовыражении этносов и регионов будут удовлетворены, полагаю, наступит период нового взаимодействия, будем надеяться — не на имперской и отнюдь не только на экономической основе.

Отчетливое осознание географического единства России и роли его в истории страны — с одной стороны, и постепенно вызревавшее в XIX—XX вв. чувство высокой и страшной духовной предназначенности ее — с другой, было дано выразить с наибольшей силой и заостренностью личностям пророческого типа.

В конце первой трети XIX в. П. Я. Чаадаев писал: «Есть один факт, который властно господствует над нашим историческим движением, который красной нитью проходит через всю нашу историю, который содержит в себе, так сказать, всю ее философию, который проявляется во все эпохи нашей общественной жизни и определяет их характер, который является в одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия, и истинной причиной нашего умственного бессилия: это — факт географический». «Вся наша история — продукт природы того необъятного края, который достался нам в удел. Это она рассеяла нас во всех направлениях и разбросала в пространстве <...>, она внушила слепую покорность силе вещей, всякой власти, провозглашавшей себя нашей же владыкой, <...> словом, мы лишь геологический продукт обширных пространств <...>. Мы важнейший фактор в политике и последний из факторов жизни духовной. Однако эта физиология страны, несомненно столь невыгодная в настоящем, в будущем может представить большие преимущества...». «Настоящая история этого народа начнется лишь с того дня, когда он проникнется идеей, которая ему доверена и которую он призван осуществить, и когда начнет выполнять ее...»

Эта «идея», «русская идея», по слову Бердяева, пытавшегося проследить ее развитие, тем не менее оставалась трудно уловимой и трудно формулируемой. И через сто лет после Чаадаева, в 1932 году, в эмиграции, великий мастер словесной формулы Марина Цветаева, да еще привлекая на помощь величайшего религиозного поэта Европы — Р.-М. Рильке, сумела обозначить высший уровень духовного поля России с емкой и грозной неопределенностью:

«В России меня лучше поймут. Но на том свете меня еще лучше поймут, чем в России. Совсем поймут. Меня самое научат меня совсем понимать. Россия только предел земной понимаемости, за пределом земной понимаемости России — беспредельная понимаемость не-земли. «Есть такая страна — Бог, Россия граничит с ней», так сказал Рильке, сам тосковавший везде вне России, по России, всю жизнь. С этой страной Бог — Россия по сей день граничит. Природная граница, которой не сместят политики, ибо назначена не церквями. Не только сейчас, после всего свершив-

шегося, Россия для всего, что не-Россия, всегда была тем светом, с белыми медведями или большевиками, все равно — тем. Некою угрозой спасения — душ — через гибель тел.

<...> Россия никогда не была страной земной карты. <...>

На эту Россию ставка поэтов. На Россию — всю, на Россию — всегда».

Два крайних уровня, означенные Чаадаевым и Цветаевой, — уровень природно-географический и уровень смутно улавливаемой духовной миссии — и определяют всю сущность России. В поле напряжения, возникающем между этими уровнями, этими полюсами, и развивались уровни государственных, этнические, конфессиональные, экономические.

И ныне все, кто остается жить на территории Скифии-России и кто сознательно или бессознательно включен в скифо-русские энергетические поля, — и являются россиянами (или «скифами»). Великая роль неславянского, в первую очередь тюркского, компонента в «русском единстве» ощущалась великороссами уже с начала XX века («Очи татарские мечут огни» на написанном Александром Блоком лике России, а путь ее видится Блоку так: «Наш путь / стрелой татарской древней воли / пронзил нам грудь» — строки, достойные комментария в виде книги). Ныне же выразителями скифо-русского сознания являются, к примеру, киргиз Чингиз Айтматов, белорус Василь Быков, абхазец Фазиль Искандер, казах Олжас Сулейменов (в книге «АЗиЯ»), не переставая, естественно, быть классиками своих национальных литератур. Думается, что воля единого и обновляемого скифо-русского пространства, где устраняется подавлявший все имперский уровень, но зато высвобождаются другие уровни единения, звучит в голосе тройки президентов — Акаева, Ельцина, Назарбаева. Славяно-тюркские диалог и взаимодействие на территории Скифии-России есть реальность, и надо стремиться к тому, чтобы они проходили по доброду.

Различия же в этнопсихологическом складе и в религиозных традициях могут быть смягчены и оказаться не разделяющими, а взаимообогащающими в силу того, что наша эпоха — это эпоха великого исторического пограничья, когда, наряду с современными религиями и науками, постепенно выявляется как возможность новый уровень синкретичного Знания, основанного на всем спектре возможностей человеческой души, включая ее интуитивный и эмоциональный пласты, ее подсознание и сверхсознание, ее связи с живой природой земли и с Космическим Сознанием.

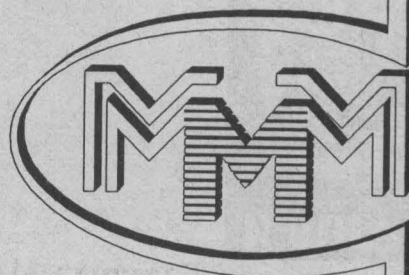
Лето — осень 1991 года.
С.-Петербург

Редакция журнала «Юность» с чувством глубокого удовлетворения извещает своих читателей о том, что издательство «Художественная литература» приступило к выпуску избранных сочинений в двух томах нашего постоянного автора — писателя

ЮРИЯ ПОЛЯКОВА

В двухтомник вошли его повести «ЧП районного масштаба», «Сто дней до приказа», «Работа над ошибками», «Апофегей», «Парижская любовь Кости Гуманкова», рассказы, эссе, статьи, а также избранные стихотворения. Тексты даются в новой редакции, с восстановлением цензурных изъятий. Заказы следует направлять по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, 28, издательство «Художественная литература». Телефоны: (812) 219-90-14, 219-90-15. Воробьевой Наталье Леонидовне.

Товары от «МММ» - лучшее приобретение за рубли!



ЛУЧШЕЕ - по качеству товаров

ЛУЧШЕЕ - по условиям покупки

ЛУЧШЕЕ - по ценам, которые ниже, чем у конкурентов

ЛУЧШЕЕ - потому, что вещи сегодня - надежнее рубля



ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «МММ» - ЭТО:

- Компьютеры и оргтехника,
 - одежда и обувь,
 - теле- и радиоаппаратура,
 - электробытовая техника -
- производства ведущих фирм мира.

Организациям и частным лицам при покупке товаров создаются оптимальные условия: расчет в рублях, без предоплаты, поставки в любом количестве с приложением инструкции на русском языке.



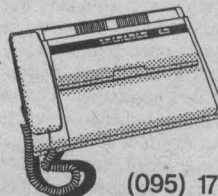
**Купивший однажды,
покупает в «МММ» всегда!**

171 06 90
171 03 97
171 13 81
173 44 15

Адрес торгового центра «МММ»: 109518 Москва, ул. Газгольдерная, 10



Объединение «МММ» приобретает на долгосрочной основе круглый лес хвойных пород (ель, сосна) партиями не менее 3000 куб.метров.



(095) 171 02 52



Вольный урок

Владимир МИКУШЕВИЧ

МИСТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

2. Игра вничью

Происхождение денег таинственно, как их двояственная функция. Изначально деньги служили пропуском на тот свет, но, очевидно, для рая и для ада этот пропуск одинаков. Древнейшие упоминания о деньгах связаны с азартной игрой. В древнеиндийских «Ведах» выводится игрок, жадно ищущий денег, чтобы с маниакальной настойчивостью их проигрывать. Мотив этого гимна далеко не столь курьезен и прозаичен, как может показаться на первый взгляд. Ставкой в азартной игре всегда является собственная жизнь, причем не только жизнь здешняя, но и вечная.

Азартной игре подспудно уподоблялась даже вера в Бога, причем к такой точке зрения склонялись Аристарх, Паскаль и Флоренский. Паскаль даже отваживался писать о «пари на Бога», и такое пари, несомненно, присуще вере, если вера не сводится к рассудочным построениям, а затрагивает человеческую жизнь, без чего, собственно, нет веры. В самом деле, если человек делает ставку на то, что Бог есть, он выигрывает все, если Бог есть, и не проигрывает ничего, если Бога нет. Напротив, если человек делает ставку на то, что Бога нет, он ничего не выигрывает, если Бога нет, и проигрывает все, если Бог есть. Во все времена пари на Бога заставляло человека рискнуть всем своим существом и всем земным достоянием, так что в такую игру вовлекались и деньги. П. А. Флоренский рассказывает о лавочнике, повешавшем у себя множество лампад, икон и всякой святыни: «Когда же какой-то «интеллигент» стал по поводу этого высказывать свой скептицизм, то лавочник выразился так: «Э, барин! Мне все это пятьдесят рублей стоит в год, — прямо ничто для меня. А ну, как пойдет в дело!» Флоренский не отрицает некоторого цинизма, присущего такому пари, однако признает: «И тем не менее смысл этого пари, всегда себе равный — несомненен: стоит верное ничто обменять на неверную бесконечность, тем более, что в последней меняющий может снова получить свое ничто, но уже как нечто» (П. А. Флоренский, «Столп и Утверждение Истины», т.1, М., 1990, с.66). Такое пари лежит в основе американского прагматизма, хотя, по словам Флоренского, «в видоизмененной и удешевленной редакции», однако философия русского лавочника и американского бизнесмена остается более перспективной в современной жизни, чем скептицизм близорукого интеллигента. При этом лавочник наверняка и нищим подавал, а, по слову св. Иоанна Кронштадтского, если нищие преследуют вас, значит, вас преследует милость Божья, давая вам возможность спасти свою душу подаванием. Кстати, во Франкфурте рассказывали, будто Бог наградил дом Ротшильдов богатством за то, что старик Ротшильд ни одного нищего не оставлял без подавания. Если на улице встречалось много нищих с довольным видом, уверяли, будто по улице только что проходил старый Ротшильд. В народном сознании всех времен деньги предназначались для того, чтобы подавать их нищим и тем самым обеспечивать себе доступ в лучший мир. Над подобными воззрениями можно сколько угодно иронизировать, но нельзя отрицать: уровень общественной нравственности от них повышался, а резко понизился, когда преступниками объявляли и просящего, и подающего милостыню, сопровождая обвинение грубым окриком: «Работать надо!» Теперь мы видим плоды такого безблагодатного, принудительного

труда на пустых полках и прилавках магазинов и вспоминаем, как медведь в басне Крылова дуги гнул. Уместна в этой связи и русская пословица: «Торговали — веселились, подсчитали — прослезались». История подтверждает, что Бог воздаст за милостыню сторицей. Неудивительно поэтому, что жест подающего милостыню слишком часто напоминал жест игрока, делающего ставку в азартной игре. Ставка далеко не всегда была копеечной: Третьяковка и Художественный театр принадлежат культуре, державшей пари на Бога.

Однако все знают: и державшие пари на Бога обвешивали, обмеривали, обсчитывали. Очень часто грошовая или даже щедрая милостыня превращалась в оправдание несправедливых деяний. Вместо предприимчивых Демидовых и Строгановых, вместо Костанжогло, на худой конец, Гоголь увековечил самозабвенных накопителей Чичикова и Плюшкина. Чичиков скупает несуществующее в надежде выгодно перепродать его, а Плюшкин копит свои пропуска в рай, не замечая, что, превысив определенное количество, они ведут уже не в рай, а в ад. В Дантовом аду скупцы и расточители терпят муку в одном и том же круге, как будто они совершили один и тот же грех. И те, и другие злоупотребили деньгами, искали их природу, нарушили правила азартной игры и проиграли.

Деньги, сосредоточенные в одних руках, не просто обесцениваются, они перестают быть деньгами, утратив некое важнейшее свое свойство. Ростовщичеством деньги выводятся из игры, а вне игры они не существуют. Ростовщичество — первобытный зародыш монополизма, монополизм же ориентирован именно на порабощение. Он порабощает не только людей, но и деньги, а деньги в отличие от людей не переносят порабощения. К великому кризису тридцатых годов Америки привели монополии, своеобразные преемницы отмененного рабства. Своим процветанием во второй половине двадцатого века свободный мир обязан антимонопольному законодательству. Монополии — пожирательницы денег; деньги становятся пастой современного государства по мере того, как оно перестает быть инструментом войны. Чтобы спасти деньги, надо их пасти, а это невозможно, если не считаться с причудливой их натурой, проявляющейся хотя бы в том, что за морем телушка полушка, да рубль перевоз. Итак, деньги порабощают, но рабства не терпят. Рабство вообще едва ли совместимо со сколько-нибудь развитыми финансами. В древнем Вавилоне и в Риме встречались рабы, которые были богаче своих хозяев. В принципе хозяин мог отнять у такого раба все, что тот нажил, однако богатый раб его больше устраивал, да и некий обычай, судя по всему, мешал ограбить собственного раба. Хозяин, с одной стороны, не позволял рабу выкупаться на свободу, с другой стороны, предоставлял ему достаточно свободы для обогащения. Так деньги начали ассоциироваться с рабством и со свободой. Достоевский пишет, какое значение приобретали деньги на каторге: «Деньги есть чеканенная свобода, а потому для человека, совершенно лишенного свободы, они дороже десятицентовика». То же самое происходило и в ГУЛАГе, о чем свидетельствует незабываемая сцена, когда Иван Денисович покупает себе табак, и дело не столько в табаке, сколько в возможности выбрать себе табак и заплатить за него совсем как на свободе. «Наш век — торгаш; в сей век железный Без денег и свободы нет», — говорит книгопродавец у Пушкина. Спрашивается, однако, бывает ли свобода при деньгах и не лучше ли свобода от денег?

На все вопросы можно найти ответ в Священном Писании, правда, эти ответы слишком исчерпывающие для ограниченного человеческого сознания. Христу задают провокационный вопрос, не призывает ли Он к отказу от уплаты налогов. Христос указывает на монету и спрашивает, чей на ней образ воздаст кесарево кесарю, а Божие Богу. В словах Спасителя анализ и программа общественного строя на все времена. Именно в этом пункте общественный строй чаще всего извращается. Авторитарные режимы устанавливаются тогда, когда Богу начинают воздавать кесарево, учреждая государственную религию или идеологию. Но Бог не кесарь, ибо кесарь не Бог. Режим становится тоталитарным, когда он требует воздавать кесарю Божье. Именно с этим не могли согласиться первые христиане, погибавшие на аренах римских цирков, лишь бы не воздавать кесарю божеских почестей. Именно этим объясняются невиданно жестокие гонения на христианскую веру, происходившие в гитлеровском и в сталинском рейхе. Обе эти чудовищные административные машины были основаны на обожествлении кесаря, то бишь фюрера или вождя. Нельзя не отметить: совершая преступления против человечности, оба эти режима разруши-

ли систему денежного обращения в своих странах, причем победитель пострадал от этого едва ли не больше, чем побежденный. Иными словами, тоталитарным режимам свойственна вражда к деньгам.

Обозначив отношение кесарева и Божьего в общественной жизни, Христос дал при этом совершеннейшее определение денег. Деньги становятся деньгами в силу образа и написания. Ценность кусочку презренного металла или даже простому клочку бумаги придает чекан или штамп, очевидно, несущий некую важнейшую информацию или весть. Фальшивомонетчиков карали во все времена. Официальная идеология всегда объясняла это тем, что фальшивомонетчик посягает на кесарево, на прерогативу земной власти. Народное сознание усматривало в действиях фальшивомонетчика другое, пожалуй, более страшное преступление. Фальшивомонетчик не то чтобы подделывает неподдельное, он извращает нечто настоящее, теряющее от подделки смысл. На Руси это называлось ковать мягкую денежку. Мы унаследовали это выражение в понятии «мягкие деньги». Русский язык предполагает, что настоящие деньги и настоящие деньги твердые. А фальшивые ассигнации назывались картинками, в чем тоже проявилась глубинная особенность русского культурного сознания. Фальшивая ассигнация относится к настоящей, как «картинка» к образу, как вымышленный «рбман» к истинному житию. Известно, с каким трудом приживалась на Руси мирская «картинка» в отличие от иконы или парсуны. Какой ущерб мягкие денежки и картинки могут нанести отечественному хозяйству, явствует из истории. Примерно во втором десятилетии прошлого века в городах Поволжья исчезли медные деньги. Народное предание связывает это с нашествием французов. В кабаках и в лавках расплачивались клочками восточных тканей, бязью и парчой. Оказалось, что на рынке медь стоит дороже медных денег. Предприимчивые купцы продавали медные деньги пудами на переплавку персидским перекупщикам, базирующимся на Каспийском море. В происходящем сказался общий кризис русской финансовой системы, из которого в конце концов был найден удачный выход. Некоторое время в России имели хождение два вида денег: ассигнации и серебряные рубли, причем серебряный рубль стоил примерно в четыре раза дороже рубля ассигнациями. Из такого соревнования победителем вышел полновесный русский рубль, самая твердая и надежная валюта, признанная в начале двадцатого века всем миром.

Этот русский опыт упоминался в дискуссиях последнего времени, но, как мне представляется, он должным образом не осмыслен и не принят к сведению. Между тем наша современность могла бы извлечь из него уроки, хотя никакой опыт не подлежит автоматическому копированию. Нынешнее выражение «деревянные рубли» семантически явно восходит к мягким денежкам предков, а денежные купюры со своим проблематичным достоинством все больше напоминают прежние картинки. Нынешняя инфляция коренится в нашем недавнем тоталитарном прошлом, когда функция денег была принципиально извращена. Деньги перестали свободно циркулировать. Они выдавались каждому по труду, а в основу денежного довольствия были положены человеческие потребности, причем как некий максимум, а не как минимум. Отсюда проистекли по меньшей мере два следствия. Во-первых, ограничивался переход денег из рук в руки. Деньги становились как бы персональными. Они предназначались именно данному лицу или штатной (номенклатурной) единице (отсюда потолок в зарплате, и отсюда же пресловутые денежные конверты). Таким образом, деньги уподоблялись купонам или карточкам (родство между карточками и картинками бросается в глаза). Недалеко ушли бы от купонов и произвольные валюты бывших советских республик. Это происходит оттого, что, во-вторых, потребности не требуют собственно денег для своего удовлетворения. Гораздо проще удовлетворять их натурой, то есть пайкой или пайком. Таково происхождение привилегий в нашем обществе, и отсюда их удивительная живучесть. Привилегии укореняются в обществе, где все равны, но некоторые равнее других, так что потребности некоторых удовлетворяются в большей или в неограниченной степени под предлогом того, что труд их выше ценится. Известно, насколько произвольны такие оценки труда и потребностей, перестающих при этом быть потребностями и превращающихся в прихоти, нередко преступные. Но главная беда даже не в этих развращающих злоупотреблениях. Беда в том, что деньги больше не играют своей регулирующей роли. Они рассчитаны на то, чтобы как можно скорее вернуться в свой сверхмонополистический источник, в казну, как простые документы, по которым

выдаются те или иные строго определенные блага. Ограниченное хождение денег на колхозном рынке также основывается на том, что труд обменивается на труд, а так как такой обмен всегда неадекватен, деньги обесцениваются спекуляцией. Вообще говоря, они никогда и не имели цены вне административно-командной системы и обесцениваются вместе с ней. Гораздо проще обменивать предмет на предмет, и поэтому на смену «деревянному рублю» приходит примитивный натуральный обмен, или бартер, делающий невозможным современное процветающее хозяйство. По существу, наши деньги — это антиденги, в которых немисливо исчислить стоимость товара или тем более недвижимости, так что цена произвольно назначается, а цена и произвол — две вещи несовместные. Антиденги заранее не допускают рынка или приватизации, и никакое насыщение товарами не превратит их в настоящие деньги. Спасение, по-моему, в том, чтобы как можно скорее ввести наряду с прежними советскими деньгами новый российский рубль. Это не должна быть девальвация или денежная реформа, несправедливая по отношению к простому труженику. Прежние советские дензнаки не упраздняются, они по-прежнему используются на рынке, при расчетах и выплатах, но они свободно обменивались бы на новый российский рубль в определенной пропорции, а российский рубль начал бы обмениваться на западные валюты по курсу сначала низкому, но начинающему быстро возрастать, так как западный бизнес тоже заинтересован в таком рубле, обеспеченном богатыми ресурсами России и обеспечивающем ее будущее.

Так раскрывается смысл эмблемы на бумажных деньгах, смысл чекана или штампа на монете. Все это гораздо ценнее материала, из которого сделана монета, даже если монета из чистого золота. Ценность денег в их конвертируемости, в том, что они действительны в любом уголке мира. Выдающиеся современные экономисты Роберт Хайлбронер и Лестер Тароу утверждают: «Деньги выполняют свою необходимую функцию до тех пор, пока мы в них верим». Нельзя верить насильно. Вот почему деньги — чеканенная свобода, по слову Достоевского, необходимый атрибут свободного мира, его кровеносная система. Играют на деньги, но играют и деньгами, деньги играют, а игра свободна, пока соблюдаются правила, без которых нет игры. Архаическое денежное обращение напоминало карточную игру, столь животрепещущую у Гофмана и у Пушкина. Со временем игра усложнилась. Известна легенда об изобретателе шахмат, которому фараон предложил любую награду, а тот попросил покрыть шахматную доску зерном, так чтобы на первую клетку положили одно зерно, на вторую два, на третью четыре и т. д. Вскоре выяснилось, что для этого не хватит всего зерна в Египте. В средние века норманны применили принцип шахматной доски для того, чтобы считать монеты. Министр финансов до сих пор титулуется в Англии канцлер-эксчекар, что происходит от шахмат (chess). Современное денежное обращение уподобляется гигантской партии в шахматы. Представьте себе, что вам заранее предпишут, как и куда ходить. Игра немедленно потеряет смысл. Отсюда несостоятельность административного планирования. А что будет, если в разгаре шахматной партии вам заменят, скажем, слона тремя пешками, коня — двумя слонами, а ферзя — двумя ладьями и сломом? Игра точно так же станет невозможной. Нечто подобное произошло с нашими финансами зимой 1991 года, когда были произвольно изъяты пятидесяти- и сторублевые купюры. В архиве Л. Д. Троцкого сохранилась такая запись: «Есть хорошие шахматисты, которые настолько любят и ценят процесс игры, что сами исправляют ошибки противника. Ленин не из этого числа: его интересует не столько игра, как выигрыш». Ленинский культ выигрыша вульгаризирует игру даже выдающихся шахматистов, играющих на уничтожение противника, чем страдают и Анатолий Карпов, и Гарри Каспаров. Между тем настоящий любитель шахмат знает: нет ничего упоительнее партии, сыгранной вничью. Миллиардер затевает новую финансовую комбинацию не для того, чтобы нажить лишний миллион, а для того, чтобы творчески насладиться процессом игры, когда выигрыш в том, чтобы противник тоже не проиграл. На такой игре, вничью, основывается наилучшее свободное мироустройство. Шахматные фигуры должны двигаться; маневрировать, а не стоять на месте в позорной безопасности. Накопительство — враг предпринимательства. Когда в сказке Новалиса устанавливается царство Христа и Софии, Персей преподносит королю и королеве шахматы, в чьих клетках и фигурах отныне навеки заключена война. Деньги — неутомимые вестники вечного мира. Таково будущее человечества, если у человечества есть будущее.



Урок философии

Владимир БИБИХИН

ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ

Сложность нашего положения требует простоты взгляда. Мы, похоже, пережитрили сами себя разоблачениями, обличениями, анализами. Философия закрыта от нас условиями, которые мы ей поставили. Надо вернуться к ее непредвзятому чтению. То многое, что в ней сделано, мы даже не успели хотя бы бегло осмотреть. Она — богатство, которое, чем ближе мы в него вглядываемся, тем оказывается неожиданнее.

У профессионалов есть методы обращения с «философской литературой». Но метод включит все в мою систему. В ней другие — уже мои, они согласны со мной и подтверждают мою правоту или, наоборот, спорят со мной, что мне тоже кстати. Читать, извлекая, что нам надо, мы всегда читали. Оставить другого другим — такому чтению можно ли научиться?

Верно, конечно, что философская вещь не боится перетолкований. Она отличается этим от природной, которую грубое обращение губит. Философию грубое обращение с ней не губит. Слово не становится в меньшей мере событием, когда его не поняли. Философия — не интеллектуальное занятие; никто еще до сих пор как следует не знает, что она такое. Во всяком случае, она большое дело. Мы не должны бояться, что разорим его. От наших манипуляций с философией она не очень зависит. Когда мы ее растапываем, мы портим ее, так сказать, только для себя. Само по себе слово не боится искажений. Фантастическое истолкование иногда идет в дело даже лучше, чем научное.

Научное истолкование возвращает от события к тексту, не может выйти за его рамки. Нужно спросить, однако, сводится ли событие слова к тексту. На первый взгляд сводится: автор ведь только то, казалось бы, и делает, что протягивает нам свою рукопись. Ничего другого он не предъявляет. Но разве событие заключается в том, что — о радость! — было только n книг, а стало $n+1$? Новая философская вещь — долгожданное слово о том, о чем прежних слов не хватило. Она была подготовлена ожиданием нового слова. В этом ожидании событие заранее уже имело место.

Лексика и грамматика сами по себе настолько не событие, что их в захваченности делом даже и не замечают, читая сквозь них так, как автор часто и угадать не мог. Текст и событие оказываются чуть не противоположностями. Текст хотя и исследовать, анализировать, компьютеризировать, измерять его лексику, стилистику, «поэтику» тогда, когда не готовы видеть события, его размаха.

Когда появились первые книги Ницше, их вовсе не приветствовали как прибавление к библиотеке философии. Еще один умный, образованный, многознающий немец написал еще одну странную книгу? Книг уже было миллион, миллион первая заслуживает миллионной доли нашего внимания. За Ницше пошли, когда догадались: он — о том, чем все захвачены; когда распознали в нем событие. Напрасно Владимир Соловьев еще пытался уверить русского читателя, что Ницше не больше чем филолог, составитель текстов. Было уже поздно. «Меня наконец нашли», сказал Ницше, когда увидел, что люди начинают понимать; «теперь будет трудно меня потерять». Очень быстро разрослась тогда целая ницшеанская литература, и надо еще посмотреть, сколько отраженно-

го ницшеанства, через Мережковского и Минского до Леонида Андреева и Максима Горького, через них до Николая Бухарина, через Николая Бухарина до массы идейных большевиков, — сколько многократно разбавленного и смешанного ницшеанского заряда было в их волевой распорядительности. Распорядившейся, среди многого прочего, Ницше из библиотек убирать. Увлечение ницшеанством вело к запрещению Ницше — в этом нет ничего странного. Что у Ницше было интеллектуальной провокацией — нигилизм, воля к власти, — то стало знаменем революционного активизма; а что для Ницше было святыней — поэзия, — то ницшеанца Бухарина раздражает, дразнит, и он в крестовом походе железной воли топчет попутно Есенина; железная воля всегда будет что-то топтать.

Так же в метафизике революции был перевернут старый идеализм. У Платона идея ярче всего мира, она затмевает своим блеском все земное — и нас тоже. В революционном идеализме идея ярче целого мира, она затмевает, отменяет весь мир, но революционному преобразователю дарит прозорливость; все собою затмевает, но овладевшего ею не смущает, наоборот, становится его единственной опорой. Он поэтому поднимается над всем миром, видит в свете своей идеи несовершенство мира и планирует, конструирует, перестраивает. Потому что мир в свете яркой идеи померк, тем более всегда был незряч, идейный же организатор не только вооружен, но и видит себя единственным оставшимся, кто еще способен направить мир. У Платона при встрече с идеей человек не становится вооружен, наоборот, разоружается. Он слепнет, причем дважды: сначала от блеска идеи теряет способность видеть вообще что бы то ни было; потом, постепенно привыкая к блеску идеи, начинает видеть новые, высокие вещи, не все и не сразу, для теней же подполья, которые составляли до сих пор его мир, слепнет уже так бесповоротно, что не только распорядиться, но даже и просто хоть как-то ориентироваться в них уже не может, к возмущению прежних товарищей.

Перевертывания не отменяют события. Платонизм продолжается, он воздух, которым мы дышим, когда начинаем снова изменять идеологию или перестраивать культуру; когда решаем, что культуры у нас нет, и, кажется нам, ясно видим, как надо делать, чтобы она была. Главное, чем происходит в современности, — распространение техники, *постава* (Хайдеггер), — это продолжение царства перевернутой платонической идеи. Постава — это подчиняющая себе все вещи и всех людей невозможность быть «просто так». Такого вещей мало, чтобы их приняли; надо, чтобы они были тем или другим способом поставлены, введены в систему представления и предоставления. Не видно, чему в конечном счете техническая цивилизация предоставит все то, что она ставит. Человек, ради которого как будто бы все, на самом деле тоже должен прежде всего себя поставить так, чтобы успевать больше, полнее, без остатка и себя и вещи через себя предоставлять — кому? Телевидение все скорее, совершеннее, полнее предоставляет мир для обозрения — кому? Самому же миру и его человечеству? Или будущему, для которого сохраняются пленки? Слово есть абсолютный бесконечно способный впитывать взор, перед которым все должно быть выставлено. Система должна в конечном счете охватить и выдать обратно установленным все. Так мы и сейчас живем между платоническими двумя мирами, один кое-какой и должен быть перестроен, другой вот-вот реализуется. На здешний приевшийся мир мы смотрим с усталой досадой.

Ничего устроительного, установительного, организующего в идее Платона нет. Тем не менее наш платонизм — протяжение события Платона. Его идею мы прочитали не так, как у него написано. Мы Платона, собственно, по-настоящему вовсе не читали. Это не помешало, чтобы идея явилась помочь нам в нашей деятельности, указать путь нашему распорядительному планированию.

Даже не прочитанная, вернее сказать, именно не прочитанная философия нас каким-то образом вооружает. Как ей это удастся? Всегда одним безотказным способом: она якобы разрешает нам думать про этот наш мир, что он не всерьез, не совсем всерьез; что надо еще посмотреть, такой ли он, каким должен быть. Посмотрите: Платон говорит, что этот мир не настоящий, а есть другой, настоящий! Или: вы посмотрите только, что говорит этот Ницше, будто бы сущность вещей — воля к власти! Нет, сущность вещей явно в другом, и т. д.

Событие приходит, не уходит ли оно? Не похоже, чтобы события имели конец; они не из таких вещей, у которых есть

отмеренный срок жизни. Мы не видим, чтобы Платон, как его истолкования, устаревал. Событие продолжается и нарастает. Бесполезно ходить с текстами Платона в руках и доказывать, что они поняты неверно. Слово не информация, чтобы легко было проверить, как с ним на самом деле обстоит дело. И все же: нет ли чего-то жутковатого в том, что мы на каждом шагу пользуемся платоновским добром, думаем, что от него у нас наши ориентиры, но читать его, читать до всей возможной ясности не пробовали?

Платоновское добро вкраплено в нашу жизнь, составляет ориентиры, которыми размечен наш путь. Мы говорим, например: платоническая любовь. Мы думаем, что это хорошо и надо бы нам иметь такую любовь или, наоборот, что она не для нас. В обоих случаях мы как-то относимся к платонической любви, она входит в наши ориентиры. Тянуться к ним или отталкиваться от них — это уж мы как-нибудь сами за себя решим. Но что такое платоническая любовь — нам кажется, мы, во всяком случае, знаем. Если впервые такое слово слышим, посмотрим в толковом словаре; там будет объяснено кратко, но почему-то так, что тоже сразу ясно. Еще: запредельное. Откуда-то мы знаем, что это такое. Опять же: идея. Знаем. Платон? А, Платон! Знаем.

Мы наполнены знанием. Откуда в нас столько знания? Мы, собственно, шагу не ступим без знания, которое само собой разумеется. Если я вдруг спрошу: а что такое идея? — на меня только с удивлением оглянутся на бегу. Я не проходил, значит, в университете Платона, а то бы знал, как знают все. В хорошем случае мне со снисходительной любезностью скажут: загляните-ка в энциклопедию. Там я прочту: идея — понятие о вещи. Но у Платона идея не понятие о вещи! Идея — вещь, притом первая вещь, и совсем не такая, которую можно было бы понять нашими понятиями. Стало быть, не от Платона все хорошо знают, что такое идея? Мы знаем вещи, массу вещей, неведомо откуда; ну просто черт знает откуда знаем вещи, миллион вещей. Все это наше знание — не наше. Бог знает, чье оно. Бог знает, нужно ли оно нам. Но можно сказать с уверенностью: Платон нам не нужен для того, чтобы еще лучше знать, что такое идея.

Платон нам важен как человек, который раньше нас сделал — за нас, опережая нас, предупреждая нас — эту работу: заметил загадочный характер нашего неведомо откуда берущегося знания. Ах, по-настоящему загадочный. Мы пока еще вовсе не читаем Платона, когда вычитываем из него новое знание вдобавок к тому, которого у нас уже много, и ждем, что после всех витиеватостей он подведет нас, искусный педагог, к разгадке, и мы еще что-нибудь узнаем, — на худой конец узнаем, как думали люди в древности, и то хлеб. Чтобы прочесть Платона, надо заранее уже иметь вкус к удивлению, откуда в нас столько знания и отчего оно такое; вкус к воспоминанию, что же с нами случилось, какое событие с нами уже было, — такое, что мы после него такие, так много всего знаем, что все смелее действуем, решаем, принимаем меры. Кто нас толкнул, что мы теперь делаем столько движений? Надо иметь вкус к тому раннему, что всегда, в любом случае успевает случиться так быстро, так рано, что мы, проснувшись, остаемся с массой снов. Событие нас разбудило, мы проснулись и теперь опутаны сновидениями.

То событие событий, что есть мир, что есть человек, случилось раньше, чем человек успел заметить. Он его видит совершившимся. И теперь уже не так важно, решит ли он, что его сотворил Бог, или что он возник случайно, или что сам себя создал, — все это толкование по следам события, которое слишком рано произошло, чтобы человек мог при нем присутствовать. Допустим, человек сам себя создал. Теперь он знает непомерную массу вещей о себе, о своем устройстве, о том, как надо или как не надо вести себя в мире, о том, как себя вели в нем люди, как они будут себя вести; он знает все это громадное множество вещей. Теперь принимай или не принимай то или другое, выбирай, решай. Так или иначе, каким-то образом все давно уже есть.

Событие философии — событие в той мере, в какой напоминает о том раннем *есть*. В этом смысле, а не в смысле повторов, все философы говорят одно. Хайдеггер прав: событие философии — одно событие. Никакой текст нам не поможет, если мы ищем в каждом нового поощрения нашей утомительной, изматывающей деятельности перелопачивания идеологического сора в фантастической надежде, что от какой-то волшебной перестановки слов щелкнет волшебная защелка и все вдруг окажется на своих местах. Как это мы до сих пор не устали?

Философия не интеллектуальная деятельность. Поэтому никакие наши перетолкования не перетолкуют Платона. Не может быть такой вещи, как победа неправильной или правильной интерпретации Ницше. Философ не для того, чтобы так или по-другому войти в нашу картину истории философии. Он для того, чтобы показать нам, где наши картины, наши сны — и где то упущенное, о чем сны. Они в разных местах.

Мы хотим сослаться в нашем многознании на философа. Он был прав и подтверждает нас, или он был не прав, а мы говорим противоположное и правы. Например, философ был материалист и учил, что материя первична, но он был не прав, потому что, допустим, не был знаком с достижениями современной науки. Мы правы, мы говорим и учим, что сознание первично. Или наоборот. Но нет, философия не об этом. Она о том, как это странно, что мы учим о первичности сознания и материи; она для того, чтобы вернуться от учений к вещам; чтобы вспомнить о раннем; чтобы преодолеть философию. Ее отличие от наук: они себя наращивают; она призвана разобрать себя, как леса вокруг дома.

Библиотека

ОСТРОВ КРЫМ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

Из «Обвинительного акта по делу о восстании матросов, нижних чинов 49-го Брестского полка, Севастопольской крепости Саперной роты 49-го Запасного батальона и Севастопольской крепостной артиллерии под предводительством лейтенанта Шмидта и при участии не военных лиц». 1906 год.

Речь лейтенанта Шмидта перед офицерами на захваченном броненосце «Пантелеймон»:

«Ни одна из обещанных свобод не осуществлена до сих пор. Государственная Дума — это пощечина для нас. Теперь я решил действовать, опираясь на войска, флот и крепость, которые все мне верны. Я потребую от Царя немедленного созыва учредительного собрания. В случае отказа я отрежу Крым, пошлю своих саперов построить батареи на Перекопском перешейке и отсюда, опираясь на Россию, которая поддержит меня всеобщей забастовкой, буду требовать — просить я устал — выполнения моих требований от Царя. Крымский полуостров образует в это время республику, где я буду президентом и Главнокомандующим Черноморским флотом и портами Черного моря. Царь мне нужен потому, что без него черная масса за мной не пойдет. Мне мешают только казаки, поэтому я объявил, что за каждый удар казачьей нагайки я буду вешать по очереди одного из вас, моих заложников, которых у меня до ста человек (в действительности на «Очакове» тогда было 34 арестованных. — Прим. в «Деле»). Когда казаки мне будут выданы, то я заключу их в тюрьмы «Очакова», «Прута» и «Днестра» и отвезу в Одессу, где будет устроен народный праздник. Казаки будут выставлены у позорных столбов, и желающие будут высказывать им в лицо всю гнусность их поведения. В матросские требования я включил экономические нужды, зная, что без этого они за мной не пойдут, но я и депутаты матросов смеялись над вами и ними. Для меня единственная цель — требования политические, остальное я потом добуду. Если вы дорожите своей жизнью, пишите своим родным и знакомым, чтобы они хлопотали об выполнении моих условий — удалении войск и снятии осадного положения».

Публикация Ольги ИЛЬНИЦКОЙ

Виталий КОРОТИЧ ВСЕ ЛИ У НАС ДОМА...

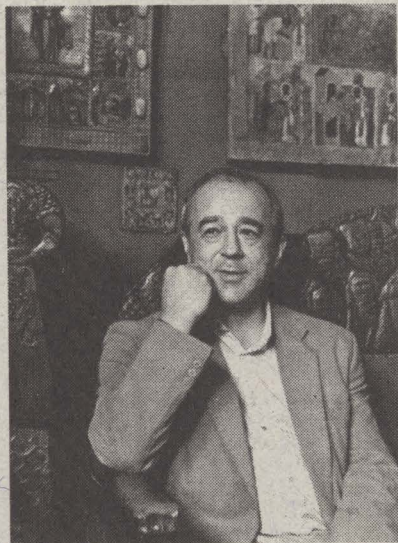


Фото Леонида Шимановича

«Я хочу быть понят своей страной, а не буду понят, что ж», — эти строчки невольно вспоминались мне во время недавней беседы с экс-редактором журнала «Огонек» Виталием Коротичем. В декабре минувшего года он прилетел на несколько дней в Москву из Америки для проведения конференции на тему «50 лет гитлеровской агрессии против СССР. Анатомия ненависти».

Блестяще организованная встреча с приглашением к участию Гельмута Шмидта, Эли Визела, Джека Мэтлока и других видных деятелей со всего мира не вызвала интереса ни у столичной общественности, ни у российских политиков. А идея, выношенная Коротичем и реализованная здесь, была необычайно важна. Более переполненного ненавистью века, чем 20-е столетие, не было: первая мировая война, русская революция, трагедия Германии и трагедия России, гражданская война, фашизм, вторая мировая война, холодная война, Корея, Вьетнам, Афганистан... И теперь — конец эпохи ненависти. Страна зла завершает свой путь, мы отрекаемся от идеологии ненависти и выходим на встречу с человечеством. И тем не менее конференция оказалась никому не нужной. Коротич уезжал грустный.

— Меня убивает именно это! Может быть, вообще интерес ко всему потерян? Вот я и решил отойти на время. Не могу больше ощущать себя сидящим на кочке в центре болота и кричащим: «Эй, кому нужно, приходите, я вам фокус покажу...». Я многое умею, знаю, и хочу найти ту точку в мире, в которой я нужен.

Философия выбора всегда занимала Виталия Коротича, а непредвиденные поступки доказывали его независимость и свободу от Системы. И первый выбор, который он сделал, был связан с журналом «Юность». Опубликовав в 1961 году статью «Мы врачи», он оставил врачебную практику, кандидатскую диссертацию и стал профессиональным писателем, затем экстерном окончив Институт иностранных языков и получив назначение в Советскую миссию при ООН, отказался подписать письмо против диссидентов. В итоге — новый слом, уже в дипломатической карьере. И это тоже был выбор. Затем редакторская работа в украинском журнале иностранной литературы «Всесвіт», ставшем лучшим изданием на Украине. С предложением А. Н. Яковлева возглавить давно скомпрометировавший себя «Огонек» жизнь повернулась еще раз. И новый

«главный» блестяще доказал, что может резко менять не только свою судьбу, но ломать устоявшуюся репутацию консервативного издания. К сожалению, мы еще до конца не оценили роль прессы в сегодняшнем изменении общества, так же как не оценили главных редакторов «периода перестройки», хотя для всех очевидно, что изменения, происшедшие в мире, во многом подготовлены средствами массовой информации.

Для Виталия Коротича эпоха «Огонька» завершилась августовским путем:

— Я совершенно четко понял, что путь — это поджог рейхстага в Берлине. Запрещение коммунистов может вызвать к власти тоталитаристов, а это еще страшнее. Делать сегодня журнал на том уровне внутренней свободы, на котором я хотел, уже нельзя. Мой период демократической прессы прошел.

В трагические августовские дни Виталий Коротич был в командировке в Америке и оказался единственным российским публицистом и общественным деятелем, способным объяснить американцам, что же происходит. В буквальном смысле «оторав» двое суток по всем радио- и телеканалам, что «хунта не пройдет», он вернулся в Москву к своим коллегам и встретил в редакции холодное отчуждение и осуждение: «Вы должны были быть здесь, с нами». Помню, как тогда меня поразила этот комсомольский большевизм нового покроя: если нам плохо, то давайте еще одного! Мы до сих пор не освободились от тоталитаризма в мышлении. Получалось, что, распустив партию, страна так и не вышла из партии. В 55 лет Виталий Коротич сделал еще один новый шаг — порвал сложившиеся литературные и духовные связи и принял предложение нескольких американских университетов прочесть курс лекций по истории нашей перестроечной печати.

— У нас по-прежнему существует стереотип, что решение, подобное моему, граничит с предательством, с государственной изменой. Но когда на моих глазах рушатся демократические принципы, я делаю выбор, может быть, один из самых рискованных в своей жизни. Я хочу спокойно переосмыслить все эти прожитые перестроечные годы и написать книгу.

Думаю, что демократия — это право каждого на выбор, и уважать это право нам, судя по некоторым печатным высказываниям о Коротиче, нужно еще учиться. А пока Виталий Алексеевич Коротич читает лекции в Бостонском университете о свободной прессе в нашей стране. Действие контракта — 4 года, но он подписал пока только на год.

— Не хочу связывать себя и их какими-то обязательствами. Посмотрим. Может быть, для меня найдется дело дома, тогда сразу же вернусь. Я жду своего часа, но пока никто не зовет...

Очевидно, не только тема московской конференции, которую проводил Коротич, нами не осознана, но и необходимость участия подобных людей в жизни нашего общества. Что же, американцы всегда были прозорливее и прагматичнее; и американские студенты с интересом слушают лекции русского профессора о трагедии отдаленности от человечества, о разрушенной морали и трагедии глухой обособленности.

— Я сам придумал себе такую тему и сам придумал себе жизнь, дающую возможность постоянного общения с людьми не из нашего, иначе устроенного мира.

Сегодняшняя публикация Виталия Коротича — это размышление о путях выбора и о том, как выбирает он сам. Сочинение на эту тему передано нам «экслюзивно».

А. ПУГАЧ

Читая лекции в американском университете, я иллюстрирую их отрывками из старых советских фильмов, где все положительные герои играют на гармошках, а все отрицательные — на фортепьянах. Самые отрицательные даже носят пенсне. Я рассказываю американским студентам о стране, которой уже нет и, наверное, никогда больше не будет. Страна эта сортировала своих граждан не по талантности и трудолюбию, а по социальному происхождению, национальности, партийностям и стала самым классовым обществом на свете. Моя страна обязывала нас быть счастливыми и собиралась продвинуть к нашему директивному, неизбежному счастью все человечество. Чтобы мы не отвлекались на своем марше к вершинам, нас оберегали от контактов с человечеством, за

границу не выпускали. Мы вырастали, избавленные от фильмов Чаплина и Бююэля, Орсона Уэллса и Фреда Астера, нам запрещалось брать в руки книги, начальству неприятные, нам даже не показали, как Нил Армстронг ходил по Луне, потому что астронавт был американцем. Как играл на трубе другой Армстронг, Луи, нам тоже объясняли весьма неохотно. Зато в советских университетах в течение двух лет изучали историю американской коммунистической прессы, о которой никто из моих заокеанских знакомых понятия не имеет, хоть очень заинтересовались, когда я сказал им, что таковая в Америке не просто была, но и серьезно изучалась в Советском Союзе.

Мы жили на пастбище, огороженном электропастухами, сунуться за электрический кордон которых было запрещено по закону. Я рассказываю своим студентам, ценой каких неимоверных усилий Система задвигала своих граждан в пространство, отведенное им для счастья, отделяя собственный народ от человечества и примет его жизни.

А счастливые киногерои скрипели для меня на победоносных гармошках до самого недавнего времени. Правда ведь, в большинстве своем мы похожи на человека, который, шурясь, выходит из подвала, где под завалами просидел несколько десятков лет. От необходимости столько понять, осмыслить, усвоить многих тянет обратно в подвал. Мы с трудом входим в одно временное пространство с человечеством. Слишком долгой была выдержка внутри своей собственной неповторимой эпохи и знания, что «Земля начинается с Кремля».

В таких случаях американские студенты всегда вспоминают Рип ван Винкля, героя классического рассказа Вашингтона Ирвинга, который проспал множество лет, а затем возвратился к людям. Такой сюжет все больше становится не литературной фантазией, а самой настоящей реальностью.

Этой осенью террористы в Бейруте начали освобождать заложников. Один за другим предьявлялись прессе, а затем врачам в американском госпитале германского города Висбадена люди, ни за что ни про что сидевшие взаперти, под постоянной угрозой издевательств, побоев, смерти, по два три года. А в конце ноября освободили заложника Терри Андерсона, захваченного еще в марте 1985 года. Он почти шесть с половиной лет отсидел без всяких контактов с окружающим миром, из всех примет цивилизации наблюдая лишь автоматы Калашникова у своих бородатых сторожей. Сообщая о его освобождении, телекомпания Си-би-эс крутанула ролик, смонтированный из кадров, увековечивших ряд главных событий прошедшего столетия. «Не сойдешь ли ты с ума, Терри Андерсон? — вполне серьезно спрашивает диктор у вчерашнего заложника. — Ты же ничего об этом не знал...»

Мелькали лица людей, разрушающих Берлинскую стену, воссоединялась Германия. Рушились коммунистический мир и коммунистический миф; свержали памятники Ленину, расстреливали Чаушеску, просили кредитов у Запада. Начиная свой первый президентский срок Джордж Буш, завершалась эпоха «холодной» войны. Убивали китайских студентов на площади Тяньаньмэнь. Близкий Восток, война с Саддамом Хусейном. Горбачев, Ельцин, путчисты...

Никогда еще человечество не жило в столь интенсивном потоке времени, и неудивительно, что многие оказались не готовы к напряженности происходящих событий, к их поворотной роли в судьбе человечества и в миллионах отдельных человеческих судеб.

Тем не менее мы принимаем как должное, как данность этот информационный ливень. Но прежде чем рухнула Берлинская стена, германское телевидение объединяло страну поверх нее. Человечество срачивается радиоголосами и телепрограммами, стандартом всемирного быта, который в своей цивилизованной универсальности тоже объединяет нас.

Ничего страшного нет во всемирной унифицированности кроватей, телевизоров и стульев. Так удобнее. Сегодня особенно заметно, что это мы, советские, отделялись от мира — даже вещами, — а не мир от нас. Это весь мир летает сегодня на «боянгах», а мы на прожорливых и неудобных, но своих патриотических аэрофлотских драндулетах. Это весь мир сосредоточил производство автомобилей в нескольких странах и создал модели, обходящиеся несколькими литрами горячего без свинца на сто километров, мы же катаемся на копящих и заглатывающих бензин десятками литров, но своих! Мы делаем собственные гайки и трактора, зубную пасту и пулеметы. Мы никогда никому не верили, мы культивировали ощущение враждебного окружения вокруг себя

и все на это окружение списывали. Так было обособленное от всех, ибо все были опасны. То-то надо нам привыкать к нормальной человеческой жизни, как Маугли, возвращенному из джунглей в человеческий дом!

...Вот я рассказываю американским студентам обо всем этом, а они не верят, что можно так жить на свете; за дверью аудитории в коридоре у них доска объявлений, и там написано, что на рождественские каникулы имеются льготные авиабилеты в Лондон, Рим и Париж, а в канадский Монреаль и обратно вообще можно махнуть за сотню с небольшим долларов. Мир, ставший Большой Деревней для большинства землян, для нас все еще разграничен, разделен, разгорожен. Как рассказать нормальным людям из нормальной страны о нашем возвращении в нормальную жизнь и о том, сколько долга еще дорога от нас к ним?

Со стороны особенно заметно, сколько в нас еще злости, сколь непрост выбор между закрытым и открытым обществом, сколь многие еще готовы называть закрытое общество патриотическим, а не ограниченным, сколь трудно приживается у нас многое из признанного и принятого остальным человечеством.

Да и мир насторожен к нам; мне в паспорте надо иметь куда больше виз, передвигаясь из страны в страну, чем американцу, датчанину или канадцу; да и мы ведь без виз почти никого к себе не пускаем. Мы сумели отвыкнуть от человечества и отучили от себя весь мир: непрост путь нашего возвращения.

Возвращаясь сегодня в человечество, мы должны заново искать свое место в нем, в его приоритетах, новостях, стандартах. Мы должны заново осмысливать собственную неповторимость и приучать к ней человечество, дабы не запечатлеться навсегда в сегодняшнем образе милых попрошайек из богатейшей страны. Для этого прежде всего надо возрождать себя морально. Причем без возрожденческих истерик, без привычных уже попыток спутать провинциализм с патриотизмом, без сохранения «холодной» войны если не в международных отношениях, то в межнациональных у себя дома.

Ненависть прет из всех щелей расползающейся имперской постройки. Нам еще очень далеко до нормальной жизни, а непривычка к ней еще более усложняет путь. Мы были самым идеалистическим обществом планеты, и притягие нами нормальных критериев, реалистических норм — процесс сложнейший. Ведь мы от своих надуманных барьеров идем к разделению не менее существенным, к которым тоже массово не готовы. Рыночная экономика разграничит нас личными счетами в банках, ценниками и фирменными нашивками на товарах. Политические и социальные разделения, барьеры национальных традиций — мы никогда не достигнем того немислимого единства, в которое звали нас лозунги на недавних первомайских и ноябрьских демонстрациях. Нас приучили к тому, что сотрудник ЦК может жить лучше и в лучшем доме, чем простой смертный. Но от того, что может быть узаконенное разделение на богатых и бедных, страна успела отвыкнуть. Путь в человечество — это еще и путь в реальность, из социальных фантазий в жесткую повседневность, в мир борьбы за социальные гарантии, за пособия безработным, за многие из тех прав, которые давно завоеваны трудящимися во всем мире и которых мы были лишены столь основательно. У нас все это впереди. У нас впереди уход от формул — большевик, буржуй, враг народа, — на которых строились отношения внутри государства.

Проблема эта огромна. Особенно у нас, в стране, где интеллигенцию десятилетиями отторгали от народа и постоянно пытались с народом столкнуть. Я без труда вижу, как всплывает на волнах разбушевавшегося советского моря шваль, тычущая пальцами во всяких, которые шляпы и очки надели, возрождая лучшие сталинские традиции разговора о той самой прослойке, которая гнилая. В перестройке все еще не задействован рабочий класс, ссылками на руководящую роль которого оправдывалась чудовищная коммунистическая диктатура. Сегодня неонацистские и некоммунистические лидеры пробуют спровоцировать рабочих именно против интеллигенции как громоотвода. Это им не раз удавалось и может удаться снова: мы ведь не привыкли к равноправию, даже говорить о нем все равно что отставать женские права при исламе — затюкают.

Очень опасно, что советская интеллигенция все еще не возглавила советский народ. Если на выборах польского президента в прошлом году бывший электрик конкурировал с эмигрантом-поляком из Канады, то у нас партийная бюрократия сохраняла все позиции, даже руководство в демократическом движении. Нынешний украинский президент неза-

бываемо вправлял мне мозги в Киеве, когда имел честь руководить идеологическим отделом ЦК, а на выборах российского президента равноправно конкурировали два бывших члена Политбюро. Может быть, люди эти изменились. Но тем не менее кузница кадров у нас прежняя. И комитетов вроде польского КОС-КОР, связывавшего интеллигенцию с рабочими и крестьянами в повседневной борьбе за свободу, мы так и не создали... Как там у Ленина?.. Мало их, страшно далеки они от народа... Такие-то дела.

Путь к реалистическому, деловому мышлению для нас непрост и долгов.

Когда то «Память», то верные ленинцы, то торжествующие братья-либералы кличут нас то к идеалам покойного вождя, то — грядущей демократии, то — кондовой России, совершается очередная попытка увлечь нас перестроечной маниловщиной и позвать в очередную неконкретность очередного «большого скачка». Мы привыкли к тому, к чему приучали нас. Великий Сахаров удивлял массы куда больше, чем привычные разговоры того же Михаила Сергеевича о коммунистической перспективе, с которых мы начали перемены в середине 80-х годов. Мы никогда не забудем, как не давали Сахарову говорить в Верховном Совете, и я, оглядывая захопывавших его людей, думал, что ведь нормальные у них лица, и улыбаются некоторые, а думать отучены напрочь — навсегда.

Вся прежняя советская государственная философия подразмывала несамостоятельных граждан. Главный секрет, который следователи бериевской школы выбивали из диссидентов всех советских времён и народов: «Говори, такой-сякой, кто тебя научил!» Считалось, что самостоятельно додуматься до идей любого уровня, а особенно — вредных для советской власти и ее коммунистической партии, наш человек не в состоянии. И мы по-прежнему пребываем в плену сменяющихся стереотипов, позволяя политическим спекулянтам играть на наших нелепых обыкновениях.

Сегодня у нас есть стереотип: за границей лучше, чем здесь. В него массово верят, подкрепляя мысль соотношением курсов доллара и рубля. Сколько надо работать, чтобы получить рубль и получить доллар, как правило, не говорят. Считается, что рубль патристичнее. Так же точно считается, что сегодня граница всем хороша. Так же, как вчера она была всем плоха. Людей, желающих поразмышлять на эту тему, не так много, потому что тема обсуждению не подлежит. Все ясно и так.

Уже много лет я дружу с американским публицистом Гедриком Смитом. В свое время он написал знаменитую книгу «Русские», зафиксировавшую состояние советского общества несколько десятилетий назад. Книга была точно аргументирована и, несмотря на то, что ее перевели на множество языков, тут же осела в советском спецхране, потому что очень уж нелицеприятно писала о погруженной в утрюмую социальную ненависть стране, об угрозе этой ненависти для человечества. Сегодня Гедрик Смит написал книгу «Новые русские», глядясь в лицо изменяющейся страны и надеясь на ее воскресение, искренне хорошо относясь к нам, внимательно прослеживая советские эволюции.

Помню, как меня, уже хорошо знавшего Америку, поразила она в начале восьмидесятых и как сами американцы в дальнейшем избавились от навязанного им лица ненависти. Рассказывая об Америке сегодняшней, я переиздал недавно и ту книгу — предупреждение об Америке опасной поры. Гедрик Смит переиздал своих «Русских» — надо усваивать уроки прошлого, если хотим с надеждой глядеть в завтрашний день. Не надо лстыть друг другу, и надо избегать заискивающих прихвостней — все эти уроки американцы усваивают быстро, быстрее нас. Они видят в нас равноценных партнеров; мои студенты спорят со мной о достоинствах и недостатках своей страны открыто, как наши студенты еще не умеют. Наших ведь толкают от комсомольского обожания к столь же неискреннему и столь же директивному неприятию вчера хвалимых ценностей. Мы обучимся вдумчивости? В Америке я получаю очень интересные уроки откровенного и вдумчивого мышления, которым мы не владем еще на уровне повседневности.

Во всем мире сегодня чрезвычайно ценится искренность. Авторитет внешнеполитического курса Горбачева — Яковлева — Шеварднадзе — это прежде всего авторитет искренности, с которой проводился этот курс. Нам начали верить, и это, пожалуй, самое важное в новом нашем образе: вчера боялись — сегодня верят.

Доверие — это не просто, и в демократических обстоятельствах его с трудом завоевывают, а затем отстаивают

годами. Ты-то и забывал зачастую о том, что есть такая штука, как репутация, и человек, которому дали пощечину в общественном месте, далеко не всегда бежал в темный лес, чтобы застрелиться. Наше общество было аморальным, и к тому, что мы приемлем общечеловеческие категории порядочности, привыкать будут еще долго. Если привыкнут; с нас ведь еще за многое спросят...

Только что Соединенные Штаты были потрясены несколькими подряд сериями изыманий признаний у людей самого разного уровня. Люди эти были связаны с судьбой США, и допрашивали их с особым пристрастием. Утверждали нового главу ЦРУ и нового члена Верховного суда. День за днем поступки этих людей изучались подробно, со свидетельскими показаниями, с возвращением к школьным и студенческим временам вполне немолодых претендентов на должности. Страна хотела подробно знать, кому именно она доверит важнейшие роли в своей судьбе. Обоих главных претендентов утвердили, отполоскав их в десяти водах вплоть до выяснения анекдотов, которые они рассказывали своим секретаршам во время оно. У нас такое тоже бывает, но исключительно вдогонку. Мне сегодня противно видеть, как рвут уходящего Горбачева те, кто вчера готов был смиренно ретушировать его родинку. Мне обидно, что мы так и не научились еще быть смелыми перед лицом человека на высоте власти, кусая его спину, а не говоря ему правду в лицо. Этому тоже предстоит учиться, это тоже демократия.

Недавно я сказал одному бывшему сотруднику «Огонька», который ныне твердит направо и налево, что именно он делал наш журнал в середине восьмидесятых: «Что же ты мне раньше этого не сказал? Что же ты не встал, когда мы проламывали стены «Огоньком», и не сказал — оставьте в покое Коротича, не мажьте его детем. Это я делаю журнал. Никто больше, только я один. Почему же ты не принял грязевые фонтаны всяких «Военно-исторических журналов» и «Молодых гвардий», а заговорил о своей исторической роли только теперь? Когда «Огонек» своего добился, а я ушел из журнала?..»

Все у нас еще будет, идя по второму кругу. Я уже говорил, что приходит поколение новых старых большевиков. За армией всегда шли и теперь идут мародеры.

Надо отвечать за все и ничего нельзя скрыть. Только что на конференции, организованной в Москве «Огоньком» и нью-йоркским фондом Эли Визеля, журналисты разругали бывшего генерала КГБ Олега Калугина. Видимо, ему, столько вытерпевшему, было даже обидно от этого. Но таковы правила. Если уж ты выходишь на уровень ответственности за других, ты должен быть сам чист, как стеклошко. А как же еще? И нечего обижаться. Когда-то на меня обиделся хороший автор политических детективов, когда я у него спросил, каких же свинств натворил его герой Штирлиц, чтобы заслужить звание в СС. Не на Лубянке же ему погони выдавали...

Увы, идея о том, что цель оправдывает средства, умерла вместе с фашизмом и коммунизмом. Надо полагать.

Каждый должен выработать форму собственного беспривного отчета перед современниками. Надо находить свое место в человеческом океане и принципы, на которых не стыдно выстраивать собственную жизнь и влиять на чужую.

Очень интересно наблюдать в Америке, как формируется та часть ее населения, что зовется «политическим классом». Это люди, которые сознательно, как профессионалы, готовятся войти в политическую жизнь и многому учатся уже в молодости. Кухарки Владимира Ильича тоже могли бы, пожалуй, управлять государством, если бы их учили как следует. Интересно наблюдать в заокеанском университете, как среди студентов выдвигаются политические лидеры, утверждая себя в бесконечных дискуссиях. Многие из этих молодых людей стремятся понять, как было организовано советское общество, как оно подавляло народовластие, как оно еще не готово к тому, чтобы сделать это народовластие реальной силой.

Народовластие... Еще одна формула с утерянными нами смыслом?

Преобразования, охватившие пол-Европы и Советский Союз, не могут опереться на плечи того самого «среднего класса», что тянет телегу бытия в большинстве стран мира, определяя уровень, качество жизни. У нас нет немецких бюргеров и французских буржуа, возглавлявших в свое время у себя в странах то, что зовется у нас сегодня «движением к рыночной экономике». Во многих случаях преобразования — и я говорил уже об этом — возглавлены даже не перековавшимися, а откровенно коррумпированными пред-

ставителями бывшей КПСС, поскольку именно вокруг них сосредоточен механизм власти и знание о том, как надо управлять этим механизмом. Бедняги-диссиденты, рисковавшие жизнями в борьбе за демократические перемены, остаются красивым фоном происходящего, не более, и к реальной власти не придут, по-моему, никогда. Трагизм сегодняшней ситуации сравним разве что с воображаемой перестройкой послевоенной Германии, которую (представьте себе!) передали бы в руки бывших нацистов.

Милый сытый Запад, совершенно растерявшийся при виде глубины и интенсивности происходящего, швыряет миллиарды в черную дыру все еще побулькивающей советской системы, не умеющей жить и не желающей умирать.

Бывшие секретари ЦК и обкомов из бывших республик тянутся друг к другу, как тянулись они рюмками на ведомственных застольях в течение десятилетий, и большевистские рефлексивные проблескивают в сознаниях, измятых тоталитарной властью. Старушки, стремящиеся спасти ленинскую мумию, не в счет. Они забавны, не более, речь не о них.

Я совершенно убежден, что мы идем к новому тоталитаризму, к обновленному и усвоившему опыт своего поражения обществу жестокой централизации со штыками на перекрестках. Я никого не пугаю, я просто констатирую это.

Мы все еще трудно усваиваем тот факт, что существуют общечеловеческая мораль и критерии, привычные давно и для многих на свете. Нас учили не так.

Десятилетиями прожив на необитаемом острове, создавая ценности исключительно для собственного потребления, мы оглядываемся растерянно и во многих случаях не знаем даже, о какой помощи просить доброхотов.

Я совершенно убежден, что для нашего спасения и для спасения человечества в самое ближайшее время необходима конференция на высоком государственном уровне. Тема? Новый мировой порядок и посткоммунистический мир.

Послекоммунистический порядок должен устанавливаться и утверждаться столь же основательно, как он реформировался после войны. Демократическое преобразование Германии и Японии стало возможным лишь потому, что вершилось как общее, всемирное дело. Две тоталитарные империи — европейская и азиатская — рухнули, а мировая общественность спасла и возродила их народы после падения фашистских режимов. Правда, и сами народы не сидели сложа руки, а работали для собственного спасения день и ночь.

Коммунистический режим окончательно рухнул после так называемого августовского путча. Но он погрузился в недра общества, как его хроническая болезнь, и может взойти оттуда при благоприятных обстоятельствах. Коммунизм и фашизм — религии голодных толп, а мы все еще не кормлены досыта...

Сокрушение стереотипов — дело непростое и для страны, и для каждого из нас в отдельности. Неумение руководствоваться демократическим сознанием осложняет жизнь множества людей, от чиновников высших государственных уровней до каждого из рядовых граждан в отдельности. Как современники Галилея не в состоянии были поверить в законы галактического устройства, так и современники Горбачева, да и он сам, не умеют еще принять всевластности демократических законов и правил. А здесь ведь — или жить по законам нового мира, или сопротивляться им. И при всей неизбежности нарастания авторитарных тенденций в нашей жизни путь, избранный нами, должен привести к обществу демократическому. Только так.

...Когда я попросил, чтобы меня освободили от редакторства в «Огоньке», у меня были к тому свои, многократно уже изложенные резоны. Я договорился с коллективом об условиях нашего дальнейшего сотрудничества и тут же едва не задохнулся под лавиной разнообразнейших слухов. Главной причиной слухов была твердо усвоенная советскими людьми истина, что советский человек просто так с большой должности уйти не может. Если ты уж вскарабкался или был посажен на некое дерево, расположенное в райских коммунистических садах, слезать с этого дерева права ты не имел. Только падать.

Очень интересно обсуждать эту ситуацию с американскими студентами. В их капиталистические мозги вросло четкое правило о непререкаемой сменяемости руководства, о том, что даже на президентство в их стране можно претендовать лишь на протяжении двух четырехлетних сроков, а в соседней Мексике — и вовсе лишь на один шестилетний срок. Вот этот-то срок я в «Огоньке» почти отбыл и, смею считать,

успешно. Рассказываю студентам, что все руководители советской страны покидали свой кремлевский кабинет исключительно в гробах, вперед ногами (кроме свергнутого Хрущева), и сейчас большинство советских граждан все еще не могут представить, как нормально, по-человечески могут уйти Горбачев или Ельцин. У нас ни слова хорошего об ушедших руководителях не говорили никогда.

Только что в Калифорнии на открытии мемориальной библиотеки Рональда Рейгана собрались сразу пять президентов США: Никсон, Форд, Картер, Рейган и Буш. Все они трудятся на разных должностях, выступают на званых обедах, пишут мемуары, путешествуют. Когда мы будем относиться к сменяемости собственных начальников как к делу обычному? На абсолютно такой же должности, как моя, работает в университете города Бостона Майкл Дукакис, недавний кандидат в президенты США и бывший губернатор штата. Никто не видит в этом ничего странного. У меня спрашивали, пошел бы Горбачев на такую должность, они хотят изучить его опыт и уверены, что в моей стране таким изучением займются не сразу. Ему бы дали переводчика и кафедру, но я боюсь даже произносить такое предложение вслух: по-моему, со времен Керенского российские государственные деятели за границей не преподавали. Ни рядовые граждане, ни руководители рядовых граждан никогда не имели у нас возможности владеть своей жизнью и самостоятельно решать, как быть. Комплекс винтика. Слесарная мастерская, а не страна.

Мы еще только устраниваем будущую государственность и ее правила. Мы еще только придумываем названия для будущих структур и определяем то, что в дальнейшем назовем нормой. Все вперед. Но уже опасно, что вопреки мировым тенденциям у нас преобладает стремление к разделению, самоограничению, разгораживанию. Не знаю, как будет в самостоятельной России, но самостоятельная Украина уже объявила, что будет брать по десять тысяч рублей с каждого, кто пересекает ее, еще не установленную державную границу более двух раз в год. Предложено получать по миллиону за каждого украинского футболиста, желающего играть за ее пределами. Дальше?

Трагедией станет попытка увековечить ограниченность как державный принцип. Тем более что ничего из никаких выгородок не получится в двадцать первом веке. Национальная гордость и независимость не имеют ничего общего с нищенским умением прятать пятаки за щеку. Только что сытая и устроенная Западная Европа показала пример пострадавшего сообщества. Мы на много десятилетий отстали от человечества. Неужели и сейчас забудем, что для любого народа самоизоляция может быть лишь несчастьем, а независимость ничего общего с одиночеством не имеет?

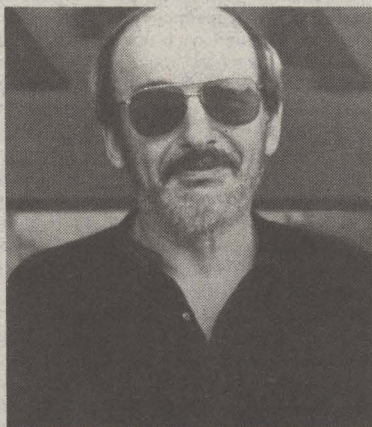
Я летаю в Соединенные Штаты и возвращаюсь домой. Здесь никто еще и не думает изучать опыт демократических преобразований в средствах массовой информации, роль интеллигенции, значение морали в процессе демократических преобразований. Я читаю свои лекции там, где интересуются ими. У меня в семинаре обучаются два китайца, грек, немцы, американцы из разных штатов. Им интересно, и я за это им благодарен. Сейчас меня попросили написать учебник на основании моих лекций. Напишу. Я не только учу — я учусь вдалеке от дома: вода из многих колодцев лучше утоляет жажду.

Мы возвращаемся в человечество. Нам еще туда идти да идти, тем более что не всем туда хочется.

Старый эмигрант рассказывал мне, как они выживали в Америке полвека назад: «Когда наступало обеденное время, все садились вокруг котла с кипящей водой. Каждый брал свой кусочек мяса, заранее припасенный, обвязывал его веревочкой и бросал в котел. Бульон получался общим. Но сваренное мясо узнавали по обвязке, и каждый съедал свое». Вроде бы и вместе были, но каждый питался по-разному и каждый знал, что уж мяса-то своего он никому не отдаст. Разве что немного навару... Есть и другие способы угромого выживания бедных людей, но ни один из них не делает жизнь надежнее. Об этом тоже интересно разговаривать с американцами, особенно молодыми, важно проследить путь, в течение которого народу выстраивают или изламывают душу. В конечном счете душа нашего народа выжила, и, возрождаясь сегодня, она очень нуждается в добрых помощниках, чтобы снова приобщиться к душе человечества.

г. Бостон (США), декабрь 1991 г.

ЛЕГЕНДА РЕАЛЬНОСТИ



Эта беседа с американским писателем, автором знаменитого романа «Рэгтайм» (в переводе Василия Аксенова) Эдгаром Лоуренсом Доктороу и мною, была записана летом 1986 года, теперь уже почти шесть лет назад. Сразу же после записи эта беседа неоднократно предлагалась нескольким нашим журналам, однако каждый раз возвращалась со ссылкой — публиковать нельзя, беседа несанкционирована... Кем, спрашивал я? ЦК, отвечали, ну... и еще другими органами. Боже, думал я, что нужно, чтобы поговорить о литературе двум литераторам? Какие унижения, чтобы увести из-под недремлющего ока разговор двух людей из двух империй: зла, как тогда представлялись нами США, и добра, как тогда представлялись мы. Что хотят те, кто пытается постоянно дискредитировать Закон о печати? Санкций? Утверждений? Чтобы переводчиком при таких беседах был опять «искусствовед в штатском»? Интересно, что же с нынешней точки зрения в этой беседе крамольного? Повторяю, беседа эта произошла жарким ялтинским летом 86-го, незадолго до первой встречи в верхах...

А. ТКАЧЕНКО. Демокрит, сделавший предположение о том, что природа состоит из мельчайших частиц — атомов, — еще в IV веке до н. э., даже и не подозревал о тех губительных последствиях, которые несет в себе природа в связи с их неуправляемостью. Не кажется ли вам, что современная цивилизация из-за этого, а точнее, в связи с присутствием ядерной энергии, а я имею в виду весь комплекс, зашла в тупик?

Э. ДОКТОРОУ. Вы говорите о проблемах, которые стоят перед сверхдержавами?

А. ТКАЧЕНКО. Нет, вообще о существовании этой надломленности в природе, в современном мире.

Э. ДОКТОРОУ. Фауст, после того как он познал мир, после того как он потратил на это 24 года, продал свою душу дьяволу. Он знал слишком много. Мы слишком много знаем в науке, мы слишком много знаем об атоме, но вот наша мораль не готова, она не научна.

А. ТКАЧЕНКО. Современный человек получил совершенно невиданные методы убийства других, не похожих на него людей. И его натура не готова устоять перед соблазном применить это на деле. Видно, исторический опыт мало чему учит его.

Э. ДОКТОРОУ. Да, это так. И я считаю, что до сих пор мы еще находимся в доисторическом времени, когда имеем в виду то, как мы мыслим, то есть мы мыслим все еще теми категориями. Эйнштейн в 1945 году, когда была сброшена

первая атомная бомба на Хиросиму, сказал: «Все в мире изменилось, но не изменилось только наше мышление». И вот с этической стороны я хочу сказать, что развитие нашей души значительно отстает от развития нашего разума.

А. ТКАЧЕНКО. Тем более что сюда еще добавляется разор, полный разор души современного человека, она теперь уже дискретна, она дробна по сравнению с цельностью человека античного мира, который, как известно, заложил все основы культуры человечества, культуры мировосприятия, отношения с окружающим пространством.

Э. ДОКТОРОУ. Если вы думаете, что люди в античности были очень цельными, то, по моему мнению, они были таковыми потому, что их было мало. Афины — это был город как бы в себе, Спарта тоже был город в себе, однако, несмотря на это, они часто воевали между собой, они были независимы друг от друга, ограничены, и вместе с тем они воевали, хотя, повторяю, население их было незначительно.

А. ТКАЧЕНКО. Как я вас понял, вы хотите сказать, что это был прообраз будущего мира, возможно, и нашего, современного, и они, заложившие основы взаимовлияния, не могли не заложить в эти же основы военные отношения, а попросту говоря — войну?

Э. ДОКТОРОУ. Нет, я не имею это в виду. По моему убеждению, нам, для того чтобы спасти нашу планету, надо, я повторяю, изменить мышление, отношение к цивилизации, понять, что и она мала сейчас так же, как и в античности. Просто масштабы деятельности человека таковы, что могут поставить ее на край гибели, мы должны понимать, что война в Древней Спарте и в Афинах и современная война — это совершенно разные вещи. Мы должны изменить отношение к миру вообще. Я считаю, что нынешнее состояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, я имею в виду начиная с 1945 года, можно уподобить стычке двух пещерных людей, которые сошлись и размахивают над головами дубинками.

А. ТКАЧЕНКО. Когда в нашей стране был напечатан ваш роман «Рэгтайм», я знаю, что некоторые критики упрекали вас в том, что вы неточно изобразили некоторые исторические события начала XX века, знаменательного для США тем, что многое тогда у вас было в подвижном состоянии, формировалось общество промышленников, технический прогресс захлестнул вашу экономику, ну и, конечно же, затронул человека. Подобные упреки были и в истории нашей литературы. Они касались в свое время нашего Л. Н. Толстого, которого критики и историки упрекали в том, что он неточно изобразил историческую фактуру времени войны и мира 1812 года. Однако Лев Толстой отвечал на это, что художественная правда гораздо выше правды фактов.

Э. ДОКТОРОУ. Изложение фактов не значит изложение истины. История — это собрание фактов, которые очень часто искажаются. Кто те, кто пишет нашу историю? Нищие говорил, что самих фактов как таковых нет, что есть определенная интерпретация, и каждый применяет их так, как ему выгодно или удобно. Я должен сказать, что правительства многих стран сейчас занимаются тем, что переписывают историю, и история переписывается именно с целью, чтобы служить оправданием политики, проводимой данным правительством. Как я мог бы написать, допустим, книгу о русско-французской войне? То ли это должна быть книга мемуаров французского генерала, или, может быть, это какие-то воспоминания русского генерала? Но я должен сказать, что и в том, и в другом случае каждый из них, то есть из этих вариантов, будет написан так, что французский генерал будет выглядеть более достойно, если книга будет написана с позиций французского генерала, а русский генерал будет выглядеть достойно, если это написать с позиций русского. И так же справедливо будет замечание о том, что историк — не человек искусства, не писатель, который сейчас живет во Франции, — будет иметь свою правду взгляда и, вероятно, правоту. Кому верить в книге? У писателя не должно быть обязательства ни перед кем, ни перед чем, у него есть одно обязательство — обязательство перед истиной.

А. ТКАЧЕНКО. В вашем романе «Озеро Гагары», опубликованном в украинском журнале «Всесвіт», проскальзывают нотки того, что добропорядочность менее дееспособна и поэтому уступает силам зла. Человек достигает определенного положения в обществе, но при этом очень много теряет человеческого. Это ваша позиция вообще, сверхидея или реальность только одного романа?

Э. ДОКТОРОУ. Я бы сказал, что вот этот вывод, который вы сделали, — это одна из интерпретаций моего романа,

вы могли бы сделать такой вывод, а могли бы и не сделать такого вывода, как вы хотите, но есть также и другое. Осмысление, другое толкование героя «Озера Гагары». Герой этой книги стоит перед выбором, он должен сделать выбор. Он сделал неправильный выбор. Но я никак не хотел сказать, что герой не мог сделать правильного выбора. Во всяком случае, я действительно не хотел сказать, что хорошее пасует перед плохим. Нет, это никаким образом не являлось генеральной идеей моего романа и тем более всего контекста моих книг.

А. ТКАЧЕНКО. Ваш роман «Озеро Гагары» написан в форме синтеза прозы и поэзии, монтаж прозаических текстов с поэтическими. Это получилось по ходу высвобождения энергии содержания либо это было задумано заранее?

Э. ДОКТОРОУ. Я должен сказать, что не знал, во что это выльется, я принадлежу как раз к этой категории писателей, которые любят себя поставить в положение человека, который только потом поймет, что же он все-таки пишет. Я пишу для того, чтобы потом выяснить, о чем и для чего я пишу.

А. ТКАЧЕНКО. То есть идет ежесекундное постижение мира, течение жизни романа есть течение самой жизни со всеми непредсказуемыми моментами, а, вероятно, если ты заранее знаешь, что произойдет в конце твоей вещи, работать неинтересно и бессмысленно, так я вас понял?

Э. ДОКТОРОУ. Да, совершенно верно.

А. ТКАЧЕНКО. Русская проза имеет аналоги синтеза поэтического и прозаического слова. Например, проза Б. Пастернака, А. Белого. И вообще у нас есть примеры, когда очень трудно разграничить начала. И. Бунин был великим мастером прозы и тончайшим лириком в поэзии, и все, написанное им, совершенно как бы из однородного материала. Есть ли такие традиции в американской литературе?

Э. ДОКТОРОУ. Это очень интересный вопрос. Я считаю, что корни этого явления, возможно, растут из стихийности людского характера, а также из предначертанности человеческой жизни. Традиции соединения прозы и поэзии в Америке, слияния высокого и повседневного идут от поэзии XVII века, от Эдварда Тейлора. Это в духовном смысле. В более физическом смысле это, конечно же, Уолт Уитмен и Эдгар По. И я считаю, что всякий честный художник в конце концов приходит к пониманию того, что нельзя планировать свою работу. Вот, например, Марк Твен однажды сказал, что он никогда не пишет книгу, которая сама не пишется. Когда работа идет, когда книга спорится, то вы чувствуете физически, как вот она у вас из-под пальцев вытекает...

А. ТКАЧЕНКО. Вероятно, вы хотите сказать, что есть книги, которые ты пишешь сам, а есть книги, которые пишут тебя, твою судьбу, в результате чего складывается личность со своим характером, своей стилистикой?

Э. ДОКТОРОУ. Да, именно так. Когда пишешь, то чувствуешь, что вот это твое дело, тогда и происходит вот этот процесс постижения — о, посмотри-ка, что получилось, не удивительно ли это? И я должен сказать, что вот эта работа никогда не воспринимается вами как ваша работа, это всегда можно сравнить с альпинизмом: если он покоряет какую-нибудь высоту, то он никогда не думает, что это вот вся гора и есть, оглядывая то, что он уже прошел, что уже принадлежит ему.

А. ТКАЧЕНКО. В этом смысле порой литературное, интуитивное постижение действительности бывает гораздо выше, чем научное. Подобный феномен идеи вашей горы для альпиниста возник сейчас с использованием науки. Я имею в виду трагедию Чернобыля. Не секрет, что ученые порой слишком самоуверенны и не слушают писателей, которые, может быть, за счет какого-то седьмого чувства, досконально не зная законов, могут подсказать значительные вещи практикам науки. Мне кажется, что отдельные исследователи как бы приникли к микроскопам и видят мельчайшие подробности мира, философски не связывая это с общей картиной мира. Обвинять их трудно, ибо все настолько специализировалось, что, может быть, у них просто не хватает сил и времени для такого подхода.

Э. ДОКТОРОУ. Я должен сказать, что полностью согласен с вами. Ведь первооткрывателями атома, а мы с этого начали наш разговор, были писатели, а не ученые. Это они и есть те самые фаусты. Я считаю, что Чернобыль — это ужасная трагедия. Но если действительно что-нибудь позитивное, что-нибудь стоящее можно извлечь из уроков Чернобыля, из тех жертв, которые были в результате этой беды, то одним из этих уроков должно быть следующее — человечество не может играть энергией солнца без того, чтобы эти

игры не привели к ужасным последствиям для человечества. Я лично придерживаюсь того мнения, что сейчас уже нет такого понятия, как использование атома в мирных условиях. Мы никогда не сможем овладеть атомной энергией потому, что это энергия солнца. И я считаю, что те атомные станции, которые существуют здесь и у меня в стране, — это те же самые бомбы, которые мы засадили на нашей же собственной земле. Если было бы только в моих силах, я бы закрыл все атомные станции в мире. И я бы разобрал все и каждую бомбу, все и каждую ракету.

А. ТКАЧЕНКО. И думается, что можно было бы найти место, где их похоронить навсегда, тем более что сторонники такого шага считают это вполне осуществимым.

Э. ДОКТОРОУ. Мы начали нашу беседу с легенды о Мефистофеле, а хочу, чтобы закончили легендой об Икаре, который забрался слишком высоко, слишком близко к солнцу. Солнце обжигает всю нашу планету, и если только хоть одна бомба будет взорвана, то вся земля взорвется.

А. ТКАЧЕНКО. Да, тем более что не исключается возможность прикосновения луча из космоса ко всем ядерным запасам, и мирным, и военным, и тогда — все, все... Потом никто не докажет, откуда это.

Э. ДОКТОРОУ. Да, я полностью согласен с вами.

А. ТКАЧЕНКО. И в этом смысле ужасно, что у современного человека появился пессимизм в отношении к будущему. Думаю, что надо искать совершенно иные подходы к ядерной проблематике и находить нестандартные решения, чтобы избавить душу человека от этой тяжести и дать ей возможность догонять тот самый разум, о котором говорили вы.

И вот я хочу спросить вас о следующем: на русских писателей влияли многие американские прозаики, поэты. Это никогда не скрывалось, да это и видно. К примеру, на В. Маяковского повлиял ваш У. Уитмен своей масштабностью, глобальностью мышления, может быть, тем типом изменяемого мышления, о котором мечтаете вы. А кто из русских писателей повлиял на вас? Может быть, Достоевский?

Э. ДОКТОРОУ. Я скажу вот так — я хочу просто перечислить те музеи, которые я посетил за время пребывания у вас в стране: в Москве это был дом-музей Л. Толстого, в Ялте — А. Чехова, а в Ленинграде — Ф. Достоевского.

Постскриптум:

Через три года после этой беседы судьба снова свела меня с Доктором. Это было в Америке в 1988 году, когда я более трех месяцев был членом международной писательской программы университета штата Айова. Доктор приехал в гости к тридцати писателям, собравшимся со всего света, чтобы прочитать лекцию о современной американской прозе, а затем выступить с чтением новых рассказов. Лекция его была блестящей, свои рассказы он читал академично, но за всем этим стоял очень ироничный и — ранимый человек. Естественно, он сразу же узнал меня и после обычных фраз и вопросов о проблемах нашей перестройки спросил об обещанной публикации беседы. И здесь я испытал все муки человека, который обещал, хотел и не смог, но не из-за собственной несостоятельности, а из-за несостоятельности всех наших тогдашних да и сегодняшних разговоров о свободе. Я что-то начал мямлить о все еще свирепствующей цензуре, о степенях наступающей свободы, конечно же, краснея... На небольшой пресс-конференции для участников программы в числе многих вопросов я спросил о русских поэтах, которые ему нравятся. Э. Л. Доктор ответил, что ему очень близки О. Мандельштам, Н. Гумилев, затем, взглянув на меня не очень приветливым взглядом, добавил: и В. Маяковский...

Мы продолжаем публикацию читательских писем, пришедших на конкурс «Исповедь поколений: о жизни и о себе». Авторы писем касаются темы «Точка опоры».

Напоминаем, что в проведении конкурса принимает участие независимая Служба изучения общественного мнения УР (руководитель — проф. Б. А. Грушин).

Ждем ваших ответов на вопросы анкет в №№ 10–12 1991 года и в №№ 1–3 1992 года.

ВСЕ-ТАКИ РЕШИЛСЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ в «Исповеди поколений». Вдруг моя точка зрения покажется хотя бы любопытной? Итак, начинаю.

Сначала представлюсь: Дмитрий Попов, 26 лет, образование высшее, работаю инженером на заводе. Короче, рядовой среднестатистический советский гражданин (не был, не участвовал, не состоял, родственников за границей не имею, к несчастью). Живу в славном пролетарском городе Волгограде с помпезным центром, серыми и грязными окраинами (все, что сразу за центром), кучей заводов, пустырей, множеством рек (водопроводного происхождения), где основной досуг людей заполнен работой на так называемых дачах, пивом, семечками, футболом и рыбалкой. Несмотря на вышеперечисленное, город свой люблю и после института сознательно вернулся из столицы домой.

Ощущение кризиса наступило сразу, как только я начал свою трудовую деятельность на благо народа. Увидев то болото, которое собой представляет едва ли не лучшее предприятие города, и ощутив на собственной шкуре прелесть социалистической экономики, когда ты и твои знания вообще никого не интересуют, а зарплата так и просится называться зарплатой, захотелось убежать как можно дальше (и желательно западнее, но, увы, туго с родственниками) и забыть весь этот производственный бред. Но в то время (почти пять лет назад) существовали лишь государственные монстры, а спекуляцией, то бишь бизнесом, мешал заниматься природный оптимизм, который позволял быть уверенным в лучшем будущем (совершенно напрасно). Пометавшись, как ослик Иа, который искал лучшей жизни на другой стороне озера, убедился, что «на той стороне то же самое», и остался на «родном» заводе, полностью дисквалифицировавшись за пять лет.

Штоточно-продовольственного кризиса я как-то не замечаю, так как, сколько себя помню, всегда были проблемы с покупкой чего-либо более-менее приличного, и данный кризис для меня — привычное состояние. Именно это «привычное состояние» вкупе с «любимой работой» и приводит к перманентной депрессии и полустрессовому состоянию. Стоит только заняться самокопанием, чтобы прийти в ужас: вроде бы неглупый, симпатичный, общительный, веселый человек (простите за нескромность) под 30 лет не имеет своего жилья (приходится жить с родителями в тесной двухкомнатной квартире), приличной одежды с обувью, качественной еды, кофе по утрам в близлежащем кафе, выбора театров, выставок, концертов, возможности мир посмотреть, наконец, а впереди — туман и серые будни. Иметь семью, детей в таких условиях просто преступно (перед своими детьми в первую очередь). Остаются только спорт, книги, пресса, природа, Волга и любимый больной город. Друзья далеко (все остались в Москве), для родителей мои проблемы, — как для инопланетян (все так живут, и ты должен — вот их логика). Иной раз просто не с кем поговорить: на работе разговоры о ценах, гнусных и коварных начальниках, о мелких житейских радостях, например, по поводу удачной покупки яиц и т. д.

Люди теряют свою индивидуальность, личностей уже не видно за стройными очередями к пивному ларьку, нация вырождается, и остановить все это может только освобождение человека во всех сферах. Начиная свободой выбора занятий, кончая выбором места жительства и сексуальной ориентации.

Природа создает всех разными: умными и глупыми, красивыми и не очень, оптимистами и пессимистами. Она как бы сама закладывает в человека его программу, и никакие гдусударственные структуры не должны мешать ее реализации, ибо природа не терпит вмешательства в свои дела и все нецелесообразное просто уничтожает, так как в конечном счете это грозит самому ее существованию. Вот почему нежизнеспособно социалистическое государство, ведь оно направлено в первую очередь против свободы выбора человеком своей судьбы, а значит, и против самой природы. Я верю в человеческий разум как часть высшего разума природы, который не допустит самоуничтожения. Если не верить в это, то не стоит и жить, очень хочется увидеть, чем все закончится. Вдруг не выродимся?

Дмитрий ПОПОВ,
г. Волгоград

ЧЕСТНО ГОВОРЯ, Я СОВСЕМ НЕ СОБИРАЛАСЬ ВАМ ПИСАТЬ. Но я прочитала в вашем журнале, то есть в моем журнале «Юность», о конкурсе и подумала: «А вдруг?..»

Мне 20 лет, я студентка предпоследнего курса иняза, факультет французского языка. И мне бы хотелось сказать несколько слов на тему необходимости выбора. Стремительно изменяющийся мир? Ценности, еще вчера бывшие бесспорными, утратили свою состоятельность? Где найти точку опоры?

Я не мудрец, но я сделала одно открытие: я создала свой мир. Я нашла убежище в книгах. За все это я вдвойне благодарна своему институту и своим педагогам. Это мой мир, и в нем я счастлива, несмотря ни на что. Это все, что мое, и я знаю, что в этом мире нет бед и ненастий, а есть чистое голубое небо со звездой. Мои стихи, мои романы, мои новеллы, мой Альбер Камю и Сомерсет Моэм, мой Марсель Пруст и О. Генри, мой Франсуа Вийон и мой Гийом Аполлинер...

Где же взять мне сил? Ответ прост — открыть любимую книгу, и они все придут на помощь. Они меня понимают. Как сохранить и проявить себя? Спросите у Бертольта Брехта и Федерико Гарсиа Лорки, у Патрика Модiano и Робера Мерля. Они знают. Они всегда правы. С их помощью я могу открыть для себя то чистое и нетленное, что мы давно уже утратили... Это то, о чем сказал Кен Кизи в своем гениальном произведении «Полет над гнездом кукушки»: «...прошлое, куда мы смогли бы вметать себя».

Вот в принципе и все, что мне хотелось бы сказать. И еще, если можно. Это абсолютно свободный перевод стихотворения французского поэта Марселя Моложи.

Я болею Парижем,
Там, где воздух недвижим,
Где печальны дома и насмешливы крыши,
Где лиловым плащом закрывается вечер
И где воздух метро так волнуя и вечен,
Я болею Парижем...

Я болею тоской по спокойствию Сены,
И мне спится всегда, где бы только я не был,
Силуэты мостов и гранит парапетов,
И свинцовой волны несмолкаемый лепет,
Я болею Парижем...

И зимой, что приносит нам слякоть и лужи,
Я не чувствую часто ни ветра, ни стужи,
Все, что сбыться могло, все же стало мне ближе,
Пусть останется так:

я болею Парижем.

Ольга ЗУБКОВА,
г. Нижний Новгород

Я ДУМАЮ, НЕ ОЩУЩАТЬ КРИЗИС СЕЙЧАС НЕВОЗМОЖНО. Это так же абсурдно, как отрицать его существование. Кризис существует, но он столь многообразен (мне не хотелось бы говорить: всеобъемлющий), что каждую жизнь ломает по-своему.

Кризис экономический... Он коснулся нас всех, и, я уверена, не он самый тяжелый, хотя и может привести к последствиям самым страшным. Кризис идеологии, он же кризис веры... Я думаю, мы — поколение, менее пострадавшее от него. Мы ни во что и не верили, мы не имели кумиров — нам некого и свергать. Среди моих сверстников (двадцатилетние) есть люди, верившие жомсомольским идеалам, есть

люди, отвергавшие их с яростью, достойной предыдущих диссидентских поколений. Но первые безболезненно развелись; вторые — успокоились, а большинство, по-моему, всегда было равнодушно и к политике, и к экономике, и к своей стране.

Судьбы России, мучившие не одно поколение людей, нашему — малоинтересны. Это ни хорошо, ни плохо. Про нас можно сказать: бездуховны, а можно сказать: свободны, все зависит от точки зрения. Но есть область, в которой кризис нашего государства видоизменил нас всех. Мы — едва ли не первое в нашей стране — поколение не идеалистов. До нас были хануки, а были хиппи, но все они были идеалистами. У нас нет идеалов, мы люди трезвые, среди нас мало бесребренников, но много людей, которых интересуют будущее и свое дело. Может, я ошибусь, но скажу: мы будем первым поколением деловых людей (не одиночки — поколение), если сумеем...

Что же до меня? Как кризис отразился на моей личной судьбе? Очень просто. Очень обыденно и очень болезненно для меня. Я уезжаю в Израиль. Там уже многие мои друзья, и у меня нет эмигрантских иллюзий. Там не рай, но здесь уж больно похоже на ад. Я написала: мы будем поколением деловых людей... Хотела добавить, но не рискнула: если выживем... Так что кризис существует — ломает устои, мировоззрение, жизни. Как мою, например, вынуждая к эмиграции тех, кто никогда не хотел эмигрировать.

Исходя из этого, уверена, что главный перелом в моей жизни еще впереди, когда придет разрешение на отъезд, когда придется делать окончательный выбор и первый необратимый шаг. А до того? Переломные моменты? Конечно, были. Обыкновенный кризис роста. Мне 20 лет, и, естественно, я прошла (думаю, что не до конца) через очень сложный, мучительный период осознания. Когда некуда было деться от вопросов: чего хочу и что делаю? И зачем? Когда на них нечего было ответить. Я и сейчас не знаю тех ответов, но поняла: главное, не ответить, главное, задать вопрос.

А в 18 лет переживала болезненный период, когда ломался бессознательный стереотип жизни. Жила, как все: училась в школе, поступала в институт, не поступила, работала, поступала опять... Что-то делала, чем-то интересовалась, с кем-то общалась. Не осознанно, по инерции. И вот, уже учась в институте, задумалась: зачем? И растерялась перед беспощадностью этого вопроса. Много теперь изменилось, в частности, институт пришлось бросить. Сейчас я уже понимаю, что осознание — это не поступок, а процесс, который может продолжаться всю жизнь и в какой-то мере сам является целью... Но тогда пришлось очень тяжело.

Мне кажется, я ответила частично и на третий вопрос. Волновали ли меня проблемы самоопределения, как сохранить и проявить себя? Да, как каждого из нас. И даже меняющийся мир тут почти ни при чем. Это возрастное. Уверена, что каждый человек проходит через кризис неопределенности и ищет свою точку опоры. На что опираться мне... Пока не знаю. В нашем мире действительно все так неустойчиво, так сложно сохранить равновесие. Мне кажется сейчас безумием искать точку опоры извне, она должна быть изнутри. Тем более, что опора извне всегда ненадежна, и, думается, не только в наши дни. Опора же изнутри... это дело очень личное. Чтобы сохранить и проявить себя, нужно для начала себя создать. Это и есть моя ближайшая цель. Думаю, если сумею достичь ее, никакому времени не под силу будет сломать мою жизнь, как оно ломает ее теперь.

Т. ЖАРОВА, 20 лет, среднее образование, учусь в библиотечном техникуме, г. Санкт-Петербург

Я ПРЕТЕНДУЮ НА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ. Я отношусь к людям, испытывающим тягу к литературному творчеству. Поэтому позвольте мне не помогать социологам, ибо, несмотря на свой возраст (22 года), уже имею определенные привычки при рассуждении на заданную тему.

Так, отвечаю для себя ключевые слова — «исповедь» и «точка опоры» — и берусь за перо, обещая быть предельно честной при изложении своих мыслей.

Точка опоры. Точка... Одна точка?! Оплот спокойствия и надежности, уверенности и незыблемости. Я не хочу такую точку опоры. Она будет мне мешать, накладывать

ограничения на мои постоянные стремления к движению и переменам. Или ее надо будет все время тянуть за собой, вечно оглядываясь, не потерялась ли она, или все время вращаться неподалеку от нее, чтобы не потеряла она своей надежности (и, главное, необходимости). Это скучно.

Может быть, совсем без нее? Абсолютно ни к чему не привязываться, ни к чему не стремиться, ни от чего не зависеть. Тоже скучно, ибо очень одиноко.

Значит, все-таки нужна. Но какая? И где найти эту маленькую точку опоры, от которой можно оттолкнуться, попробовать взлететь? Если не получится, вернуться обратно и попробовать еще раз. А если пролететь задуманный маршрут, то найти другую, снова оттолкнуться, если будут силы, или отдохнуть, если они меня покинули. Пожалуй, что так.

Дом. В который можно вернуться и из которого можно уйти. Где будут ждать и поймут, или я буду ждать и стремиться понять. Привычки и уют, иногда бесконечно надевший своей неизменностью и тянувший к себе уверенностью, что никто этого не отнимет. Дом... Моя самая первая и самая надежная точка опоры.

Москва. Я стою на Соборной площади, иду по набережной, по старым улицам и площадям, мимо храмов и особняков. Они умеют говорить и умеют молчать. У них свой дух, его надо только понять и почувствовать. И я понимаю, чувствую, и не могу без этого. И я же чувствую жуткую усталость от однообразных маршрутов, от городского транспорта, от надоевших лиц и надоевших проблем. Я убегаю в другие города. Они то притягивают, то отталкивают. И я снова хочу домой. Москва... Моя самая большая и неизменная точка опоры.

Работа. Я говорю себе: это только средство к существованию. Но я существую и на работе, среди людей, их характеров, привычек. Раздражаюсь от одинаковых дней и удивляюсь новым поворотам. Работа... Самая временная и порой самая неожиданная точка опоры.

Мечта. Разве можно на нее надеяться? Просто верить надоест! Избавиться от нее можно только сделав шаг ей навстречу или, наоборот, в сторону. Чаще всего в сторону другой. Мечта... Самая неожиданным образом точка опоры.

Искусство. Любимые книги, музеи, картины, звуки. События, связанные с их открытием для себя. Кажется, человечество столько раз достигало совершенства в той или иной форме, но никак не может остановиться. Все ищет и ищет дальше, сложнее, глубже. Искусство... Бесконечное множество прекрасных и вечных точек опоры.

Любовь. Я ухожу от тебя, опустив голову и пряча глаза от людей. Я передохну и пойду дальше: раз я не могу так, я смогу иначе. Любовь... Самая неустойчивая, вечно пульсирующая точка опоры.

Вера. Одни и те же своды, встречающие и провожающие всегда по-разному. Привычные лица. Одинаковые свечи, которые ставят разные люди с разными лицами. Вера... Самая сокровенная точка опоры.

У меня нет одной-единственной точки опоры, и я не хочу, чтобы она была, и считаю себя счастливым человеком. Я хочу продолжать учиться эти точки искать, находить, терять, видеть совершенно по-новому все привычное и даже надоевшее. Хочу, чтобы моя жизнь была сложной траекторией, состоящей из различных точек, по которым нужно идти, уставая, ошибаясь, возвращаясь и снова уходя.

Ирина УЛЬЯНЕНКО,

22 года, москвичка, студентка 6-го курса МИТХТ им. Ломоносова, вечернее отделение; место работы — издательство «Пресса», компьютерный набор.

БАНК

«СТОЛ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ФИНАНСИСТОВ

С новым коммерческим директором банка Андреем Лахтюховым беседует наш корреспондент Александр Малюгин.

Корр.: - Газета "Коммерсант", опубликовавшая, видимо, первую новость о назначении Вас, 24-летнего Андрея Лахтюхова, коммерческим директором банка "Столичный", обмолвилась, что Вы пришли в банковское дело из филологов, это верно?

А.Л.: - Когда я пришел в "Столичный", я еще филологом не был, еще не закончил институт. Все получилось довольно спонтанно. После возвращения из армии я продолжил учебу, но поступило предложение из банка, решил попробовать...

- С чего же начали?

- С должности эксперта, испытательный срок полгода, оклад 500 рублей. По тем временам - 89-й год - неплохие деньги. Постепенно впитывал то, что происходило вокруг, наблюдал, как более опытные коллеги принимали клиентов, открывали им счета, определенные термины крутились - запоминал. Практика, как известно, дает хорошие результаты. Ну, по правде говоря, я не столько в роли эксперта выступал, сколько был развездным что ли, встречался с клиентами. Это было либо выяснение обстоятельств, при которых они не вернули долги, либо что-то еще. Потом, всевозможные мелкие поручения, которыми всегда кишит банк.

- Давайте уж сразу пройдем все ступеньки до Вашего нынешнего назначения, чтобы далее к этому не возвращаться.

- После эксперта я стал заместителем начальника департамента внешнеэкономической деятельности. Занимался связями с Внешэкономбанком, валютными операциями. Затем последовало назначение на должность начальника холдингового управления. Контролировал и координировал работу тех компаний, где мы имеем свой капитал, где являемся учредителями.



- Тогда, в начале, к Вам, которому было чуть больше 20-ти, относились со всей серьезностью?

- Более того, где-то недели через три и спрашивать стали со всей строгостью. У нас в банке весьма жесткое воспитание. Проработав месяца два, я понял, что смертельно устал. Очень высокий темп.

- В должностной иерархии "Столичного" Вы сейчас кто? Кто над Вами?

- В первую очередь, председатель правления банка А.П. Смоленский. А потом идут директора, которые, в принципе, равнозначны. Есть совет директоров. Потом, существуют, конечно, и какие-то возрастные отношения, учитывается и то, кто создавал банк (я его не создавал), вклад каждого в это дело.

- Кстати, как Вы считаете, какое место в системе наших банков занимает "Столичный"?

- Я думаю, в первой пятерке. Инкомбанк, Кредобанк,

ИЧНЫЙ:



СТОИЧНЫЙ

БАНК

113095 МОСКВА

ул. ПАТНИЦКАЯ 72

Тел. 233 5892

Телекс: 411700

PTBSUSTOBANK

другие... боюсь обидеть кого-либо.

- Скажите, сейчас, в данный момент, счет в престижном "Столичном" может открыть любое юридическое или физическое лицо? Или Вы как-то избирательно подходите к своим будущим клиентам?

- У нас вот уже два раза происходило перенаполнение, если так можно выразиться, клиентурой. Возможности нашего операционного зала были ограничены. Банк должен держаться за клиента и, следовательно, обслуживать его хорошо. А очереди нас не устраивали, хотя клиенты к нам шли и говорили, что готовы стоять в очередях. Наш операционный зал переехал уже в третий раз, и открытие счетов возобновлено. Любое юридическое или физическое лицо может открыть в "Столичном" как рублевый, так и валютный счет.

- Центральный банк России, если я не ошибаюсь, "отпустил" кредитные ставки. Каковы они сейчас в "Столичном"?

- Порядка 35-38 процентов годовых. Для межбанковских кредитов около 30-32 процентов. Но бывают, разумеется, исключения. Пока клиентов это устраивает. Банк вообще консервативная организация, он дает деньги в такой нестабильной обстановке, при такой бешеной инфляции, которая гораздо превышает эти 35 процентов годовых. Тем не менее, банки не могут сейчас гнаться галопом за производителями и магазинами. Банки, хотя они того или не хотят, все-таки искусственно сдерживают инфляцию.

- На какой срок сейчас "Столичный", как правило, дает кредиты?

- Когда обстановка с рублем была более-менее стабильная, в основном, были годичные кредиты. Сейчас тоже стараемся давать на год, но предпочтительнее все же месяца на три, на полгода.

- Ну, хорошо. Вернемся к Вашему новому назначению. Вы наверняка пришли на эту должность с какой-то программой, и наверняка она рассматривалась перед решением кадрового вопроса...

- Честно говоря, четкой программы не было. Но планы, разумеется, есть. Для начала нужно создать достаточно мощное коммерческое управление. Оно существует и сейчас, но уже претерпевает большие изменения, трансформируется и будет выглядеть по-другому. Какие будут новшества? Будет фондовый отдел, торгующий ценными бумагами. Будет дилерская группа. Из технических новшеств для нас, впрочем, и для всей России тоже - система "Swift" межбанковской связи. Уже заключены контракты, уже нам поставляют некоторое оборудование. Международная система "Swift" выгодна как клиентам, так и банку, поскольку позволяет гораздо быстрее производить операции, иметь четко налаженную связь практически со всеми банками. Что касается других технических новшеств... Возвращаясь к дилерской группе, это так же обширные каналы связи, которые предоставляет нам одно из очень известных западных агентств. В структуре банка так и останется холдинговое управление. Из департамента внешнеэкономической деятельности будет создано несколько отделов.

- Вы говорили, что банк является учредителем и имеет капитал в других крупных предприятиях. Каких, если не секрет?

- Смотря какие считать крупными. Есть такие, у которых большой уставной фонд, но они не являются крупными по обороту, по реально проделанной работе, операциям. Что касается наших предприятий,

то я считаю, что почти все они работают достаточно успешно. Мы являемся, в частности, крупнейшими акционерами АО "Дженерал лизинг", есть значительный капитал в страховом обществе "Союзник", АО "Криокор".

- "Столичный" ведет сейчас операции только на территории России? Существуют ли у Вас какие-то филиалы в странах, так сказать, Содружества?

- У нас есть филиалы, правда, ничего пока не могу сказать об их дальнейшей судьбе. Есть у нас филиал в Казахстане, в Выборге, два на Украине, один из них уже преобразовался в самостоятельный банк, где мы являемся просто акционерами. Правда, акционерами мы являемся в рублях, а на Украине сейчас неизвестно какая валюта... Надеюсь все же на какие-то изменения в законодательстве, которое должно, в конце концов, упорядочить межбанковские отношения. Так вот, в одностороннем порядке разорвать все связи, финансовые, хозяйственные...

- В том же "Коммерсанте" промелькнуло, что Вы стремитесь привлечь западных партнеров к финансированию каких-то проектов в России...

- В первую очередь, это проекты, связанные с Москвой. У нас их много, и, естественно, сами мы их все не осилим. К примеру, нашумевший проект с Московской кольцевой автодорогой. Мы выступили с инициативой создать дирекцию по МКАД, которая занялась бы, в свою очередь, созданием акционерного общества с привлечением иностранных инвесторов в том числе. Целью АО будет являться реконструкция кольцевой автодороги, замена полотна, установка освещения, строительство инфраструктуры - стоянок, гаражей, магазинов, закусочных и пр. Проект очень большой и капиталоемкий. Тем не менее дирекция уже работает, хотя некоторые партнеры с определенным скепсисом смотрят на это дело. Но я думаю, оно нам удастся. Какие-то технологии будут привлекаться с Запада, детали инфраструктуры - бензоколонки, скажем, закусочные. Что касается основного - реконструкции дороги - ее будет осуществлять советская, бывшая советская сторона.

- Есть ли у вас планы проникнуть на западный финансовый рынок, открыть там, скажем, филиалы "Столичного"?

- Безусловно. Для начала хотелось бы освоить финансовые рынки Германии, Австрии, Швейцарии, Голландии. Эти страны, в первую очередь, Германия, созрели для того, чтобы обмениваться капиталами и всем остальным со странами третьего мира, к которым мы сейчас, к сожалению, относимся. Там есть неограниченные возможности для сотрудничества. Но это отдельный долгий разговор.

- Эта роль - коммерческого директора банка - Вас устраивает на ближайшем, скажем так, году?

- Вы знаете, как это ни банально звучит, можно всю жизнь проработать коммерческим директором и всегда открывать для себя что-то новое. Человек на этой должности обязан быть в курсе и всего того, что связано с коммерцией, и с "ноу-хау", и со всевозможными мировыми открытиями. Здесь нет "потолка". А если вы намекаете на то, что вот, мол, я бросил "чистую" филологию и кинулся в "грязную" коммерцию и доволен жизнью... Между прочим, на мой взгляд, финансисту ближе гуманитарный склад ума, гуманитарное, нежели техническое образование.



**Михаил
ЗАДОРНОВ**

ЧИ-ЧИ-ЧИ-ПИ!

Вот и наступило долгожданное время демократии. Наконец-то демократы отобрали у коммунистов все их привилегии и взяли себе! Власть, дачи, машины, поликлиники, а в некоторых районах даже охотничьи угодья вместе с охотничьими домиками и заранее убитыми кабанами.

Свобода! Демократия! Гласность!

В результате нашей гласности радиостанция «Свобода» не знает, как вести свою пропаганду. Редакторы говорят: «Мы только что-нибудь сегодня придумаем про вас из ряда вон выходящее, а вы уже вчера это сами воплотили».

В ЦРУ началось серьезное сокращение штатов. У них был десятилетний план развала СССР. Мы этот план опередили на одиннадцать лет.

Весь Запад в растерянности. Нет страны, на которую списывались все грехи человечества. На вопрос за границей: «Из какой вы страны?» — не знаешь, как отвечать. СССР?

Однажды ко мне в Италии подбежал восторженный итальянец и, показывая на мою майку, на которой было написано «СССР», радостно воскликнул: «О! Чи-чи-чи-пи! Чи-чи-чи-пи!» Зачиркал так. Оказалось, «СССР» по-итальянски произносится как «Чи-чи-чи-пи». Вот! Мы все из Чи-чи-чи-пи! Точнее названия нашей стране придумать невозможно.

Зато демократия! Зато свобода! Зато гласность!

Постаменты памятников исписаны буквами в метр: «Позор ГКЧП, ДНД, ВКК, ШПД». В Москве досталось даже памятнику Карлу Марксу. Ему-то за что? Тихий немецкий алкоголик, мечтавший в пивных о демократии, за три дня пострадал от российских демократов больше, чем за все предыдущие годы страдал в Москве от голубей!

Ничего не поделаешь — демократия!

Все бастуют. Грозится забастовать навсегда даже Аэрофлот. Но это никого не пугает. Никто не может понять, чем будет отличаться забастовка его сотрудников от их работы.

Бастуют целые города. Требуют, чтобы им завезли колбасу. Им завозят, но тут начинают бастовать соседние города, и колбасу увозят туда. Объявили голодовку даже учителя. Их тут же поддержали ученики — просят бастовать подольше.

Демократия!

В газетах мат. Солдаты продают за валюту свою форму.

При тюрьмах открываются казино для заключенных. В президенты свободно баллотируются желающие. Из ста человек половина отсеивается сразу на диктante. Потому что с ошибками пишут слово «президент».

В подземном переходе сидит нищий с ондатровой шапкой. Лицо килограммов 60 весит. Над шапкой надпись: «Беру только валютой!»

— Скажите, каким вы представляете наше будущее через 20 лет?

— Как я могу говорить о нашем будущем через 20 лет, если я даже не знаю, каким через год будет наше прошлое!

В Казани на митинге демократов сожгли портрет Ивана Грозного. Сожгли его портрет за присоединение Казани к России. Осталось русским потребовать, чтобы татары вернули им дань. Причем с процентами, набравшими за это время.

Зато свобода! Зато демократия!

С наступлением демократии в Закавказье с новой силой вспыхнула дружба народов! Прибалтийские демократы объявили остальные национальности людьми второго сорта. Предложили организовать комиссии по распределению людей на первый сорт, второй и бракованных.

Свобода!

Русские теперь свободно во всем обвиняют евреев. Говорят, что даже серп и молот — тайный знак обрезания. Ну серп — это еще понятно, но молот тут при чем?

Наша дружба народов — это когда все народы объединились дружить против русских. Мне в Литве официант говорит:

— Я вас, русских, ненавижу. Вы второй сорт!

Я ему предлагаю:

— Давай выпьем!

Он отвечает:

— Давай!

До утра дружили. Утром нас вместе в полицию забрали. За то, что мы на центральной площади пели, объявляя: «Русский с китайцем братья навек». Причем интересно, что он русским был, я — китайцем. Поэтому меня как иностранца отпустили, его оставили как представителя второго сорта.

Демократия!

Страна размножается со скоростью многоклеточного микроорганизма. Отделились даже манси. Они отделились от ханты. И посол ханты в Манси послал манси в Ханты.

И ничего смешного. У манси теперь серьезная проблема. Их признали 87 стран мира, а их всего 64 человека. Не хватает слов. Будут набирать среди хантов. Называться будут «манты»...

— Это наши демократы во всем виноваты, — уже раздается в народе.

Они такие же не демократы, как те были не коммунисты! Есть древняя мудрость: «Каждый народ имеет то правительство, какое он заслуживает».

Так что дело теперь за малым, демократия у нас уже есть — оста-

лось найти демократов.

Иначе так и останемся не страной, а «Чи-чи-чи-пи».

ОБНОВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ

Если мы хотим обновить нашу жизнь, главное — это не экономика. Нет! Главное — это навсегда покончить с нашим коммунистическим прошлым.

Месяц октябрь надо переименовать. В август. Пускай два августа будет. Разберемся. Один август будем писать с большой буквы. Детей впредь соответственно называть не октябрюта, а августята. Также переименовать всех Феликсов и Владимиров Ильичей. Девочек — в Августин, мальчиков — в Борисов Николаевичей.

Артистам Ульянову и Крюкову немедленно поменять фамилии.

Ничего страшного — привыкнем. Привыкли же мы сразу к словосочетанию Санкт-Петербургский горисполком. Когда, кстати, к ним на самолете летишь, тебе прямо говорят: «Вас приветствует ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции Аэрофлот города Санкт-Петербурга!»

А вот о переименованиях должен заметить, что они очень дорого нам обходятся...

Мало ли еще какие путчи будут. Надо сразу улицы называть на века. Скажем, улица имени Последнего победителя!

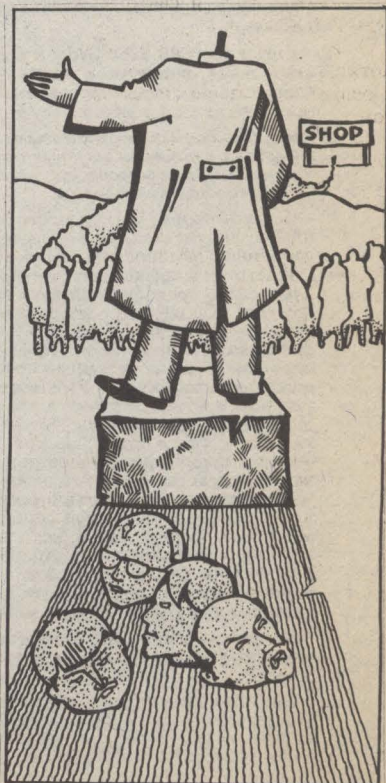


Рисунок Константина Седова

Памятники сносить — тоже дорожное удовольствие. Предлагаю их переименовать. Загримировал Ленина — написал: «Менделеев». А еще проще сразу делать памятники со скручивающимися головками и стемными кепками. Фигуры все равно у них одинаковые. И одеты из одного распределителя. А шею — под стандартный гаечный ключ. Только новый переворот случился: хоп-хоп — и к утру все с новыми головками стоят.

Алкоголик с вечера принял под Свердловым, проснулся под Гаврилом Поповым. Руки у всех должны приводиться в движение червячной передачей... Чтобы легко менять было указание направления, куда теперь идти нашему народу.

Далее о реформах...

Надо всем раздать анкеты с вопросом: «Где был во время путча?» Поэтому это время у нас разделилось на «до путча» и «после путча». Вроде как «до нашей эры» и «после нашей эры». В Москве, кстати, такой эксперимент уже дал вполне положительный результат. Согласно ответам трудящихся, на площади у «Белого дома» в роковую ночь было девять миллионов москвичей.

Еще... Усиливается властями пропаганда религии. Это хорошо. Но надо дальше идти. У каждого горисполкома сразу строить свою церковь. Чтобы грехи можно было замаливать, не отходя от работы. Как хорошо будет! Издал указ — побежал молиться!

Пионерскую организацию можно сохранить, но принимать в пионеры надо в церкви. Клятву пионера только немного изменить: «К борьбе за дело отца и сына и святого духа — будь готов! Аминь!»

С коммунистами надо заканчивать. Хотят, пускай у себя дома по вечерам в одиночестве занимаются ленинизмом.

Памятники Ленину можно продать ГАИ. Их можно на дорогах использовать, как поворотные указатели: «Вам направо! Вам налево! Вы верной дорогой едете, товарищи!»

Музей Ленина, по просьбе мэра Москвы, отдать мэрии. Мавзолей — мэру. Только вместо «Ленин» написать «Мэрин». А самого Ленина надо отвезти в Финляндию. Он всегда там скрывался, когда на него гонения начинались. Так что его обратно в шалаш.

Газета «Правда» должна выходить под новым девизом: «Пролетарии всех стран, извините!»

Наконец, всем нынешним руководителям надо присваивать дворянские титулы. Например, «князь Собчак». Красиво! В газетах тогда можно печатать светские новости. «Князь Собчак и маркиз Назарбаев, выкушав по чашечке какао, отправились в балет в окружении графов и фрейлин из облисполкома».

Вообще в обновленной стране в первую очередь должен быть обновлен язык. Больше надо употреблять красивых западных слов: президент, парламент, консолидация, ассоциация! Не важно, что в ней жулье одно, — ассоциация!

Приватизация. Либерализация. Как красиво звучит! Можно будет строить фразы: «Давайте с вами скинемся из семерых по пятьдесят и приватизируем бутылку водки и заедим либерализованными сырками».

Милицию везде надо переименовать в полицию. Солидно будет — полицейский! Не важно, что у него в кобуре огурец, а не пистолет. Не важно, что живот, как рюкзак альпиниста: рубашка не сходится. Между двумя пуговицами пупок торчит, на свисток похожий. Полицейский!

Мэры везде должны быть. Никаких председателей горисполкомов. Мэр города Талды-Кургана! Не важно, что весь город в колдобинах. Вон мэр поскакал по колдобинам. С префектом и губернатором на «Запорожце» скачут. И хорошо, что первые шаги в этом направлении обновления уже предприняты новым руководством. Губернатор штата Нью-Джерси, говорят, даже обрадовался, так, что заболел, когда узнал, что к нему в гости собираются мэр Сидорчук и шериф Анискин!

Словом, все слова менять надо. Не магазины, например, должны быть, а «шопы». Как на Западе. Все-таки красивее говорить: «Ничего нет, как в шопе!»

Кстати, на днях уже издан будет указ президента о первом официальном переименовании. Переименовывается «авоська». В «нихренаську». Так что впереди у нас красивая жизнь! Мэры, префекты и одна большая на всех нихренаська!

ДЕЛА НА ГОД

20 лет (конец 40-х)

Выучить английский, чтобы говорить на нем так же свободно, как Аркашка.

Закончить институт с отличием и всю жизнь беззаветно служить делу авиации под руководством родоначальника авиации товарища Сталина.

Бросить курить.

Запломбировать два верхних зуба. Войти в сборную города по футболу и накопить 2 рубля 84 копейки на новую спортивную форму 46-го размера.

Сделать предложение Оле. И, если она откажет, жениться на Кате.

В медовый месяц съездить в Грузию. Говорят, там очень любят русских. В Тбилиси непременно посетить музей товарища Сталина имени товарища Ленина.

И, наконец, уговорить отца-ветерана встать в очередь на отдельную квартиру. А пока сделать замки на все кастрюли, чтобы соседи удавились от того, что не могут больше плюнуть нам в борщ!

30 лет (конец 50-х)

Как можно скорее закончить чертежи новой сверхзвуковой аэродинамической трубы, чтобы в институте все позавидовали тому, какой я замечательный инженер! И чтобы, вернувшись с симпозиума в Париже, Ар-

кадий дал мне старшего инженера.

Встать в очередь в партию.

Бросить курить натошак.

Накопить 7 рублей 80 копеек на новую спортивную форму 48-го размера.

Вырвать два верхних зуба.

Английский выучить до такой степени, чтобы мог на нем свободно читать со словарем. И за год прочесть всего Шекспира. Хотя бы в переводе Маршака.

Летом попытаться впервые выехать по туристической за границу. Или в Болгарию.

С родителями разехаться по-хорошему. Нам две комнаты, мебель, дети, книги. Им полное собрание сочинений Сталина и бабушка!

40 лет (конец 60-х)

Несмотря на ошибки в чертежах, как можно скорее собрать аэродинамическую сверхзвуковую трубу, чтобы, вернувшись с конгресса в Риме, Аркадий Михайлович сразу дал мне старшего инженера.

Накопить денег на дубленку — 400 рублей.

Помочь сыну-восьмикласснику бросить курить...

К зиме купить лыжи и по утрам делать полуторачасовые пробежки по балкону.

К лету похудеть настолько, чтобы в новых джинсах, которые Аркадий привез мне из Франции, мог не только стоять, но и сидеть.

Поставить два верхних зуба.

Вырвать четыре нижних.

Английский выучить до такой степени, чтобы мог на нем свободно читать англо-русский словарь.

От работы получить участок в Подмоскovie соток в тридцать и летом начать на нем строительство зимнего двухэтажного дома с гаражом, баней и лифтом.

Отца-ветерана уговорить встать в очередь на машину. Если не удастся на машину, то на «Запорожец».

Для этого добиться повышения зарплаты со 140 рублей до 180 и начать откладывать с них каждый месяц 360!

50 лет (конец 70-х)

Несмотря на ошибки в чертежах и неправильную сборку, запустить аэродинамическую трубу. И, если останусь жив, потребовать старшего инженера.

Накопить денег на дубленку — 800 рублей.

Договориться с хорошим зубным врачом для сына.

По утрам не забывать делать «ласточку», держась за жену или за косяк. В позе «ласточки» стараться не курить.

Английский выучить до такой степени, чтобы мог прочесть, что написано на джинсах, которые сын привез мне из Грузии.

Выучить песню «Малая земля» и петь ее на ночь вместо колыбельной внучке голосом автора «Малой земли».

Постараться получить где-нибудь под огород хотя бы сотки три... И поставить на них от дождя или вагончик, или газетный киоск.

«Запорожец» поставить на капремонт. Жену положить в хорошую больницу на обследование. И, когда жену выпишут с капремонта, съездить с ней в Прибалтику... Из прибалтийских лесов привезти какую-нибудь корягу, похожую на Аркадия Михайловича, поставить ее в прихожей и каждое утро, уходя на работу, пинать ногами.

А главное, уговорить отца встать на учет в продуктовый магазин для ветеранов, прозванный в народе «Спасибо Гитлеру!».

60 лет (конец 80-х)

Устроить внука в детский сад с английским уклоном и начать учить язык вместе с ним.

Попытаться вырастить на балконе хотя бы два куста с помидорами.

Выйти из партии.

Креститься.

Количество приседаний по утрам на балконе постепенно увеличить до трех.

У матери выменять на полное собрание сочинений Ленина пограничный тулуп отца. Продать его за 5000 рублей.

Заодно продать кому-нибудь из иностранцев за деньги или за рубли свою первую спортивную форму: майку с серпом и трусы с молотом по колону.

Летом с женой последний раз съездить за границу. В Прибалтику. Перед поездкой выучить язык глухонемых, чтобы, не дай Бог, не приняли за русских.

И, если вернемся оттуда живыми, уйти на пенсию, сменить старые обои цвета взорвавшейся плодоовощной базы, засолить грибов на зиму, попросить у дочери Толстого. Надо же его когда-нибудь в жизни прочесть...

Из морально устаревшей аэродинамической трубы сделать кондишэн для кухни, чтобы все запахи со сверхзвуком переносить к соседям.

70 лет (последняя запись в дневнике)

Вчера мне исполнилось семьдесят лет! Были Аркадий с Валецки!

Дорогих гостей встречали хлебом с солью. Правда, было на столе еще два крутых яйца, которые разрезали на четыре равные части...

Словом, веселились, как в двадцать. Аркаша много рассказывал нам о Париже, Венеции, Неаполе... Но самое главное — он завидовал мне! Тому, какой я замечательный инженер. В скольких странах он ни был, а такого кондишэна, как у нас на кухне, нигде никогда не видел!!!

Бахыт КЕНЖЕЕВ

ПОСЛАНИЯ И ОДЫ

Уехав десять лет назад из нашей страны, автор, подобно хоккеисту, устроился на жительство в канадском городе Монреале. Правда, этим обстоятельством не объясняется ни содержание его пародийных стихотворений, ни их форма.

Послание Тимур Кибирову, возражающее против выноса тела г-на В. И. Ленина из ордена Ленина Мавзолея Ленина имени Ленина

Тимур! Ты помнишь роковые часы, когда под выюги свист скончался лучший сын России и самый честный коммунист? С каким отчаяньем во взорах рыдали жены всей земли, когда в Москву его из Горок на скорбном поезде везли!

О, как возвышенно и смело мы поклялись в тот черный час, что Ленина святое тело отчизна тленью не отдаст! Шли дни, гремели юбилеи, коварный враг нам жить мешал, а вождь в гранитном Мавзолее покой торжественный вкушал.

Как символ нашей главной цели, лежал в гробу хрустальном он, и в сладком трепете доселе к нему приходил на поклон. Ужель, подобно скифам диким, мы надругаемся над ним, таким таинственным, великим, одушевленным и родным?

Отнюдь! Идейным погорельцам не обратить отчизну вспять! Ужель пустое имя «Ельцин» в восторге рабском повторять? В чреде грядущих поколений мы не забудем никогда, что нам сияет имя Ленин — как путеводная звезда!

Ода на падение большевистского режима, восхваляющая президента России г-на Б. Н. Ельцина и составляющая подражание известной оде Александра Сопровского «На взятие Сент-Джорджеса»

И се! марксизма пал оплот!
А. Сопровский

Восславим доблесть и свободу!
Я кровью сердца говорю,
когда в слезах слагаю оду
уральскому богатырю!

С него страна не сводит взоров,
и мир им очарован весь —
ужель из гроба встал Суворов?
Или Кутузов снова здесь?

Нет, не стяжатель старой славы —
иных времен передовик
для процветания державы
бесстрашно встал на броневик.

Не испугавшись негодьяев,
за ним восстала вся страна,
коварный посрамлен Янаев,
и Русь святая спасена.

И се, Тавриды скорбный пленник
вновь у кормила корабля,
и схвачен за руку изменник
в палатах древнего Кремля.

Ликуй же, росс! Твоя отчизна
освободилась от оков,
кошмарный призрак коммунизма
нас утратил — и был таков.

Кто от народа глаз не прячет?
Кто непреклонный демократ?
Кого страшится аппаратчик
и большевистский казнокрад?

Трехцветное вздымая знамя,
ты гордо, честно правишь нами,
вовек героем русским будь,
гроза врагу, утеха другу,
Борис! Булатную кольчугу
надев на пламенную грудь.

Послание подруге Зое в честь падения большевистского режима

Ты помнишь ли, милая Зоя,
весь коммунистический бред,
кошмарные годы застоя —
наследие сталинских лет?

В Европе — советские танки,
в России — цензура и мрак,
террор большевистской охраны.
Мордовия, Горький, ГУЛАГ...

Бывало, в мечтах беззаботных
зайдешь в угловой гастроном —
и видишь убитых животных,
лежащих в отделе мясном.

Мясник, полыхая здоровьем,
хохочет и рубит сплеча,
и ходит по спинам коровьим
тяжелый топор палача.

О, сколько таких преступлений,
над коими нынче дрожим,
свершил отвратительный Ленин
и сталинский гнусный режим!

Друзья, воспоем Горбачева,
за нас его сердце болит,
он честен, он даже корову
казнить без суда не велит.

А Ельцин! О доблестный Боря,
навек покоривший меня,
когда он с отвагой во взоре
Янаева сбросил с коня!

Прощайте навек, коммунисты!
Я с вами дружить не хочу.
У власти теперь гуманисты,
у каждого по калачу.

И вновь я ликую, и снова
душа пребывает в раю,
когда у прилавка мясного,
пустого прилавка стою.

ВСТРЕЧА



ВСТРЕЧА

Фото Феликса Титова

Журнал в журнале. № 11.

«Стоит познать истину, и истина сделает тебя свободным» — это утверждение верно лишь для каких-то небольших «доз» истины; истина же, тотальная, всеобъемлющая и грозная, сделает человека... нет, не рабом, но это будет качественно иное бытие, труднопредставимое в нашу эпоху и уж, конечно, не имеющее ничего общего с убогими «четвертыми снами Веры Павловны»...

Оглядимся вокруг — нет ничего легче, чем понять все убожество наших земных институтов и социально-цивилизационной обустроенности. Мы живем где-то в глубине древних веков, на большом отдалении от времени «царства Истины». Наша эпоха — это предрассветная ночь человечества. Но процесс познания мира зашел довольно далеко, и человечеству пора задуматься уже и о «конечном пункте». Попытки подобного рода были сделаны Достоевским в «Записках из подполья». Достоевский предполагает, что «хрустальный дворец» — символ «царства Истины» — должен вызвать у человека стойкую антипатию и первейшей ре-

Свободный микрофон

Алексей
БРУСИЛОВСКИЙ



акцией людей на него должен быть позыв к «разрушению и хаосу»; хотя тягой к разрушению и хаосу вовсе не исчерпывается человеческая природа, и у того же Достоевского можно встретить сколько угодно указаний на это.

Но по мере накопления знаний о мире человечество будет становиться перед все более и более катастрофическими явлениями. Наконец, наступит покой — покой «царства Истины». Тогда «Истина» будет управлять людьми (подобно компьютеру), в отличие от нашего времени, когда человек пытается управлять «Истиной».

«Но постойте, — скажет кто-нибудь недоумевающий, — не есть ли эта «Истина» то, что мы сейчас называем Богом?» Да, именно так, и сам процесс этот есть не что иное, как боготворчество. Сам этот процесс, само механическое, формальное накопление знаний о мире производится человечеством лишь для этой утилитарной цели — творения Бога, и вся человеческая история есть не что иное, как создание, творение Бога.

Мир не в каких-то астрально-духовных пределах стремится к Богу, но вся земная, физическая жизнь, основной ее вектор и направление, вся совокупная деятельность человечества есть не что иное, как боготворчество в прямом, реальном, «земном» смысле. В этом свете библейские предсказания о борьбе Бога и дьявола и победе Бога вполне отражают сущность текущего времени. Дьявол, его существование в истории является как бы индикатором, опознавательным знаком «древнего времени».

Человеческий мир «панрелигиозен»: он весь стремится к Богу — абсолютной справедливости, Богу — «хрустальному дворцу». Совершенно нелепо видеть религиозность лишь в поклонении персонифицированному божеству. Идея Бога как будущей справедливости, широко понимаемая религиозность разлиты во всем человеческом мире, и люди, пресерьезно называющие себя «атеистами», на самом деле не являются таковыми. Атеизм — это всегда временное, скоро преходящее состояние катастрофической дисгармонии личности и мира, ощущение тотальной несправедливости, обесмысленности мира, из такого состояния человек либо возвращается назад, в «Божий мир», либо канет в бездну. А так называемый «научный атеизм» марксизма-ленинизма — это вообще тот случай, когда «свято место пусто не бывает», в отличие от подлинного атеизма, характеризующегося именно пустотой «святого места».

Осуществляя никогда, нигде не бывшее царство справедливости, марксизм сам как нельзя лучше иллюстрирует формулу: «Сознание определяет бытие». Обратное обесмысливает весь исторический процесс, превращая его в какую-то нелепую абсурдистскую драму, лишенную всякого смысла, а объемный мир — в двухмерную плоскую фикцию.

Но откуда тогда сам идеал? — Из человеческого сознания, из глубинной человеческой сущности, из самой последней глубины, из человеческого нутра. Именно оттуда абстрактная идея выходит во внешний мир, на периферию человеческого сознания, реализуясь уже во внешнем человеческом бытии. Видимое «поступательное» движение, «прогресс», эволюция совершаются на периферии человеческого бытия, в глубинной же человеческой сущности царствуют неизменность и постоянность. Глубинное в человеке никуда не эволюционирует, эволюция человеческой цивилизации направлена на достижение тождественности, равенства, соответствия внешнего и внутреннего, которое на периферии человеческого сознания выступает в виде «золотого века», «хрустального дворца». Этот процесс, составляющий, в сущности, человеческую историю, можно сравнить с работой действующего вулкана, который через катастрофические извержения лавы и сотрясения стремится к устойчивому равновесию. Глубинная сущность человека внезапно, катастрофично, преждевременно прорывается на периферию. И здесь может возникнуть

вопрос: как распознать в нашем видимом мире, что принадлежит внешнему, а что внутреннему? Ответ прост: все то, что составляет понятие святости в нашем земном мире, принадлежит человеческой глубине. Результат излияния нутра наружу: инквизиция, коммунизм, фашизм, исламский фундаментализм — все это явления одного порядка. Болезнь бунтующей святости. Святость здесь растет неудержимо, она затопливает мир; вещи, ранее привычные, приобретают неслыханные очертания, провинциальный присяжный поверенный становится новым материалистическим мессией...

При этих преждевременных прорывах общественные институты стихийно перестраиваются по новой, неслыханной логике. Возникают «новый порядок», «новый мир». Все тоталитаризмы — это предельно убогие модели грядущего «Нового времени».

Церковь — и та является как бы недеиствующей моделью «Нового времени», сохраняемой человечеством для образца. Все основные черты «Нового времени» мы встретим в любой религии, в том числе в христианской. Самое «иррациональное» в ней (иррациональное только для нашего «древнего времени» — заметим мы), а именно проявление всеохватной любви к миру — характерная черта времени гармонии. Когда этот идеал пытаются осуществить до срока, появляется нечто нелепое и нежизненное — вроде толстовства.

При всей несхожести религий и идеологий, которые послужили основой для внедрения «нового порядка» или построения «нового мира», поражает схожесть институтов в отдаленных друг от друга обществах. Гроссман поразил общественное сознание, указав на тождественность сталинизма и гитлеризма, но истина лежит глубже: происходил не просто похожий, а один и тот же процесс — процесс излияния человеческого нутра на периферию. Болезнь бунтующей святости.

Чем толще периферийный слой человеческого общества, чем более человеческая общность занята сугубо «материальными» заботами, тем труднее прорваться нутру наружу. Примером может послужить современный Запад. Именно «бездуховность», материальность Запада являются стойким признаком «душевного здоровья» общества, и именно признаки «разложения» следует считать благом. И, напротив, там, где периферийный слой узок, там, где люди живут во власти какого-либо духовного идеала, — там есть все условия для катастрофического прорыва нутра наружу, что чревато неисчислимыми бедствиями.

Не пробуйте узнать, приблизилось ли «Новое время». Когда не понадобится сама «проба» («мировая революция» или что-нибудь в этом роде) — знайте: оно наступило.

г. Семипалатинск.



Междуречье

Новую рубрику «20-й комнаты» отталкивает от пристани ИГОРЬ МАРТЫНОВ, неисправимый собеседник, поэт, прозаик и распространитель новостей. Не в силах дознаться, какие из его мыслей могут претендовать на истинность, а какие — на правдивость, он — в прилагаемом ниже тексте — позволил себе незначительное раздвоение личности.



— «Конец века поспел вовремя, как заказывали. Пора спокойно вскрыть кингстоны, пусть из черной дыры хлещет, заливает будущее. Мы снова взяты с поличным на Родине, на месте нашего неизвестного преступления, для дачи ложных показаний. Так в чем сознаться? Что жизнь оказалась не такая уж короткая, что истории явно хватит на всех да еще останется? Что комиссары Минин и Пожарский в пыльных шлемах все так же призывно склоняются над нами? Что сомненья прочь, нас ждет огонь смертельный и окончательный суверенитет?..»

— «У нас есть алиби! По крайней мере последний год мы прожили смертью храбрых, практически не приходя в сознание. Мы прошли его напролом, отбрасывая прижизненные тени, и эти тени красиво устилали страну, родившуюся под знаком Слова».

— «В том-то и дело, что — слово. Не секрет, что — да, скифы мы, да, азиаты мы — и почитаем подлинными лишь те времена, сквозь которые, как водяные знаки, просвечивает литература, которые обеспечены золотым запасом слова. А бессловесные, немые, неартикулированные времена засчитываться не будут. Истории-то было вдосталь, но вот речей?»

— «Некогда прокашляться, осмотреться, суммировать пережитое. Еще герои бронетанкового августа не успели прищипить баррикадную фотку в семейный альбом, а уж труба сигналил очередное построение, уходим в аномалии Апокалипсиса!»

— «Уходим как-то молча. Именно по Вяземскому: мы богаты именами, но бедны творениями. Опять год помечен прошедшим временем, опять сплошное дежавю и бывшее в упо-

треблении. Всухомятку поглощаем мы литературные консервы, в порядке гуманитарной помощи подброшенные нам прошлым. И съедено все, за пазухой ни крошки, не осталось даже черновиков».

— «Дикие темпы всему виной. Тексты настигнуты, осалены временем. Над морем Черным и глухим обрывается не только Россия, но и вся отечественная литература. Наши-то труженики пера от Ясной Поляны до самого Вермонта куда как свыклись с должностью мессий. Будущее прозевали, заигрывали с жизнью... Вдруг оптом их домашние заготовки, заначки, задумки пошли в расход. Оказалось, это такие рукописи, что даже не горят! Теперь книги не сжигаются, они сразу гасятся, как облигации. Они разряжаются, и кругом полно стреляных гильз; редкий роман долетит до середины текущего года».

— «Не спорю, мы понесли слишком много утрат, самые сокровенные наши жданки реализованы. «Путч оказался мифью». И больше того: оказался блестящей опечаткой, подказкой, и неспроста литераторы инстинктивно потянулись на баррикады, причем с обеих сторон. Но роль поняли превратно, по-детски всеялась материализация своих эпистолярных пистолетов, пальбе чеховских ружей — вместо того, чтоб прямо у кюстерка зачать новое слово, пусть из опечаток. Не решились! Теперь зубрите сербохорватский алфавит: А... К... М... История подставлялась как умела, можно ли ее винить? А сами-то творцы-создатели чем отличились? Когда прожорливая «glasnost» засасывала в печать все подряд, один лишь Битов Андрей панически припрятывал свои неопубликованные тексты под матрац. Какая словесность без накопления, спецхрана, тайника? Но, руку положая, не ты ли сам сшибал пенки табу в своем журнализме? Не ты ли рассекречивал явки и выдавал имена? Дескать, там за плечами у меня целое поколение... Марсович, Кавадеев, Шарыпов, Гареев, Бартов, Якевич, Ежов... Ну на, держи альманах «Соло» (50.000 экз.) — они все печатаны, легализованы, растворены без осадка. Даже из артезианских колодезь издатели зачерпнули: Хвостенко, Лимонов, Буковский Чарльз, де Сад, Юрьенен, Гюисманс, Селин, Батай, Арто. Пропущены через типографские шпигунеры и забыты до смерти. Раньше, бывало, свырнешь на стол редактора полную авоську рукописного андеграунда... Сила команды измеряется длиной скамейки запасных. Наши запасные теперь все в игре. Сменщиков нет. Им просто неоткуда взяться, поскольку источник речевой генофонд, самый русский язык. Свержен режим словесного апартеида, и все наперегонки печатают Луку Мудищева, Юза Алешковского, прочих скабрезников, а то и в голом виде те лексические крамолы, что протомились в тюрьме отточий не меньше Манделы. Но, старина, не ты ли, пыжась, проталкивал в свет это сладкое слово «жопа», носился с ним, как с большим ребенком

на руках, кутал в пушкинские простынки? Ну, выходил, ну, пробил в печатню. И что же?! Дитя возмужало, дитя гуляет с кистенем по всем книжкам и журналам, не помня родства, а тебе больше нечего сказать! Растратчик! Мот!»

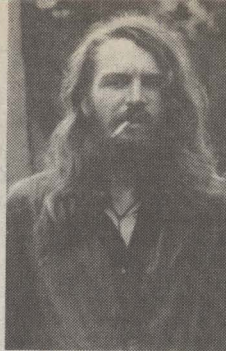
— «Давай разберемся. Я — Мартынов, ты — Мартынов, но мы оба мечтали достичь лермонтовских двадцати семи и пасть на дуэли от руки нового ослепительного Лермонтова... Нам уже по двадцать семь, а Лермонтова нет как нет. Но, сдается мне, мы поджидаем разного Лермонтова. Ты толкуешь, что-де на Руси сначала слово, потом дело. Что политика возгорается исключительно от искры литературных полемик. Что от литературного персонажа начинается его реальный прототип. Ты доныне скован в нетях словесности великих идей и беспробудного гуманизма. А я предлагаю одновременность и неделимость! Ключевое определение: по-тяжелому. Пить по-тяжелому, любить по-тяжелому, вообще жить по-тяжелому. Закон тяготения — главный русский закон. Ходасевич: «Тяжелая лира». Мандельштам: «Камень». Цветаева: «Поэма горы». Бродский: «Мрамор». Лучшая похвала поэту, когда он «томов премногих тяжелей». В здешних широтах все измеряется только на вес, а бурлаки всегда в фаворе. Взявши непомерный груз в 1/2 суши, мы стоим по пояс в почве, но это русская культура — культуризм, стиль любер-аллес. Как неизменны в наших парках дискболы! Гераклы в тамбурах последних электричек! Школа Сизифа, вечный экзамен по сопромату. Не пора ли расслабиться? Убрать плечо из-под мироздания — оно уже не упадет! И по-людски объяснить правила пользования текстами, без посторонних терминов, типа «авангард», «концепт», «постмодернизм»? Вот хотя бы Сухотин Михаил, тридцатилетний пиит в вивисекторских окулярах, пишет: «Там Русью пахнет, там ханты-манси. Там скоро жажнет... Там торч и таска, там на приходе ништяк и тряска. Там взятки гладки, трехчлен квадратный, и всё в порядке!» Или Нина Искренко добавит: «Вот интересно, почему когда икаешь то как бы ничего уже не понимаешь а по-хорошему сблевнешь ох многое поймешь!» Вопросик-то гесиодовского масштаба, покрупнее конвертируемости червонца? И прочая, прочия авторы... не выдам имен. Они создают самодостаточные, бесполезные тексты. Им наплевать, как слово их отзовется. Вон они бешено парят в нелетном пространстве, где птицы не поют, деревья не растут, где ни души. Ты спросишь, зачем такие ненужные словеса, отчего их так хочется читать, почему они не падают? Потому что уравнили жизнь и смерть, небо и землю, минор и мажор. Мир, не встречая сопротивления, теряет свою пресловутую тяжесть и становится невесом. И при чем здесь читатели, эти костыли ветеранов гражданской литературы?!

С чего все началось? С той недавней поры, когда изобрели пулю со смещенным центром. Это финита!

Это крах гуманного тысячелетия дуэлей, госпиталей, сквозных ран, целомудренных сестер милосердия. Отныне любая шальная пуля внедрится в организм и неминуемо убьет. А сколько таких пуль уже в нас застряло? Сколько ядовитой гадости коцует в наших жилах: бестолковая история, корявые имена, юродивые даты. Где добро, где зло? Где слово, где дело? Полная коррупция. Есть у помянутого Сухотина цикл баллад про анекдотических суперменов, про Штирлица, Чапаева, Папанина. Там же про Стаханова, как он сек породу, ударно лез в забой и в глубинах вдруг угодили на страшную баталию Кутузова с Александром Невским, Гитлера с Донским, на тачанках, на крылатых ракетах верхом, низами на пси-генераторах. Этот безвыигрышный вечный бой подан объективно, без иронии и зубоскальства. Мы тоже, как стахановцы, уходим вглубь, так же слоисто наше подсознание, откуда хлещут преждевременные, несовершенные, холостые фонтаны наших песен. Главное достоинство этих песен, что они — наши. Нам некогда ждать созревания гения, мы сторонники немедленной литературы «с колес и с турусов», а взамен нам Рим не нужен. Поэтому трагизма твоего не приемлю. Мы живем по-прежнему кромешно-счастливы!»

— «Спору нет, проехал золотой век, когда именами поэтов называли пароходы, астероиды, станции метрополитена; когда беллетрист средней руки, типа Короленко, имел пяток поместий, когда писатели возносились выше александрийского столпа и инспектировали Беломорский канал; когда все мы были защищены плотным кольцом литературных героев, наших телохранителей. Спору нет, приятно бы совокупиться с окружающей действительностью, со державой своей ненаглядной, с историей доморощенной! Но — не на бегу! Не где поало! Не с бухты-бараты! Вот мои требования: акт надо совершать умеючи, разборчиво, по-эллинически изощренно. Хотя бы это мы заслужили?! Бедолага Данте, оказавшись в раю, сетовал на неспособность недоразвитых своих чувств воспринять все райские красоты; убог человеческий диапазон. Поэтому я категорически против дряблой спонтанности. Оглядываясь, я вижу не только руины. Покойный Евгений Харитонов с бесприютной прозой про вокзальные сортиры, прокуренные тамбуры и ущербы скамейки русского гомосексуализма. Величайший «анфан террибль» Франции XX века Серж Гэнзбург, восславивший инцест и декаданс нравов. Руслан Савельев, двадцатитрехлетний переводчик «Илиады» Гомера, обновитель прокишей воды в шикарном бассейне гекзаметра. Саша Соколов, увлекательнейший пустомеля и соблазнитель русского языка. Вступайте в литературную школу воспитания чувств! Разрабатывайте психено! Учитесь соответствовать декадентской экологии природы! Значит ли, что восславляю утилитаризм и практицизм слова? Да, значит. Но — нового толка. Личного пользования. Ведь в чем главная тра-

гедия эпохи? В том, что абсолютно не на чем объясниться с девушкой. Не на чем доказать ей, что мы эротику учили не по видео, что нам обо всем нашептала природа-мать. Ну, посудачишь с ней об авантаже «Макинтоша» над «Ай-Би-Эм»; ну, позубоскалешь над Жириновским. Дальше что? Прогуливаясь ли с дамой по собственным темным аллеям, оставаясь ли с нею наедине на лунных лестничных клетках, ты поначалу ищешь не застёжек, не бретелек, но — слова! А слов нет! В двухместном алькове грядущего Апокалипсиса не порешь, как на площади. Хорошо, есть суфлеры типа Вадима Степанцова: «На металлической тусовке, где были дансинг и буфет, ты мне явилась в буйном соке своих одиннадцати лет», или «Убей меня на крыше лимузина». Тоже, заметь, без всякой иронии, только обоснованное доказательство: лучше жить лежа, чем умереть, стоя на площадях и в очередях. Или эта липкая истерика вокруг так называемого национального вопроса? Ясно же, что никакие нации не было и нет. Есть только вечный юношеский кураж. Стенка на стенку, межа на межу, лобановские на химкинских, баковские на переделкинских, 137-й Вест на 126-й Ист. И в хлам разбитое лицо, и девицами обожание. Испекон: у каждого своя тусовка, своя команда, своя стая. Как это объяснить человечеству? Сергей Георгиевич Салтыков, 55-летний сын коннозаводчика, умеет: «Я дядю своего люблю! Умел он управлять аэропланом и делать в небе мертвую петлю и в белых брюках драться с хулиганом!» После такого напутствия рефлекс прищиплен, облагорожен и осмыслен. Драться все равно придется, но по-джентльменски, без пёска в глаза. Поэтому я категорически против белых флагов; против слабовольного ухода в народ, на торг, на проезжую часть. Только по собственному хотению! Весь твой красивый конформизм с миром на практике оборачивается элементарным, набившим оскомину «стёбом», а в переводе с псевдотинейджерского — «маразмом». Иссякла не только литература великих идей, но и приговских пустот. Ирония дешифрована, выучена народом, как гимн Советского Союза. Стало быть, пора зажечь серьезные зеленые абажуры и поискать что-то новенькое. Уменьшайте отверстие выброса, и тогда усилится напор! Прекратите прополку литературных сорняков, дайте словесности покрыться тиной, молвой, пылью. Пусть рукопись обростет бытом. Пусть помыкается в девках, походит по рукам. Шпеннгауэр вообще не советовать читать книгу, если ей нет минимум двухсот лет. Живите по средствам, не забывая откладывать на черный день. Совершайте захваты «я», «я» и «я». И меньше света! Самое главное должно происходить за закрытыми шторами, в плодородной камере-обскура».



Рок вокруг

ЗЫДЕНЬ

В декабре, оценивая общее состояние дел в нашем рок-департаменте, я вскозь упомянул имя Е. ЛАТЫШЕВА, оговорившись, что это тема для отдельного разговора. Похоже, что время для этого разговора наступило — Евгений эмигрирует в Германию...

Мы, наверное, еще очень долго будем путаться в сетях нашего Нового времени: на какой коэффициент надо помножить ноль, чтобы получить «ускорение»; за что можно стать политзаключенным в 1986 году; кого назначить руководителем комиссии по расследованию злоупотреблений, как не самого злого употребителя; во имя чего, провозгласив гласность, расправиться с людьми, для которых идея свободы — смысл жизни?

Евгений Евгеньевич Латышев, он же Зыдень, — странное даже для совка явление. К 1987 году рок легализовался практически повсеместно. Однако 18-летнему Латышеву путь на сцену был закрыт. По крайней мере в родном Нижнем Новгороде. В 1988-м программы с его участием попадали под особо компетентный контроль. В 1989 году съёмочная группа фильма «Так жить нельзя» поймала его в кадр на арбатской мостовой — с гитарой в руках. Тогда же Горьковский обком комсомола предложил ему деньги лишь за то, чтобы он не вышел выступать в одном из концертов. В 1990-м его знали в Москве, Питере, Череповце, Барнауле — не каждый встречный (Боже упаси!), свои. Осенью 1991-го, приехав с последнего фестиваля, он загадал мне загадку: на такси за пятерку через весь город, водка за 10 рублей, настойчивые требования убрать абсентную лексику из текстов, отрубаение аппаратуры посреди песни — где и когда? Я назвал Горький-86. Оказалось, Ижевск, несколько дней назад...

Чем же все-таки досадила им этот добрый человек?

...8 июня 1987 года на концерте «Черного кофе» в горьковском Дворце спорта была устроена облава. Часть металлистов «общинали», а часть увезли в райотдел. Возникла идея демонстрации протеста. Дата — 13 июня. День Города.

Активно контактирующий с металлистами и посвященный в их планы Зыдень с группой товарищей по мере сил координировал возможные действия, ходил с делегацией в горком комсомола (какие надежды возлагались тогда на этих друзей народа!), изготавливал и распространял листовки с призывами за чистоту города...

Шествие состоялось. Четыре сотни металлигов не перевернули ни одной машины и не разбили ни одной витрины, а милиция заранее натренировала гоппиков и в условленном месте их выпустила.

Через месяц в «Горьковском рабочем» появилась статья «Под знаменами «тяже-

лого металла». Автор — некто В. Бармин — писал «рок-н-ролл» с одним «л», не видел разницы меж «хардом» и «хэви» и другим не давал увидеть, а сверх того облил грязью достаточно много народу (через год состоялось судебное разбирательство о защите чести и достоинства). В одном и том же абзаце смаковался выход Латышева из комсомола и его же якобы желание «встать у руководства комсомольной города». Но не в этом суть. Кого-то выгнали с работы, кого-то исключили откуда только можно. Злыдня же, «идеолога метализма», отлучили от сцены.

В брошюре же «Криминологи о неформальных молодежных объединениях» (М., «Юридическая литература», 90) кандидат юридических наук Е. О. Малаева провозгласила Е. Латышева — Злыдня «руководителем течения» панков.

Сам же Евгений, помнится, относил себя к хиппи. А знающие люди скажут, что легче найти человека, совмещающего в себе признаки мужского, женского и какого-нибудь неизвестного третьего пола, нежели хиппи-панка-металлиста, в трех лицах единого!

Странный человек Зыдень, даже по совковым понятиям.

Как бы ни принимали его залы, каким романтичным бы ни представлялся ореол изгнанника профанам, тяжесть его-таки взяла свое. Евгений погрузился в «кухонный андеграунд», превращая едва ли не каждый день своей жизни в эпизодический флэтовый сэйшн, изредка записывая свои песни с полуслучайными составами. Кто скажет, сколько сидит таких людей по руинам Союза, сколько звезд мы недосчитались! Макс Липко и Алексей Бармутов из Москвы, Алексей Молокин из Коврова — вот первые имена, что приходят на ум.

В поэзии Е. Латышев представляет мне наиболее последовательным потомком Башлачева. Но не того Башлачева, который везде — в распевах, в декоративных колокольцах, в каждом городке по кило на рыло. У нас вообще так повелось: если БГ — значит, заумь с четырех сторон света, если д-р Кинчев — анархия, конечно, а если Макар Андреич — то тихая гитарная исповедь под бутылку (у всех поименованных сразу прошу прощения). Любый гений рискует опроститься, попав под вывеску. И тогда должен появиться Зыдень, знающий, что СашБаш — это не просто гулял Ванюша, рубаха белоснежная да ярмарка на реченьке; это прежде всего овладение словом на уровне магии, высочайшая стихотворческая профессионализация, выявление родственных образов внутри самых разных слов и умение средствами поэзии создавать сиюминутное, космическое ощущение русского языка. Латышев понимает это и идет дальше. Его слова вообще не имеют основных значений — каждое толкование равноправно. Вспомним «Взгляд спокоен и даже не грозен» из «России». О каком «взгляде» речь? И в том, и в другом случае вы будете правы. Он и живет так же — каждое истолкование, с его точки зрения, имеет право существовать. Так и жил здесь, сколько мог, пока Агрессия Добра не добралась до горла.

Впервые и пока единожды его имя появилось в печати 1 июня 1991 года.

И все-таки еще более странным, чем кажется — сейчас, уже после того, как оно все же появилось, печатаются стихи, в Нижнем потихоньку готовится книга его стихов, а стало быть, нормализуются условия для работы, — он в ФРГ. Со статусом беженца. В поисках Последнего Домашнего Приюта.

Вчитайтесь в эти стихи. Вам наверняка станет ясно, почему даже самые симпатичные Злыдни смертельно опасны для любого режима, не желающего слышать.

Ибо те все равно скажут Слово свое.

Дмитрий КРЮКОВ

Россия во мгле

Разговор о спасении
дальше себя не заходит
Ускорение отняло право
присесть на минутку
Кто-то все еще брызгает слюной
говоря о погоде
Дети ищут в капусте себя
а находят ублюдков
Лунный серп изогнулся дугой
как рабыня в оковах
Лунный молот обрушился сверху
кометой Галлея
Покосившийся замок Кощей
перестроил по новой
А Иваны Царевичи спят ни
о чем не жалея
Взгляд спокоен и даже не грозен
Гладит землю сквозь штабель
униженных тел
Выбирая кому свое имя вручить
как награду
Комсомолец в предстартовой позе
Говорит — Сделай так чтобы
я захотел
А Россия лежит и не знает
чего ему надо
На вторжение всем наплевать
только заперты входы
Вместо песен и книг ошекун
раздает нагоняи
Серых братьев тревожит уже
легкий запах свободы
Пусть они нас простят но от нас
за версту ей воняет
Голова от услышанных мыслей
визжит как шальная
Иссеченной спине
не дает отоспаться скамейка
Раньше хоть распинали
теперь уже просто пинают
Верю Господи Ты не допустишь
Четвертого Рейха
Дипломаты привозят бельшишко
И в гримерную вводят
убрав зеркала
И как бабу свою причесав
представляют знакомым
Ей старательно бреют подмышки
Виноградники косят
чтоб меньше пила
А Россия хрипит подавившись
своим Минхимпромом
Я читал документы
Родительского Комитета
Неужели мы сможем развиваться
по этой программе
Кто-то задал народу вопрос
и не слышит ответа
Дети как ваш отец смог устроить
аборт вашей маме
Все ништяк только дети пьют чай
и кричат что несладко
Все нормально но дед за стеной
поддыхает от астмы
Бога нет только школьники
крест зашивают в подкладку
Мы рождаемся чем-то не тем
ну а так все прекрасно
Между нами и телевизором
Носит воду дуршлагом
родной профсоюз
Добиваясь сколько-то там
дневной рабочей недели
Я согласен хлещите по ранам
Раны стали мозолями я не боюсь
Но Россия плечами раздавлена
в винном отделе
Из всего лексикона наук
знаем только — в Натуре
Как молитва звучит наш девиз —

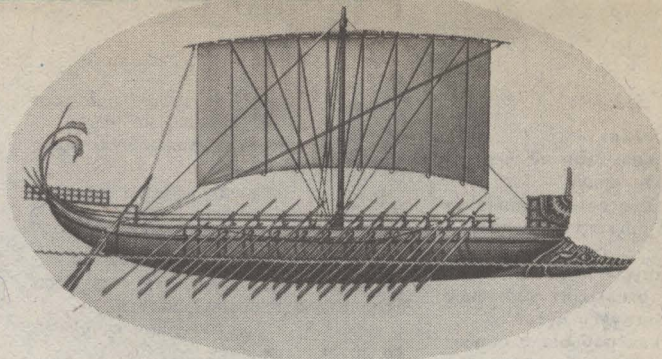
И не то выносили
Ересь лезет вот только не в рот
притворяясь культурой
Чем же думали мы
называя все это Россией
Что поделаться на нас Сатана
наложил епитимью
А Господь отнял разум заставив
всем этим гордиться
Если птица способна ползти
позабыв свое имя
То возрадуйся Русь
ты воистину вольная птица
А фашисты вконец запыхались
Добывая всех тех
кто хоть чуть не в говне
Продувая народу башку
чтоб ее опорочить
И хозяева жизни вздыхают
И дрожат от желания близости с ней
А Россия дрожит от желания
дать им по роже

Агрессия добра

Я хату покинув ушел воевать
Утоптанной с виду дорогой
Чтоб нищую землю крестьянам
отдать
Отняв у растений и Бога
С Лаврушкой для супа
в фамильном гербе
На почве безжалостно взрытой
Увенчана общей победой в себе
Моя Куликовская бритва
Агрессия добра железная
поступь любви
Безжалостный покой навязчивый
лучший кусок
Корабль без дураков для тех
кто уже уловил
Естественную ложь сквозь бой
бесконечных часов
Агрессия добра
железная поступь любви
На дно приглашает
нательный свинец
Не ниже чем все уже пало
Упорно не верит счастливый конец
Что он это чье-то начало
Усталое это кончает с собой
С торжественно-сдавленным хрустом
Застенчив и робок как бывшая боль
Триумф естества над искусством
Агрессия добра железная
поступь любви...
В подвал но начальник
у входа не встал
Есть фомка да больно тупая
Наверх но товарищи
вновь по местам
По следу в парадном ступают
Ко мне но и так все умеют летать
По свинченной утром орбите
Горячей и злой как электроплита
Мохнатой как як-истребитель
Агрессия добра железная
поступь любви...
Домой неумытые руки до дыр
В которые видно кто рядом
Ты тот от кого ты получишь п...
А гули тут делать раз надо
А утром твой воин голодный и злой
Свой маленький бунтик подавит
Лишь волки бегут
от винта за кормой
И след их вдали пропадает
Агрессия добра железная
поступь любви...

Генетический кот

На набедренной шкурке
прогрызлась солидная плешь
Желчнокаменный век
Тощий луч в теплом царстве
небрежно прищемлен промеж
Желтых кафельных век
Раскаленных конфет Холодок
тихий злой холодок
Листья клевера сникли
Тормознул об меня
мой приятный беспечный ездок
На моем мотоцикле
Вкусовые пупырышки смерзлись
на всех языках
Пулеглот ненасытен
Бросил детскую зону топтать
долетага-з/к
Вертухай не ссыте
Гриф питается падалью пальцев
рыгая не в такт
Лезут связки из глотки
Отнимать у Всего оскорбительный
титул Не Факт
Дело хитрых и ловких
Обоссаться не жить
а значительно проще чем жить
Вплоть до смятой концовки
Крепкой горькой домашней
началовки вволю испить
И оставить без пробки
Над родными полями родных
я бесплатно лечу
Тех кто будто бы хочет
Кто-то здесь отведет свою память
под новую чушь
И мечтательно вздрочит
Плачет память под чушью
что сверху налипла ничком
Застит бедненькой звезды
Сера Мать Сера Земля
будет ей Пухом вода Пятачком
Чтоб оплачивать воздух
Ах оставьте Надежду м...к
здесь у Жени Париж
А у Леши Архангельск
Да на пыльном шоссе
кавалкады сверкающих крыш
Тех что нынче догнались
Воспитатели в дерзком саду
рвут податливый шелк
Наших праздничных платьев
На раскрытой ладони скулит
неоплаченный волк
Только агнец не платит
Волк не ждет похвалы дык
кому она на ... нежна
Если сделать потише
Связи рвутся туда где возникла
глухая стена
Но стена их услышит
Связи рвутся на части
которые бросились вскачь
И мгновенно пропали
Слышен свист как от пули
что я расписал у виска
Под орех да под Палех
Можно зад ушибить
если грохнуться им на перед
По давнишней привычке
Снег покрыл что хотел и пришел
генетический кот
И забавно мурлычет



Благодаря лучшему другу советских путешественников Сенкевичу клуб «Боспор» получил такую рекламу — году в 89-м, — что я тогда отказался от намерения написать о нем. А теперь уже и по Москве и Питеру ходят то гвардейцы, то индейцы (и никто не признает первоуродства Керчи, сетует Стратег). Но вот лицо боспорского действа переменялось с такою резкостью, с какой на котурнах меняли маски: прежде радостное, обернулось к нам опущенными углами губ...

Бревно прозрения

— Тиритакский вал распахан огородниками, склеп Деметры перманентно затоплен, кладбища севастопольской камнани невидимы, и только грабители знают, по чему они ходят, — рассказывал Стратег. Мы познакомились три года назад, на сходке экологов культуры в Москве, где умерла, не родившись, «зелено-культурная» партия. — Нужен был шок, чтобы сбить жизнь города с пляжного ритма. Жена по чешуйке связала кольчугу, далекий друг преподнес гривастый шлем, меч выковал сам по месту работы. Мы облачились и вышли на сцену...

Так в Москве выходили — во всем советском — за Лефортово, в Питере — за Англетер. Это означало: природнить себя к своему, по Гумилеву — родиться внутри народа. Родиться, выходит, вторично. Выбор оружия здесь почти как выбор веры.

В Керчи рождались внутри народа умершего, и, значит, рождался вторично народ. Для кого-то, может быть, искушение 44-го года, когда в Крыму оборвали все нити чужих времен, для кого-то — поиск своих, оборванных не до конца. Впрочем, кто в квадриге «Боспора» пристяжной, кто коренной, — Стратег считает непристойным выяснять. Он знает, что были здесь и просто любители похода и костра, степных ароматов и атлетических игр, были жаждущие артистического выражения или просто общения — дети и старики бывают равно одиноки... Мотивы не имели значения на этой сцене, между задником пантикапейских руин и амфитеатром залива...

Здесь, в виду города, у колонн Притоней — городского собрания (откуда «притон»), начинался и всякий клубный поход, и судьба всякого члена отряда: здесь отмечался день рождения «внутри». Жрец (замполит, в этой роли неизменно завцехом Владимир Рыженков, правая рука Стратега) жестом меча посвящал нового боспора в воины, и надо было ви-



деть глаза парней! В основание несохранившейся крайней колонны Притоней вставлялся свиток с именами принятых. И если сгорал весь, Зевсу были угодны эти имена.

Главная часть сеанса шокоотерапии — поход по городам и весям Боспорского царства — начиналась отсюда же. Пантикапей, Мирмекий, Порфмий, Китей, Тиритака, Нимфей... Киммерийский вал... Оба берега Боспора Киммерийского — керченский и таманский... Готовка в скифских чашах, когда десять литров вскипают за десять минут, — к сведению высокомерно-просвещенной цивилизации; ночи под пологом, растянутым на копьях, когда только щиты прикрывают с наветренной стороны; невидимое соседство курганных пиратов, вооруженных теперь и автоматами; раскопы Молева или Толстикова — мэтров боспорской археологической науки (и нет лучше одежды для такой работы, чем у боспорцев); неисчерпаемые рассказы Стратега, записанные в дневники; поединки меченосцев на выносливость, изобличающие всю бутафорность лихих кинематографических сеч; греческий футбол — стратега выдумка — по пояс в сопротивляющейся бегу воде; перегонки с камнем, зажатым в голених... Все движения отмечены тяжестью, медлительностью гексаметра... И — шокированные терапией граждане, от простодушно-невежественного «а здесь и греки жилали?» или иронического «турки, что ли?» до бдительно-административного «а почему не русские богатыри?» тмутараканских парткнязей.

Будить души от мелочей будничного величальными образами — слова, словно подсказанные давнему их автору Стратегом, Жрецом, Экономом и тридцатью тремя (примерно) богатырями-эфебами. И — разбудили!

Особая благодарность металлурги-

ческому заводу имени Войкова, отдельно местному и комсомольской организации. Стратег и Жрец и многие эфебы, фаланга поисково-краеведческого клуба «Боспор» в целом — оттуда. Фаланга, утверждает Стратег в творимой им книге толкований «Одиссеи», значит бревно. Вот каким бревном — боевым порядком — ослеплен был Полифем, тезка стратега кота. Фаланга «Боспора» — вот кто вынул бревно из глаз многих...

Возвращение к Одиссею

Сов. карьера Стратега за эти годы — 1986—1991 — претерпела некоторые изменения. Слесарь цеха деколи стал слесарем систем кондиционирования воздуха. От депутатства, журналистского штатного писательства, научного кандидата и художничества уклонился. Так ему вольнее.

Тридцатитрехлетний Валентин Коваленко — вольный человек. Как-то написал он галактический пейзаж. Не от балды, а словно руку вели. Когда увидел то же на фото в научном журнале, завязал: ничьим рабом не буду. Но пейзаж сохранил; помоему, неслабый.

Прадед Стратега — «счастливчик» (о них см. «Юность», № 11, 1991; Стратег остался недоволен публикацией — как инструкцией для мародеров, но вскоре рассудил, что нашему читателю это имя не пристало). Счастливчики не умели разжиться — продавали злато скифов за копейки, пусть и тогдашние; и у Стратега, несмотря на такую укорененность — сколько хватает генеалогического взгляда — в этой земле, квартиры своей — и той нет. Но от прадеда взял он привычку смотреть под ноги (впрочем, не общая ли это в Керчи привычка, у каждого из детства идущая), а от деда — навык классной каменной кладки. Отсюда наклон-



ность к археологии и реставрации, укрепленная в нем Учителем — Евгением Молевым, добрым гением городища Китей...

Мы шли со Стратегом темным железнодорожным пустырем ко всемирно славному Царскому кургану и говорили о том, как могли бы продавать себя такие памятники, как плодоносили бы они валютой и рублем. Стратег высвечивал фонарем хитросплетения древней кладки и объяснял, как, по-дедовски, поддерживать «товарный» вид кургана. Он и Мелек-Чесменский курган для клуба просил (лучше не придумаешь: на автовокзале «растет»), но не отдали, наговорили глупостей, вроде люди начнут ходить, и вот — решетка дромоса (входа-тоннеля) то закрыта ото всех, то взломана.

«Стратег» — значит «воевода». Стратег — воитель и путешественник. Он человек обороны и наступления, открытия и узнавания. Но не тихой сапы. Какие картины открылись бы предпринимателю, слушающему рассказы Стратега о катакомбах Митридата — городского холма: о соединенных грабительскими проломами древних склепах, невероятных числом; о снятых там кадрах; о Золотом Конне, скрытом в конце многочасового, ползком, лабиринта; о единственном, в частном огороде, входе в недра холма; о ключах от заградительной решетки, бывших одно время в его, Стратега, руках — в руках, решетку и установивших!

Всякому Стратегу нужен Эконом. Тот, кто видит золото под ногами, там, где его не видит даже Стратег. Собственно, Эконом нужен не Стратегу, а Керчи — когда-то городу замечательных греков-предпринимателей, вроде Месакеуды, которому сам предревкома из восхищения дал шанс уйти от расстрельной статьи за горизонт.

— Я боспорец, — признался мне

в конце концов Валентин Павлович Коваленко. (Я чего-то такого ждал, и мы долго водили друг друга по городу в ожидании этих слов.) — Боспорец по национальному самочувствию. Так выходит...

Но что же стряслось, спрашиваете вы, наконец.

Мешок ветра

Посейдон подарил Одиссею мешок ветра. В книге у Стратега объясняется: просто парус.

Еще на той зелено-культурной сходке Стратег говорил мне:

— Ищем новый способ шокотерапии, приелось. Будем заходить с моря.

Слава Тима Северина гнала сон боспорцев. Мечтали о ближних походах, но друзья доставили морем весть: в Пирее национальный яхт-клуб (один из) поддержит проект, если проект посягнет на проливы. Всего одно место у весел для пирейца, да тамошнее телевидение — и плавание через море будет финансировано. Именно плавание, так как стройка галеры — шел 90-й год — приближалась уже к завершению.

О, светлой памяти доянварские, доапрельские цены! Списанный дорий — старый деревянный корпус — купили у рыбколхоза, опередив неких, промышленящих раковиной. Подряжались на городские праздники и на раскопки, брали у завода, просто скидывались (хотя... с мальчишек много ли возьмешь, — уклонился Стратег назвать свою долю в деле), разбили копилку клубных взносов, брали, что плохо лежит из материалов...

Городище Тиритака не видало прежде такой любви. Показали боспорцы, как можно обустроить раскоп. Об одном просил Стратег: не заросла бы работа — пусть водят сюда экскурсии. Заросла. Но деньги собрали.

Знаниями Стратега (пять лет над книгами, монетами, барельефами, фресками) и яхтенного капитана, по специальности конструктора, Валерия Романца родился проект парусной галеры. (Гребцы древнего времени, бывало, сутками ждали ветра, а рук не терли.) Одиннадцать мест: Коваленко, Романец, два матроса, шестеро клубных. На колхозном берегу, у председателя с чисто председательской фамилией Штепо выросло новое чудесное средство боспорской терапии. К концу мая 90-го года оставалось поставить такелаж — парусные снасти. Вполне секретные работы пора было рекламировать, а в этом деле Стратегу равных нет. Вот-вот отправлялись бумаги заморским покровителям...

20-го числа, возвращаясь с Тиритацких раскопок (эта работа так поддержала силы боспорцев после случившегося), завернули посмотреть, «а вдруг там угли одни».

Издали увидели почернелый корпус. Доска прогорела равномерно, равномерно же облитая горячим. Плеснули — с пониманием — в область форштевня: здесь схвачена вся конструкция, в ином случае дело можно было спасти.

Три милицейские версии возникли и потухли в течение пяти минут: алкоголики (битое стекло окрест), мальцы (кто-то рыбачил неподалеку), баловники с огнем (где-то пустили ракету). Окрестные лодочники ничего не видели, только самый пожар. Колхозный сторож был пьян — и уволен. На этом следствие закончилось.

Может, родители будущих путешественников постарались? (Этот слух, донесшийся до меня аж в Алуште, я передал Стратегу.) Нет, не знали еще, кто пойдет: клубный конкурс был крут, предстояло мучительно решать, кто больше пахал. Да и почему бы отцу просто не запретить парню, чем палить работу?

— Так какие же версии?

— Никаких.

Есть версия! Это наша пламенная серость ответила на терапию яркого зрелища терапией красного петуха — излюбленного героя наших мифов. Это она отомстила за раздражение своих нервных окончаний. Сжалась поперву, а потом выкинула щупы.

Статья Стратега «Мечта не сгорела» в местной газете была образцом мужества и достоинства. Обещала начать сначала. Но так и не начала. 20 мая что-то кончилось, и бесповоротно. Стратег словно лег на дно. Эфебы предались воспоминаниям — скверный признак, как знают неформалы. Склеп Деметры, по данным разведки, затопляется с неизменным успехом.

И мне хочется верить, что это не так. Что сжигать корабли скоро выйдет из моды...

Но увы!

Актеры сходят с котурнов. Пустеют каменные скамьи амфитеатра. Но, может быть, уже пишется новый текст. И, может быть, будет веселей.

Рустам РАХМАТУЛЛИН

Керчь

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЭКОНОМИКА

предлагает

Брошюру известных американских психологов Дж. Ниренберга и Г. Калеро «ЧИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА — КАК КНИГУ». Вы научитесь избегать конфликтов с окружающими, познаете язык жестов и мимики в процессе человеческого общения. Стоимость — 3 рубля.

А ТАКЖЕ иллюстрированный журнал «ХЛЕБОСОЛ». Советы опытной хозяйки, рецепты старинных и современных блюд, правила хорошего тона, сервировка стола и оформление блюд. Сведения о целебных свойствах растительных продуктов, различных диетах, рационе детей и кормящих матерей и многое другое. Стоимость — 2 рубля 50 копеек.

Заявку (укажите интересующие вас издания, ваш полный домашний адрес, ф. и. о.), копию платежного поручения (наш р/с 362109 в Киевском филиале Индустриального банка г. Москвы МФО 201081) направляйте по адресу: 121864, Москва, Бережковская наб., 6.

Приобрести издания можно также за наличный расчет в издательстве «Экономика».

Более подробная информация по тел.: (095) 240-48-72, 240-58-16, 240-58-18.

Юность-дизайн. Рекламное бюро: (095) 251-14-21.
©



При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Юность» обязательна.

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ: редакция не рецензирует рукописи и не возвращает.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в издательство «Пресса» по адресу: 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Художественный редактор Юрий Петелин
Технический редактор Ольга Трепенюк
Оформление рекламы
Вадима и Владислава Игониных

Сдано в набор 29.12.91. Подп. к печ. 28.01.92
Формат 84 x 60¹/₈. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,68.
Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,53.
Тираж 683 350 экз. Заказ № 1288.

Адрес редакции: 101524, Москва, К-6, ГСП, ул. Горького, д. 32/1.
Телефон для справок — 251-31-22.
Отдел рекламы — 251-14-21.
Телефон корпункта по Уралу и Сибири: 25-98-80 (г. Пермь).

Издательство «Пресса».
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

© Журнал «Юность», 1992 г.



«1914 г.». Холст, масло.



«Новые ботинки». Холст, масло.

На стендах «ЮНОСТИ»

**Евгений
БАЛАКШИН.**
г. Саранск.

Из цикла «Моя родословная»

Имитируя художественными средствами старую фотографию, Евгений Балакшин точно передает ее цветовую гамму и само изображение. И рождается самостоятельное, оригинальное произведение, ибо создано оно человеком, который, помимо таланта живописца, наделен обостренной совестью. Боль за судьбу России пронизывает полотно художника.



«На долгую память». Холст, масло.

Лиско:

БИЗНЕС КАК ТВОРЧЕСТВО

- проекты и инвестиции
- консалтинг и агентские услуги
- презентации и выставки
- перевод юридической и технической документации



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

125047, Москва, а/я 161, ул. Горького, 48, 1.
Тел.: (095) 251-85-08. Факс: (095) 251-18-16. Телекс: 411700 LISCO Box 6234.